This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

№: 125

K/54. M.II.5
Vp. 3292

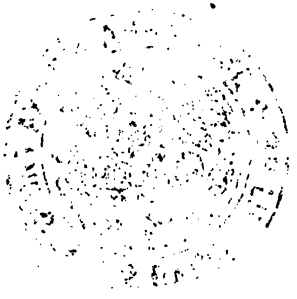
K/54

XXII 4

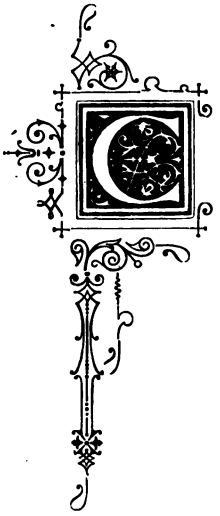
125

II — I
132

ПОВѢСТИ, СКАЗКИ И РАЗСКАЗЫ.



Vagner, V. P.



Повѣсти и сказки

и

разсказы

кота—мурлыки.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

I. Два вѣка.—II. Фіори.—III. За спасителемъ.—IV. Волшебный Драконъ.—
V. Ольдъ-Диксъ.—VI. Дѣтскій театръ.—VII. Искра.
VIII. На масляницѣ.

Изданіе второе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1892.

PG 3470
V2
v. 3

B47528

Инв № 11,637

ПРОВ. 1977 г.

1944

ДВА ВѢКА.

(Сказка).

Сидитъ старый, добрый вѣкъ, сидитъ на заваленкѣ, свою жизнь доживаючи. Не грѣетъ его дряхлыя кости солнце красное. Сидитъ онъ, дрожитъ, слезно плачетъ, сокрушается.

— Какъ въ мое-ли то время все было новое, молодое да крѣпкое, доброе, да хорошее. Были дубы старые, вѣковые, коренастые—теперь стали они дуплявые—да и немного ихъ. Охъ! немного осталося! Были лѣса густые, зеленые—всѣ-то лѣса теперь порублены. Были озера глубокія, рѣки широкія. Теперь все повысохло. Одни болота осталися. Охъ! много, много болотъ непроходимихъ! Было дичи—гибель—видимо-невидимо, звѣря всякаго дикаго, вольнаго. Все перебили! Было золото, серебро. Все растерялося! Были берега кисельные, текли рѣки медовыя. Все прахомъ пошло! Обѣднѣлъ, обнищалъ народъ... Тяжело, тяжело ему жить на бездолицѣ...

Но бѣжитъ, шумитъ новый вѣкъ, надъ старымъ вѣкомъ тѣшится, похваляется.

— Эхъ ты, старче, старче древній! Изживешь ты свой срокъ, отойдешь въ вѣчность, успокоишься... А останется

послѣ насъ съ тобою вѣчно юный родъ людской, въ немъ же безсмертная жизнь кипитъ, какъ волна весенняя. Не стало теперь ни дубравъ, ни боровъ, ни широкихъ рѣкъ... за то вездѣ рощи, да парки, пруды, да фонтаны брыжжутъ, шумятъ—вѣкъ свой славятъ, наслаждаются. У меня ли у новаго вѣка бока стальные, чугунные. Летаю я молніей по проволокамъ мѣднымъ и выросли у меня крылья воздушныя. Дышу я паромъ, огнемъ и свѣтомъ, что блеститъ и сіяетъ ярче солнца краснаго.

— Охъ!—говоритъ старый вѣкъ.—Хорошо ты живешь, да неладно творишь. Силенъ ты, да крѣпокъ, богатъ и свѣтелъ, гремишь и летаешь, да выросъ ты словно коршунъ злой на костяхъ силы народной. Промоталъ ты ее, извелъ всю на жизнь твою вольготную, да красивую. Не понимаетъ онъ,—народъ честной, младенецъ Божій,—что отнялъ ты его отъ земли и бросилъ на путь погибельный.

Но отвѣчаетъ новый юный вѣкъ:

— Нѣтъ, не губилъ я силу народную. Встань, протри ты глаза твои старые, оглянись кругомъ. Въ уздѣ держу я народную силушку. Погибаетъ все слабое, что не можетъ бороться съ нуждой и неволей злой. Выживаетъ все сильное, да крѣпкое, все что идетъ впередъ, что тянется ко мнѣ, вѣку молодому, красивому. И земля сырая матушка идетъ мнѣ на помощь, пособьице. За старыми ключами, родниками пересохшими—открываются ключи новые, быстрые. Вмѣсто угля древеснаго—открыла мнѣ мать земля уголь каменный, что сберегла она для меня за тысячи лѣтъ, въ своихъ кладовыхъ подземныихъ. Вмѣсто льна тяжелаго—что растетъ съ трудомъ по мокрымъ мѣстамъ,—вырастила мнѣ земля хлопокъ легкій, какъ пухъ, и тку я его быстро и споро на прядильныхъ машинахъ большихъ. Пусть онъ скоро носится, да за то и обновится скорѣй. Вмѣсто дерюги пасконной, набойки простой—я холстинки да ситцы цвѣтные

завелъ. Вмѣсто кружевъ—ручныхъ плетешковъ—завелъ я машинныя блонды, гипюры—и машина всюду и шьетъ и ткётъ и гремитъ, и стучитъ, и поетъ она силѣ народной пѣснь упокойную:

Ужъ ты лягъ, да усни, силушка народная,
Къ спорой работѣ совсѣмъ непригодная.
За тебя ли я сила, всласть и съ охотою,
Напашу, напряду, натку, наработаю.

А вмѣсто силы народной—создалъ я силы новыя—силу пара, силу электричества. Не затянетъ теперь бурлакъ пѣсню тяжелую:

Эхъ ты Волга, ты Волга широкая,
Я твои-ль побережья сыпучія
Своими лаптями топталъ, да утаптывалъ,
Поливалъ ихъ потомъ кровавымъ, тяжелыимъ
Обмылъ ихъ слезами моими горючими...

— Эхъ! Лежалъ бы ты, старче, у себя на печи, на заваленкѣ досиживалъ бы.—А ко мнѣ пусть идетъ все, что рвется впередъ, что вѣчно молодѣетъ и живетъ юной жизнью, нестарѣющей.

Покачалъ головой, горько усмѣхнулся старый вѣкъ.

— Упокоишь,—проворчалъ онъ,—ты силу народную—вѣкъ премудрый, корыстный, всякую силу вынуждающій. Изсушилъ, изморилъ ты мать сыру землю—кормилицу. Кто же будетъ поить-кормить тебя?! Все дорожаетъ въ три-дорога. Каждая копѣйка гвоздемъ желѣзнымъ прибита. Можно теперь дышать только ворамъ, да корыстникамъ. Они и орутъ, и сѣютъ, и всю землю Божью въ полонъ берутъ.

Засмѣялся вѣкъ молодой.

— Эхъ ты, старче, старче древній,—сказалъ онъ.—Ничего ты, старче, дальше носу не видишь. Развѣ могу я

изсушить, изморить землю Божію, могу-ли потребить, истерять воздухъ и воды, моря-океаны глубокіе. Можетъ-ли когда-нибудь изсякнуть неизсякаемое?! Проживу я, какъ ты, старче, свой срокъ, а за мной идетъ новый, юный вѣкъ и несетъ онъ новыя силы. Новыя земли изъ морей поднимутся, новыя волны людскія зальютъ, населятъ ихъ. Не старѣетъ вѣчно юный родъ человѣческій!..

Всталъ, поднялся старый вѣкъ съ заваленки. Во весь ростъ всталъ онъ, расправился.

— А скажи ты мнѣ,—вопросилъ онъ,—скажи мнѣ вѣкъ молодой, премудрый, до всего доходящій своимъ умомъ-разумомъ: будутъ-ли новые люди любить другъ друга, и будетъ ли весь домъ людской на этой любви, какъ на камнѣ крѣпкомъ, построенъ, и не размоютъ его дожди, не расшатаютъ вѣтры буйные.

Ничего не отвѣтилъ вѣкъ молодой.

Посмотрѣлъ онъ на югъ, посмотрѣлъ на полночь, посмотрѣлъ на закатъ и восходъ... и застучалъ, загремѣлъ— улетѣлъ, весь дымомъ и паромъ разостлался, разсѣялся!..

ФІОРИ.

(Флорентинская легенда).

I.

Въ 1549 г. во Флоренціи жилъ одинъ молодой человѣкъ, художникъ, имя котораго было Паоло Теччини. Онъ былъ мало извѣстенъ. Еще не такъ давно онъ отдѣлилъ свою студію отъ школы знаменитаго Буонаротти, къ которому сохранялъ глубокое уваженіе.

Паоло Теччини вышелъ изъ бѣдной деревенской семьи. Двѣнадцати лѣтъ, когда умеръ у него отецъ, онъ отправился пѣшкомъ во Флоренцію и, благодаря случаю, поступилъ въ ученики къ Микель-Анджело. Въ теченіе восьми, десяти лѣтъ необычайный талантъ его развился и Теччини сталъ самобытнымъ художникомъ.

Онъ былъ строенъ и красивъ, но красота его не поражала среди многихъ красивыхъ лицъ, какими была богата Флоренція. Его длинные, слегка вьющіеся черные волосы падали красивыми блестящими прядями на парчевой колетъ и черную бархатную епанчу. Они обрамляли сухощавое, смуглое лицо, съ правильными чертами и удивительно до-

брыми, большими черными глазами. Теччини былъ кротокъ, задумчивъ. Онъ избѣгалъ шумныхъ сборищъ и вообще развлеченій молодежи. Въ 24 года онъ жилъ настоящимъ анахоретомъ и вдохновлялся только небесными, святыми для него, идеалами.

Разъ вечеромъ онъ шелъ по Via Пицци и, поровнявшись съ палаццо Страдони, случайно взглянулъ на его балконъ, поддерживаемый красивыми витыми колонками. На балконѣ стояли двѣ дѣвушки и, при видѣ одной изъ нихъ, Теччини остановился въ нѣмомъ и восторженномъ изумленіи.

Вечернее солнце косыми, мягкими лучами необыкновенно тепло и ласково освѣщало балконъ и, отражаясь отъ его стѣнъ, падало на головку дѣвушки. Легкая кружевная накидка, съ золотымъ украшеніемъ, въ видѣ узенькаго вѣнца, была наброшена на эту головку. Золотистые волосы волнистыми кудрями вырывались изъ-подъ этой накидки и обрамляли чудное лицо. Оно все словно сіяло, окруженное ореоломъ солнечнаго свѣта, золотистыхъ волосъ и собственной молодости и красоты. Голубые глаза смотрѣли такъ гордо, умно и страстно. Легкая улыбка скрашивала всѣ черты и дѣлала ихъ непобѣдимо привлекательными.

Паоло на одно мгновеніе остановился передъ балкономъ. Дѣвушка мелькомъ взглянула на него, и онъ не могъ вынести блеска ея гордыхъ прелестныхъ глазъ. Онъ потупился и быстро прошелъ мимо. Черезъ нѣсколько шаговъ онъ остановился, обернулся... но на балконѣ уже никого не было.

II.

«Вотъ съ кого бы написать Мадонну!» подумалъ Паоло. И при одной этой мысли сердце его поднялось и забилось съ такой гордой радостью. «О, какъ она неизмѣримо выше

стоитъ Форнарины Рафаэля, а всѣ Мадонны его — ничто предъ чуднымъ блескомъ ея глазъ... И какъ я до сихъ поръ ничего не зналъ, не слыхалъ объ этой поразительной красотѣ!»

Но это былъ совершенно незаслуженный и напрасный упрекъ себѣ. Отъ флорентинской молодежи онъ слышалъ о знаменитой флорентійской красавицѣ Фіоринѣ ди-Страдони. Да, онъ вспомнилъ теперь, что онъ зналъ и самый палаццо ди-Страдони, на балконѣ котораго онъ увидалъ ее. И при этомъ воспоминаніи сердце его упало, и онъ съ грустью опустилъ голову.

Онъ вспомнилъ, что Страдони былъ принчипе, князь. онъ вспомнилъ разсказы о богатствѣ этого князя, которое равнялось, можетъ быть, богатству какого-нибудь индійскаго сказочнаго набоба. Но и этимъ богатствомъ былъ недоволенъ скупой и гордый принчипе Страдони. Ему мало было доходовъ съ его большихъ помѣстій въ пизанскихъ лѣсахъ, и онъ занимался торговлей съ восточными странами.

Имя Страдони было извѣстно и между художниками, какъ имя богатаго кліента и патрона, который покупалъ, хотя скупо, знаменитыя, отборныя вещи въ Италіи, Сициліи, Испаніи и Голландіи. У него была одна изъ лучшихъ Венеръ Тиціана; была богатая Мадонна Рафаэля, нимфы Рубенса, одна изъ Мадоннъ Андреа дель-Сарто, и его голые ангельчики; было довольно много очень хорошихъ классическихъ вещей, гдѣ преимущественно была видна голая красота человѣческаго и въ особенности женскаго тѣла. И между всѣми картинами, на первомъ мѣстѣ, прямо подъ свѣтомъ стекляннаго окна въ крышѣ, висѣла Венера Тиціана.

Но эта небольшая галлерея была доступна только самому хозяину и его роднымъ. Гостей онъ водилъ въ нее рѣдко. Постороннихъ не пускалъ.

Семья его была не велика. Онъ давно уже потерялъ жену

и жилъ вдовцомъ, нерѣдко появляясь на пирахъ холостой молодежи. Кромѣ дочери Фіорини. у него былъ старшій сынъ Николо ди-Страдони, единственный наслѣдникъ рода и богатства князей Страдони. Сынъ вполнѣ раздѣлялъ страсть отца къ богатству, но не къ искусству, въ которомъ ровно ничего не понималъ. Угрюмый и вспыльчивый, невысокаго роста, но плотный, коренастый, съ волосами и бородой ярко-краснаго цвѣта, онъ могъ бы служить художнику прекрасной моделью для какого-нибудь брави или кондотьера.

III.

Послѣ того, какъ Паоло увидалъ Фіорину Страдони, онъ не могъ уже забыть о ней. Онъ чувствовалъ, что въ сердцѣ его совершилась какая-то перемѣна, что всѣ думы его и мечты освѣщались ею, этой чудной дѣвушкой, съ голубыми блестящими глазами и головкой, окруженной, какъ золотымъ вѣнцомъ, золотистыми кудрями. Онъ чувствовалъ, что въ мірѣ все—пустякъ, все—слава, искусство, все—ничтожно предъ этой милой, дивной головкой.

Каждый день, вечеромъ, онъ ходилъ мимо палаццо Страдони. Онъ простаивалъ передъ его балкономъ по цѣлымъ часамъ, со страхомъ и трепетомъ ожидая, что, вотъ-вотъ, отворится дверь и вдругъ появится его солнце. Но дверь была постоянно закрыта, и солнце не освѣщало потемки его собственнаго сердца.

Онъ слонялся по цѣлымъ днямъ по улицамъ и площадямъ Флоренціи; онъ надѣялся гдѣ-нибудь, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ гуляетъ флорентинская аристократія, встрѣтить ее. Но ожиданія были напрасны.

Одинъ разъ онъ стоялъ передъ палаццо Страдони, ко-

торый давно сдѣлался для него чѣмъ-то въ родѣ могучаго, постоянно влекущаго магнита. Къ этому палаццо слуги поднесли роскошный, изящный паланкинъ. Сердце его забилось; онъ думалъ, что изъ этого паланкина выйдетъ она — его мечта. Но паланкинъ остановился, изъ него, кряхтя, вылѣзла какая-то старуха и тяжелыя двери палаццо съ шумомъ и стукомъ закрылись за ней.

Онъ мечталъ сдѣлаться знаменитымъ художникомъ, и тогда она услышитъ о немъ и, быть можетъ, подаритъ его вниманіемъ. Онъ приготовилъ большое полотно. На этомъ полотнѣ онъ думалъ написать Мадонну съ головкой ея— Фіорини. Но какъ же увидать эту головку?

«Ба! подумалъ Паоло, что же въ самомъ дѣлѣ? Развѣ я дурное дѣло задумалъ? Я пойду прямо къ ея отцу и попрошу позволенія снять портретъ съ его дочери, какъ модель для головки Мадонны».

И нѣсколько дней онъ думалъ объ этомъ. Нѣсколько разъ онъ подходилъ къ дверямъ палаццо Страдони и брался за ихъ скобу. Но почти тотчасъ же тихонько опускалъ эту скобу, потому что чувствовалъ, что голова его кружится, руки холодѣютъ и сердце перестаетъ биться.

Онъ проклиналъ свою робость, нерѣшительность, свою отвратительную застѣнчивость, которая была родная сестра скромности, и съ позоромъ и тяжестью въ сердцѣ входилъ къ себѣ наверхъ, въ свою студію.

IV.

Одинъ разъ, вечеромъ, онъ подходилъ къ палаццо Страдони. Въ это время его тоска и неудовлетворенное стремленіе наросли до боли. Онъ былъ въ томъ экзальтированномъ состояніи, при которомъ всякое горе кажется пустяками,

когда все сердце переполнено горечью, а человѣку хочется дурачиться: и смѣшно, и весело, горько—весело. Онъ остановился передъ дверью, твердо взялся за скобу, громко постучалъ и захохоталъ. Дверь отворилась. Его встрѣтилъ привратникъ, угрюмый, сѣдой старикъ въ бархатномъ малиновомъ камзолѣ.

— Кого вамъ угодно?—спросилъ привратникъ.

— Синьоръ Страдони у себя?

— Принчипе Страдони?—поправилъ привратникъ.—Вамъ самого принчипе или ихъ сына?

Паоло едва удерживался, чтобъ не расхохотаться. Онъ чувствовалъ, какъ дергались мускулы его щекъ и какъ горечь связывала его языкъ.

— Мнѣ самого принчипе, самого принчипе, синьоръ.

— А какъ ему доложить объ васъ?

— Скажите—Паоло, молъ, Теччини, художникъ, желаетъ ихъ видѣть.

Привратникъ обернулся къ тремъ слугамъ, которые играли въ углу комнаты въ трессете и сказалъ, чтобъ они доложили.

Одинъ изъ лакеевъ оглядѣлъ подозрительно Теччини съ ногъ до головы и, лѣниво потягиваясь, направился по широкой и крутой мраморной лѣстницѣ наверхъ.

Паоло чувствовалъ, какъ холодный потъ выступалъ на лбу подъ его беретомъ. Онъ облокотился на одну изъ мраморныхъ колоннъ и небрежно игралъ кистями своей епанчи, но рука его дрожала.

— Синьоръ Теччини! просятъ васъ войти,—прокричалъ голосъ сверху—и привратникъ, любезно поклонясь ему, пригласилъ рукой взойти на лѣстницу.

— Пожалуйте, Favorisca!—сказалъ онъ.

Паоло съ мужествомъ отчаянія сталъ подниматься на высокую лѣстницу. На верхней площадкѣ его встрѣтилъ

тотъ же слуга, который докладывалъ о немъ—и сдалъ его съ рукъ на руки другому лакею, который также съ кислой миной оглядѣлъ его съ ногъ до головы. Лакей ввелъ его въ залы.

Ихъ было много, этихъ залъ—большихъ, полутемныхъ. Всѣ они были устланы дамасскими коврами, увѣшаны богатымъ оружіемъ, уставлены роскошной инкрустированной мебелью, чудными металлическими, художественными кувшинами и вазами или античными мраморными статуями, бюстами и медальонами; всѣ стѣны ихъ были увѣшаны прекрасными майоликовыми блюдами и плоскими чашами.

Паоло Теччини шелъ за слугой мимо всѣхъ этихъ дивъ, всей этой роскоши и не вѣрилъ глазамъ своимъ, не вѣрилъ, чтобы все это богатство могло принадлежать одному человѣку.

Наконецъ, слуга поднялъ одну портьеру и пропустилъ Теччини впередъ себя, громко доложивъ:

— Синьоръ Паоло Теччини.

Передъ нимъ стоялъ самъ принчипе ди-Страдони. Это былъ человѣкъ высокаго роста, довольно полный, коротко обстриженный, съ бородой, слегка посѣдѣвшей.

— Чѣмъ могу служить вамъ, синьоръ Теччини?—спросилъ онъ его густымъ, но мягкимъ басомъ.

Теччини низко поклонился.

V.

Онъ быстро, безсознательно оглянулъ всю комнату. Въ ней была та-же невиданная имъ роскошь.

Страдони стоялъ передъ длиннымъ столомъ, уставленнымъ разными вещами и бездѣлушками. Два массивныхъ канделябра поднимались по обѣимъ сторонамъ стола отъ

самаго пола. Подлѣ одного изъ нихъ стоялъ Николо Страдони, сынъ князя, и съ презрительной насмѣшкой смотрѣлъ прямо на Теччини своими блестящими, угрюмыми и злыми глазами.

Паоло еще болѣе смутился.

— Синьоръ... Принчипе...—сказалъ онъ—я пришелъ, я... прихожу къ вамъ, какъ художникъ... Я думаю, что вы ничего не найдете предосудительнаго въ моей просьбѣ... просьбѣ художника...

Онъ чувствовалъ, что задыхался и что неудержимый порывъ смѣха готовъ овладѣть имъ. Онъ инстинктивно, безсознательно вертѣлъ въ рукахъ и мялъ свой беретъ и не видалъ, какъ насмѣшливо смотритъ на него Николо Страдони.

— Я желалъ бы, принчипе... если это возможно, т.-е. если вы, разумѣется, позволите... снять портретъ съ вашей дочери... синьоры Фіорины ди-Страдони. Я, изволите видѣть, задумалъ картину... большую картину... Я немножко извѣстенъ, принчипе, какъ художникъ (и онъ грустно, неестественно улыбнулся)... Я желаю написать мадонну... И потому... Мнѣ необходимо... мнѣ очень... серьезно необходимо...

Но болѣе онъ не могъ говорить. Онъ глубоко вздохнулъ и продолжалъ что-то шептать про себя, чего нельзя было разобрать, неистово судорожно тиская въ рукахъ свой несчастный беретъ.

Принчипе Страдони стоялъ передъ нимъ все въ той же позѣ, закинувъ гордо голову и подбоченясь.

Когда голосъ Паоло совсѣмъ замолкъ, только тогда раздался густой и мягкій басъ принчипе Страдони.

— Сколько я понимаю вашу просьбу — вы желаете снять портретъ съ моей дочери, какъ модель для вашей картины.

— Для Мадонны, принчипе,—прошепталъ Паоло.

— Это все равно!.. Для кого бы то ни было... Вы ошиблись, молодой человѣкъ... Дочь князя Страдони никогда не будетъ служить, не можетъ служить—моделью для художника... Вы ошиблись... Ищите себѣ модель между такими женщинами, которыя обыкновенно служатъ моделями для художника... Вы ошиблись... молодой человѣкъ.

И онъ протянулъ указательный палецъ правой руки къ двери и слегка кивнулъ головой...

Паоло съ отчаяніемъ оглянулся кругомъ, ища гдѣ-нибудь спасенья отъ этого позора, и невольно встрѣтилъ тотъ же злобный и насмѣшливый взглядъ Николо Страдони.

Онъ поспѣшно обернулся и вышелъ.

За портьерой его ожидали двое лакеевъ, которые молча и быстро пошли впереди его. Онъ шелъ, не помня себя; ковры, казалось, волновались подъ его ногами. Мимо него мелькали въ какомъ-то хаосѣ бронза, сталь, бѣлыя статуи, бюсты и пестрыя майоликовыя вазы, наконецъ, амфилада залъ кончилась. Онъ вышелъ, въ сопровожденіи тѣхъ же двухъ лакеевъ, на лѣстницу и началъ быстро спускаться внизъ. Онъ почти выскочилъ въ дверь, которую передъ нимъ распахнулъ привратникъ. Онъ слышалъ или ему казалось, что онъ слышалъ позади себя какой-то хохотъ.

Онъ бѣжалъ, не чувствуя, не понимая, гдѣ онъ. Краска стыда жгла его лицо. И только въ дверяхъ своей квартиры онъ очнулся, оглядѣлся, быстро взбѣжалъ наверхъ въ свою студію, распахнулъ альковъ, въ которомъ скрывалась его убогая кровать, и, не снимая берета и епанчи, упалъ лицомъ въ подушки и громко зарыдалъ.

VI.

Прошло нѣсколько дней.

Угрюмый и печальный онъ ходилъ по окраинамъ Флоренціи. Онъ заходилъ на Campo-Santo, и среди красивыхъ монументовъ, подъ которыми покоились знатные синьоры, среди бѣдныхъ каменныхъ крестовъ и плитъ, онъ думалъ о суетѣ всего земного. Слава, деньги, почести, титулы, княжества и самая красота — все бренно, ничтожно передъ вѣчной славой и вѣчной, нетлѣнной красотой неба.

Онъ перебралъ свои наброски, этюды и эскизы—все казалось ему мелко, ничтожно, все была погоня за земной славой. Огромное полотно стояло посреди его студіи. Задумчивый онъ усѣлся передъ нимъ.

«О! если бы мнѣ, думалъ онъ, привелось изобразить тебя, съ твоимъ небеснымъ ликомъ. Я работалъ бы съ чистымъ, святымъ желаніемъ передать человѣчеству красоту Божію и любовь къ чудной Дѣвѣ, родившей вѣчную, небесную любовь на землѣ. Гордость, дьявольская гордость—поставила преграду, ее не покачнешь, не переступишь. О! Фіорина, если ты можешь слышать душой... Услышь призывъ моего сердпа, моей страждущей души.. Приди!.. Дай увѣковѣчить твои неземныя, святыя черты!..»

И онъ въ нѣгѣ и томленіи, со слезами на глазахъ, протянулъ руки къ полотну. Но тутъ же опомнился, одумался и прошепталъ:

— Какой я ребенокъ... жалкій ребенокъ...

Въ двери раздался легкій, но твердый стукъ.

— Кто тамъ?—вскричалъ онъ.—Войдите!

Дверь тихо отворилась и въ студію, неслышной походкой, вошла стройная дѣвушка или дама. Она была заку-

тана въ простой сѣрый плащъ. Лицо ея было закрыто густою бѣлою вуалью и сквозь эту вуаль сверкало дорогое ожерелье. На рукахъ звенѣли цѣнные браслеты. Сильный ароматъ какихъ-то восточныхъ, раздражающихъ духовъ окружалъ ея молодую фигуру.

— Вы синьоръ Паоло Теччини, художникъ?—спросила она звучнымъ, мелодичнымъ сопрано и остановилась прямо передъ нимъ.

— Я, синьора, къ вашимъ услугамъ.

— Можете вы написать съ меня портретъ, во весь ростъ, безъ платья... безъ всего...—спросила она, понизивъ голосъ.

— Могу,—сказалъ Паоло, озадаченный этимъ страннымъ заказомъ.

— Что будетъ стоить такой портретъ?

Паоло немного подумалъ и сказалъ:

— 300 дукатовъ.

— Сколько сеансовъ вамъ необходимо?

— Пять, четыре сеанса, наконецъ, три... если...

— Я не могу дать больше двухъ.

— Я постараюсь, синьора, окончить въ два.

— Если вы окончите въ два сеанса и я останусь довольна вами, я вамъ прибавлю еще 50 дукатовъ.

Паоло молча поклонился.

— Если вы кому-нибудь, хотя неумышленно, мелькомъ проговоритесь, — что вы писали съ меня портретъ, то вы умрете!

— Я не боюсь смерти, синьора,—сказалъ Паоло.—Но будьте покойны... Ни во снѣ, ни на яву... никому я не выдамъ тайны, довѣренной мнѣ... дамой, и свято сохраню эту тайну.

— Здѣсь нѣтъ никого въ студіи, кромѣ васъ?—спросила она.

— Никого, синьора.

— Заприте двери.

Паоло заперъ и снова подошелъ къ полотну. Она медленно раскутала и открыла вуаль.

Передъ нимъ стояла Фіорина ди-Страдони.

На мигъ легкій туманъ закрылъ его глаза. Ему казалось, что колѣни сгибаются подъ нимъ, что онъ съ радостнымъ крикомъ сейчасъ-же упадетъ, въ слезахъ благодарности, передъ судьбой, небомъ и передъ этимъ идеаломъ дивной, неземной красоты.

Но онъ овладѣлъ собой.

VII.

Она тихо и пластично, не торопясь, начала раздѣваться. Паоло, весь дрожа отъ радостнаго волненія, пододвинулъ ей мягкое кресло и табуретъ. Она молча поблагодарила его гордымъ кивкомъ головы.

Она сняла съ себя все и только оставила на бѣло-розовой шеѣ дорогое брилліантовое и жемчужное ожерелье.

Она сняла повязку съ головы и всѣ ея роскошные, золотистые волосы скатились съ ея чудныхъ плечъ и одѣли ее всю золотой сѣтью.

Она гордо отбросила ихъ на одну сторону, твердой походкой подошла къ полотну, къ мраморной тумбѣ, которая стояла подлѣ него. Она свернула и бросила на эту тумбу космы своихъ тяжелыхъ волосъ и они свѣсились и прикрыли тумбу. Затѣмъ она легко и граціозно оперлась на эти космы и повернула голову къ Паоло.

— Нарисуйте меня такъ,—сказала она.

Дѣвственная грудь ея тяжело поднималась. Легкая краска на мгновенье покрыла лицо и побѣжала по плечамъ и по

лась точно такая же звонкая пѣсня и, не имѣя силъ сдержать своего несдержимаго порыва, онъ въ ясный весенній вечеръ запѣвалъ могучую пѣсню. И когда раздавалась эта пѣсня, то всѣ бросали все и бѣжали слушать Сильвана. Всѣ кричали: «Идите, бѣгите, запѣлъ нашъ весенній лѣсной соловей!»

И Сильванъ пѣлъ какъ будто не свою пѣсню, а пѣсню всей весенней, ликующей природы. Его слушали маленькіе дѣти, тихо, какъ будто понимали всю силу этой простой и свободной пѣсни. Его слушали молодыя дѣвушки и грудь ихъ высоко поднималась подъ наплывамъ трепетнаго томленія, отъ котораго восторженныя слезы выступали на ихъ блестящихъ глазахъ. Его слушали старые старики, опершись дрожащими руками на длинные посохи и опустивъ съ глубокимъ благоговѣніемъ сѣдыя головы, какъ будто сама природа, изъ груди Сильвана, посылала имъ свой привѣтъ и манила ихъ старческія кости въ необъятное лоно, на тихій покой своихъ мирныхъ, безстрастныхъ силъ...

IV.

И вдругъ Сильванъ запѣлъ середи лѣта!

Всѣ вздрогнули и удивились этой пѣснѣ. Всѣ также какъ весной бросились слушать ее, но эта пѣсня не была весенняя пѣсня.

Ни дѣти, ни старики не поняли ее. Только молодыя дѣвушки понимали и слушая думали: бѣдный Сильванъ! Онъ должно быть очень несчастливъ.

Да онъ былъ очень несчастливъ и главное потому, что самъ не понималъ и не могъ объяснить, что съ нимъ творилось.

Онъ чувствовалъ, что онъ сталъ не тотъ. Именно съ

того самаго времени, когда онъ увидалъ Беллиту, а случилось это на большомъ праздникѣ, который весь народъ давалъ во славу славнаго царя Гороха...

Съ тѣхъ поръ во снѣ и на-яву мерещилась ему Беллита... Задумаетъ онъ о бѣлой лани, за которой давно онъ гонялся по горамъ и лѣсамъ, а вмѣсто лани чувствуетъ, что въ сердцѣ ему смотритъ Беллита и смотритъ такими же кроткими, задумчивыми глазами, какъ у бѣлой лани.

Лѣсъ, родимый лѣсъ, сталъ ему противенъ. Буки и дубы потускнѣли и глядѣли на него съ укоромъ. Бѣлый ландышъ опустилъ стыдливо свои чашечки, точно Беллита ея красивую головку...

Наконецъ онъ понялъ, догадался, чего ему недоставало и въ одно ясное утро, съ радостной надеждой, схватилъ корзинку и бросился торопливо собирать въ нее цвѣты. Онъ рвалъ тѣ, которые онъ больше всего любилъ: малиновыя розы и бѣлые ландыши. Потомъ онъ уложитъ, какъ могъ, красивые эти цвѣты въ корзину и сверхъ ихъ посадилъ бѣлаго голубя,—своего любимаго голубя... Затѣмъ, завязалъ всѣ свои роскошные черные кудри голубой лентой... Надѣлъ бѣлую одежду и тихо отправился въ городъ.

Въ царствѣ добраго царя Гороха во всѣ времена былъ обычай. Каждый, кто хотѣлъ свить прочное гнѣздышко съ своей голубкой приносилъ ей бѣлаго голубя и если голубка, которой онъ подносилъ этого голубя, желала раздѣлить съ нимъ жизнь и судьбу, она принимала подарокъ. Всѣмъ извѣстно, что на свѣтѣ нѣтъ ничего прочнѣе и древнѣе обычая... Онъ одинъ не родня прогрессу.

Сильванъ не зналъ, гдѣ онъ найдетъ Беллиту. Но сама судьба привела его къ мѣсту свиданья.

Онъ нашелъ ее за городомъ, у колодца, въ тѣни небольшой буковой рощицы.

Онъ подошелъ къ ней.

— Беллита!—сказалъ онъ тихо.

Она вздрогнула, подняла голову и взглянула на него своими кроткими глазами.

— Беллита!—сказалъ Сильванъ и робко взялъ ее за руку. Онъ долго гладилъ эту бѣлую, маленькую руку своей грубой, загорѣлой рукой и наконецъ робко заговорилъ:

— Здѣсь хорошо, Беллита, въ этой тихой рощѣ... Но тамъ, тамъ, въ большемъ лѣсу, тамъ еще лучше... Тамъ въ тихое утро, на разсвѣтѣ, высокіе, сѣдые дубы стоятъ и ждутъ краснаго солнца. И когда выглянетъ красное солнце, то все встрепенется, всѣ деревья улыбнутся!.. Тамъ хорошо, въ этомъ вѣковомъ лѣсу, тамъ родное, вѣчное. И я все думаю... если бы ты, Беллита, вошла-бы въ этотъ лѣсъ... Какъ бы обрадовались тебѣ всѣ цвѣты, травки и былинки!!. Вѣдь, они живыя, Беллита... Они мнѣ все говорятъ... все что думаютъ... Я вотъ часто мечтаю, Беллита!.. Объ этой жизни вдвоемъ съ тобой, въ этомъ лѣсу... Тихой, сердечной жизни... Беллита!.. Я приношу тебѣ моего голубя... Я самъ вскормилъ его. Посмотри: какой онъ милый, добрый и ласковый!..

Она вся покраснѣла. Она тихо взяла голубя. Нѣжно поцѣловала его и взбросила кверху. Голубь взвился выше и выше и пропалъ въ синевѣ неба. Вѣроятно, онъ полетѣлъ домой.

Сильванъ поблѣднѣлъ.

— Сильванъ!—вскричала Беллита, всплеснувъ руками.—Я не могу быть твоей... Я... я принадлежу другому... Я не могу быть твоей, мой добрый Сильванъ.

И сказавъ это, она опустила голову, отвернулась и пошла въ глубь буковой рощи, а Сильванъ долго еще стоялъ на одномъ мѣстѣ и шатался. Потомъ, также опустивъ голову, онъ тихо пошелъ къ себѣ, къ своимъ дубамъ и букамъ, и еслибы онъ жилъ не при царѣ Горохѣ, а въ наше

просвѣщенное время, то навѣрное бы онъ хватилъ себя тѣмъ охотничьимъ ножомъ, который висѣлъ у него на поясѣ. Пустая корзинка, которую онъ несъ, стѣсняла его. Онъ машинально тискалъ ее, мялъ руками, рвалъ и разбрасывалъ... На что она теперь ему?!.. А еще сегодня утромъ онъ снаряжалъ ее съ такой радостной надеждой.—Теперь все погибло. И опустившись на землю, у корней раскидистаго вяза—онъ заплакалъ, заревѣлъ, какъ истый дикарь.

Но кому-же принадлежала Беллита?

Въ то время, какъ уходилъ Сильванъ, изъ-за рощи, вдали вдругъ раздались звуки веселой пѣсни и Беллита вся просіяла, заслышавъ эти звуки. Довольная она подняла головку и весело пошла имъ навстрѣчу.

Изъ-за дальнихъ деревьевъ, самоувѣреннымъ, ровнымъ шагомъ шелъ Никогинъ и пѣлъ свою страстную пѣсню...

V.

Разъ, поздно вечеромъ, когда Никогинъ и Беллита тихо шли обнявшись, вдругъ изъ-за деревьевъ прямо на тропинкѣ всталъ передъ ними Сильванъ. Никогинъ поднялъ голову и гордо окинулъ его взглядомъ. Беллита смотрѣла на него испуганными глазами.

— Слушай!—сказалъ Сильванъ, повелительно протянувъ руку къ Никогину,—если когда-нибудь заплачетъ отъ тебя Беллита, если ты заставишь ея сердце сохнуть отъ горя, то я уничтожу твое собственное сердце. Слышишь!

И сказавъ это, онъ повернулся и скрылся, прежде чѣмъ Никогинъ успѣлъ сказать хоть одно слово.

— Лѣсной дуракъ!—закричалъ онъ вслѣдъ ему.

Но тѣмъ не менѣе этотъ дуракъ погрозилъ ему смертью, прямо въ глаза, передъ лицомъ любимой и любившей его

женщины и онъ не нашелъ ничего сказать ему, онъ, Никогинъ, который считалъ себя умнѣе и сильнѣе всѣхъ на свѣтѣ. Да! это очень обидно!

И вотъ, вдругъ, на его розѣ выросли шипы. Онъ долженъ ее любить. Онъ не можетъ ее не любить, потому что этого хочетъ «лѣсной дуракъ», который если и не убьетъ его (это еще бабушка на-двое сказала), то постоянно будетъ торчать передъ нимъ въ видѣ memento mori...

Да и чѣмъ-же Беллита лучше другихъ женщинъ, думалъ Никогинъ. Всѣ онѣ ищутъ наслажденія, обѣщаютъ что-то новое, неизвѣданное и въ результатѣ даютъ одно и тоже... А Беллита? Это просто медовая лепешка, сладкая до приторности. Она готова, какъ глупая собака, лизать твои руки и боготворить тебя... изъ-за чего?!.. Нѣтъ! Изъ всѣхъ женщинъ я ве знавалъ лучше Нигриты. Это дѣйствительно глубокое сердце, въ которомъ и ночь и солнце, и море страсти, и бездна желчи. Она отдается не даромъ. Съ ней не знаешь: кто сильнѣе, ты или она? Постоянно пылкая, загадочная, она готова и боготворить и убить тебя. Это дѣйствительно сила ума, чувства и страсти.

И въ первый разъ Никогинъ не отвѣтилъ Беллитѣ на ея нѣжныя ласки, въ первый разъ она почувствовала въ сердцѣ тотъ ужасъ и холодъ, который сжимаетъ его при потерѣ того, чѣмъ жило она полно и беззавѣтно.

И дни шли за днями. И то, что должно было неизбѣжно свершиться, свершилось. Беллита бродила уже одна по тѣмъ рощамъ, въ которыхъ такъ страстно и сильно поглотила ее полная чаша любви. Теперь отъ этой чаши и слѣдовъ не осталось. Блѣдная, полупомѣшанная бродила она и все искала, придумывала—куда унесся ея золотой сонъ и не могла придумать.

А Никогинъ порхалъ и кружился по прежнему. И кругомъ его, вмѣстѣ съ нимъ, порхали и кружились всѣ тѣ, у

которыхъ сердце постоянно кружится, ищетъ новыхъ ощущеній, новыхъ ласкъ.

Разъ вечеромъ онъ сидѣлъ на широкой луговинѣ, между скучающими или наслаждающимися парами, сидѣлъ подлѣ Нигриты. Она заставила его пересчитать лепестки у двадцати махровыхъ розъ, которыя цвѣли на полянѣ.

— Тотъ, кто считаетъ, сказала она,—никогда не просчитывается. Это правило всѣхъ физикусовъ и химикусовъ. Съ каждымъ сосчитаннымъ лепесткомъ любовь твоя ко мнѣ будетъ усиливаться, потому что препятствіе раздражаетъ и чѣмъ болѣе накопится раздраженія, тѣмъ оно сильнѣе дѣйствуетъ. Это тоже говорятъ физикусы и химикусы.

— Да!—соглашался Никогинъ,—но ты забыла, что у этого накопленія есть свой предѣлъ, далѣе котораго оно не дѣйствуетъ.

— Ну! дойди до этого предѣла, а я посмотрю, какъ далеко оно лежитъ.

Общипавъ пять розановъ, Никогинъ увѣрялъ, что онъ дошелъ до предѣла, Нигрита спорила, что нѣтъ; что недостаетъ еще нѣсколькихъ лепестковъ. Никогинъ настаивалъ на своемъ. Онъ ловилъ ея руки, просилъ и молилъ и вдругъ замолкъ и поблѣднѣлъ.

Прямо передъ нимъ стоялъ Сильванъ, также блѣдный, съ искаженными чертами.

Увы! это была одна тѣнь прежняго Сильвана. Желтый, худой, съ глубоко-ввалившимися глазами, съ спутанными, всклокоченными волосами, онъ походилъ на безумнаго.

— Никогинъ!—сказалъ онъ дрожащимъ, задавленнымъ голосомъ.— Ты хуже черной змѣи, потому что она, чтобы утолить свой голодъ, убиваетъ и съѣдаетъ свою жертву, а ты для наслажденія убилъ сердце той, для которой ты былъ дороже всего на свѣтѣ. Если убиваютъ змѣю, то тѣмъ болѣе слѣдуетъ убить тебя—и я дѣйствительно это сдѣлаю.

И прежде чѣмъ Никогинъ успѣлъ сдѣлать хоть какое-нибудь движеніе, Сильванъ быстро и ловко ударилъ его прямо въ сердце большимъ охотничьимъ ножомъ, который висѣлъ у его пояса. Никогинъ упалъ, обливаясь кровью.

Всѣ присутствовавшіе онѣмѣли отъ ужаса или упали безъ чувствъ и только немногіе съ крикомъ бросились бѣжать въ городъ...

VI.

Скоро собрался народъ и окружилъ Сильвана, который, скрестивъ руки, угрюмо стоялъ предъ трупомъ Никогина.

Долго молчалъ народъ. Наконецъ, старые старики начали шептаться и говорить:

— Надо схватить его, связать. Онъ преступникъ. Онъ совершилъ уголовное преступленіе!

И многіе изъ тѣхъ, которые были смѣлѣе другихъ, подошли къ Сильвану сзади и схватили его. Онъ вздрогнулъ и дико посмотрѣлъ на всѣхъ. Онъ не понималъ ни того, что съ нимъ дѣлалось, ни того, что съ нимъ дѣлали.

Его связали, повели и посадили, за неимѣніемъ тюрьмы, въ темный подвалъ, потому что въ царствѣ добраго царя Гороха давно уже были уничтожены всѣ тюрьмы за ненадобностью.

— Надо судить его, какъ прежде судили, говорили старики.

А какъ прежде судили—объ этомъ никто не помнилъ, и только самые старые старики слыхали отъ своихъ отцовъ, какъ творили судъ при ихъ прапрадѣдахъ.

— Соберутся,—говорили они,—трое судей. Одинъ главный судья-предсѣдатель, другой судья-обвинитель, который и говоритъ, какъ все было дѣло, какъ и кто что видѣлъ, а

третій судья-защитникъ говоритъ, что можетъ быть все это и такъ было, а могло быть и иначе. И когда они все разсудятъ, какъ слѣдуетъ, тогда спрашиваютъ присяжныхъ: виноватъ-ли кого судятъ или не виноватъ? А присяжные были люди, которыхъ выбиралъ самъ народъ, числомъ *двѣнадцать*, ни больше, ни меньше, и должны были они говорить всю правду по всей совѣсти, и должны были говорить эту правду потому собственно, что у самихъ судей при ихъ судѣ предполагалось немного правды... Впрочемъ и присяжнымъ нельзя было довѣряться... такъ себѣ, просто... И они должны были прежде чѣмъ судить, произнести страшную клятву, поклястся всѣмъ, что для нихъ было самое дорогое, поклястся въ томъ, что они дѣйствительно произнесутъ «правду». Разумѣется и при такомъ застрахованіи отъ всякой лжи, вѣрилъ имъ только тотъ, кто желалъ вѣрить; а иной судья смотрѣлъ на какого-нибудь присяжнаго и думалъ:

— Знаю я тебя Лиса вертихвостая. Ты тридцать разъ поклянешся и все-таки солжешь. Знаю я тебя, вьюнъ слизлявый!

И вотъ донесли царю Гороху, что такъ и такъ, ваше величество, вотъ что случилось: одинъ убилъ другаго.

— Ничего! Пускай ихъ! сказалъ царь Горохъ.

Но ему опять доложили, что такъ и такъ, можно и спустить, но, во всякомъ случаѣ, это преступленье, которое должно судить, потому что и въ старину всѣ преступленія судились; что для этого соберется судъ и присяжные. Безъ этого нельзя.

— Ничего! Пускай ихъ! разрѣшилъ царь Горохъ.

И вотъ послѣ разныхъ толковъ, споровъ и вздоровъ, наконецъ, нарядили судъ и присяжныхъ выбрали. Всѣ собрались какъ слѣдуетъ, засѣли также какъ слѣдуетъ и даже самъ царь Горохъ засѣдалъ тутъ же, на особомъ стулѣ, который былъ поставленъ на высокихъ столбахъ, подъ

краснымъ балдахиномъ. Однимъ словомъ, все было очень торжественно и весьма прилично и на это торжество собрался весь народъ царя Гороха, чуть не со всего царства.

Привели Сильвана, прочли всѣ донесенія и свидѣтельства, все какъ было, чинно и не торопясь.

Затѣмъ всталъ судья-обвинитель и началъ говорить, что Сильванъ злодѣй и убійца, что встарину за убійство казнили смертью и что Сильванъ долженъ быть казненъ смертью.

Затѣмъ всталъ судья-защитникъ и говорилъ: что Сильванъ вовсе невиновенъ; можетъ быть, Никогинъ самъ себя убилъ, выхвативъ ножъ у Сильвана, а для такого убійства были и резонныя причины.

— Извѣстно, говорилъ судья защитникъ, что Никогинъ былъ отъявленный негодяй, губитель добрыхъ, невинныхъ сердецъ, а когда онъ погубилъ сердце Беллиты, этой божественной, всѣми любимой Беллиты, тогда на него напалъ страхъ и муки совѣсти и, встрѣтивъ Сильвана, онъ выхватилъ ножъ у него и убилъ себя. Это такъ естественно, что и говорить объ этомъ не стоитъ... Правда, свидѣтели показываютъ единогласно, что Сильванъ ударилъ ножомъ Никогина. Но вы, господа присяжные, пожалуйста имъ не вѣрьте, потому что вѣрить ихъ показаніямъ очень трудно. Посмотрите: кто эти свидѣтели?! Большею частью влюбленныя пары, которыя видятъ только другъ друга и витаютъ совсѣмъ въ другомъ мірѣ. Они находились въ экстазѣ или, правильнѣе говоря, въ психопатическомъ состояніи, а извѣстно, что въ этомъ состояніи имъ можетъ показаться чортъ знаетъ какая чепуха!..

— Господинъ судья-защитникъ, остановилъ его судья-предсѣдатель,—вы не имѣете права обвинять, а тѣмъ болѣе оскорблять свидѣтелей.

— Гмъ! Гмъ! сказалъ судья-защитникъ.—Я только же-

лалъ указать, что господа свидѣтели были... слишкомъ довѣрчивы... На чемъ бишь я остановился... Да! господа присяжные, допустимъ, что свидѣтели дѣйствительно видѣли, что Сильванъ ударилъ ножомъ Никогина, но было-ли это дѣйствительно убійство? Вотъ вопросъ! Вы уже знаете, что между ними была вражда. И вотъ они встрѣтились въ то самое время, когда эта взаимная ненависть накипѣла и достигла крайняго предѣла. Кто былъ зачинщикомъ ссоры при этой встрѣчѣ? Свидѣтели говорятъ различно. Одни говорятъ, что Сильванъ бросился на Никогина, другіе, что Никогинъ бросился на Сильвана. Я думаю, что послѣднее гораздо вѣрнѣе. Никогинъ, по самому характеру своему, не могъ не напасть на Сильвана. Онъ не могъ снести упрека, вѣроятно весьма умѣреннаго, отъ Сильвана и напалъ на него, можетъ быть, ударилъ даже. Этого никто не можетъ рѣшить. Ясно только, что Сильванъ защищался. И въ томъ припадкѣ изступленія и ревности, въ которомъ онъ находился и которое овладѣваетъ человѣкомъ такъ сильно, что онъ теряетъ сознаніе и становится рабомъ страсти, ребенкомъ, безумцемъ. Въ этомъ аффектѣ Сильванъ, очень понятно, инстинктивно выхватилъ свой ножъ, его привычное орудіе, какъ охотника и, защищаясь, нанесъ имъ смертельный ударъ Никогину. Если же это предположеніе ошибочно, то во всякомъ случаѣ, Сильванъ не можетъ быть, не долженъ быть судимъ, какъ убійца, какъ человѣкъ, который убилъ Никогина съ злымъ и заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ. Вы всѣ хорошо знаете этого человѣка, вы знаете это простое, свѣтлое сердце... Бываютъ минуты, тяжелыя минуты, когда на такія сильныя, могучія натуры находитъ какое-то затмѣніе. Болѣзненное, тяжелое чувство захватываетъ ихъ неодолимо и, въ какомъ-то бреду умоизступленія, онѣ совершаютъ роковое, кровавое дѣло. Осудите, если вы желаете быть строгими формалистами, эту добрую душу,

осудите Сильвана на смерть. Но если вы желаете правосудія, того правосудія, свѣтлый источникъ котораго лежитъ въ человѣческомъ сердцѣ, вы, я убѣжденъ въ томъ, оправдаете нашего несчастнаго, добраго Сильвана!

VII.

Когда кончилъ эту рѣчь судья-защитникъ, все собраніе взволновалось. Она произвела сенсацію и всѣ женщины были заранѣе увѣрены, что Сильванъ будетъ оправданъ.

— Подсудимый! — обратился къ нему главный судья, — не имѣете ли вы еще что-нибудь прибавить въ свою защиту.

Но Сильванъ сидѣлъ и не слыхалъ ни того, что говорилъ его защитникъ, ни того, о чемъ спрашивалъ его главный судья. Онъ не понималъ, что творилось вокругъ него, и былъ весь погруженъ въ его внутренній міръ, а въ этомъ мірѣ стояла она, все одна и та же Беллита, грустная, убитая. И сердце его болѣло нестерпимой болью, а голова кружилась въ какомъ-то тяжеломъ чаду.

Судья въ другой разъ обратился къ Сильвану и повторилъ свой вопросъ. Сильванъ приподнялъ голову, дико, съ полминуты, смотрѣлъ на судью не мигая и потомъ снова опустилъ голову.

Судья въ третій разъ громко назвалъ Сильвана и внятно, съ разстановкой, повторилъ свой вопросъ, а сосѣди толкали Сильвана и старались растолковать ему, чего отъ него спрашиваютъ. Тогда онъ встряхнулъ кудрями, провелъ рукой по горячему лбу и началъ говорить тихимъ, надорваннымъ голосомъ, но чѣмъ дальше говорилъ онъ, тѣмъ крѣпче и громче становился его голосъ:

— Мнѣ защищать себя!.. Противъ кого?!.. Когда разъ напалъ на меня медвѣдь, я защищалъ себя... Да! я убилъ

медвѣдя... Противъ кого мнѣ защищаться? Противъ васъ? Да вѣдь вы люди, а не медвѣди... Ахъ! и я былъ человѣкомъ, до тѣхъ поръ, пока не увидалъ Беллиту. Да! я былъ человѣкомъ... Но, теперь!.. Да! все измѣнилось теперь! Темные дубы стали еще темнѣе. Зеленые буки не смотрятъ на меня... Противъ кого же мнѣ защищаться? Противъ цѣлой природы? Но я теперь не люблю ее. Я люблю одну Беллиту, поймите вы это! Вѣдь въ цѣлой природѣ нѣтъ ничего, не можетъ быть выше и лучше ея. Вѣдь я могъ бы быть счастливъ, также какъ Никогинъ, но только мое счастье было бы полнѣе, глубже... Да! зачѣмъ я убилъ его?.. Вы хотите это знать... Я не знаю!.. Вѣдь отъ его смерти не стало легче ни мнѣ, ни Беллитѣ. Вѣдь на свѣтѣ есть много Никогиновъ. Они были и будутъ... Зачѣмъ же я убилъ его?.. Затѣмъ, чтобъ исполнить мое обѣщаніе... Вѣдь если не исполнить обѣщаніе, то назовутъ лжецомъ или хвастуномъ... и я исполнилъ его. Судите же: кто хуже, лжецъ или убійца, и во всякомъ случаѣ убейте меня. Вѣдь вы можете это сдѣлать... Назовите это убійство казнью, возмездіемъ, правосудіемъ... что за дѣло до названія... только убейте меня скорѣе и вы сдѣлаете доброе дѣло!..

Но не успѣлъ еще кончить свое слово Сильванъ, какъ все собраніе заколыхалось. Послышался слабый крикъ и прямо передъ народомъ и передъ судьями бросилась на колѣни Беллита.

Она была блѣдна, желта, но все-таки прекрасна. Ея бѣлое платье было изорвано. Черные блестящіе волосы перепутаны, но они цѣлымъ потокомъ падали съ головы, волочились въ пыли, и всѣ, кто только присутствовалъ тутъ, не могли безъ жалости смотрѣть на это роскошное созданіе, искаженное горемъ и падающее подъ его невыносимой тяжестью.

— Вы всѣ, которые судите Сильвана,—начала Беллита

голосомъ въ которомъ дрожали слезы, протягивая свои чудныя руки къ судьямъ и ко всему народу,—вы всѣ глубоко неправы!.. Судите меня, судите мать мою, которая родила меня такую красивую, что самый добрый человѣкъ въ цѣломъ царствѣ нашего славнаго царя Гороха не могъ устоять отъ одного моего взгляда и весь проникся неодолимой любовью ко мнѣ. Судите Никогина, судите этотъ трупъ, который былъ для меня дороже всего на свѣтѣ, былъ всѣмъ моимъ счастьемъ и горемъ... О, судьи! вы всѣ, которые считаете себя въ правѣ разбирать сердце человѣческое. Поймите, обнимите весь кругъ мелочей во всѣхъ запутанныхъ взаимныхъ сцѣпленіяхъ и тогда произнесите вашъ смертный приговоръ, тогда осудите!.. Кого?!.. Міръ, законъ, имъ управляющій, или всѣхъ, которые присутствуютъ здѣсь и которые не могли ни предупредить, ни поправить того, что свершилось, потому что у нихъ не было для того ни силъ, ни средствъ!..

Всѣ слушали съ нѣмымъ удивленіемъ, посматривая другъ на друга и думая. «Но вѣдь она права! Вѣдь нельзя же осудить Сильвана потому только, что онъ первая и ближайшая причина зла. Отрѣжьте голову гидрѣ—и у ней выростутъ десятки новыхъ головъ. Сильванъ былъ рабъ того, чего мы не понимаемъ. Онъ былъ слѣпое орудіе чего-то непостижимаго. Онъ невиненъ!»

И со всѣхъ сторонъ шепотъ и говоръ громче и громче, перешли, наконецъ, въ громкій крикъ:

— Онъ невиненъ! невиненъ!

VIII.

Но, не успѣлъ еще главный судья-предсѣдатель остановить эти крики, какъ они сами замолкли.

Стихъ народъ въ новомъ изумленіи и тѣснясь и разступаясь сторонился и давалъ дорогу старому дряхлому старичьку.

Онъ шелъ довольно твердой поступью—и всѣ разступались передъ нимъ.

— Это Прозофосъ! Это отецъ Сильвана— шепталъ народъ.

Когда Сильвану минуло двѣнадцать лѣтъ и умерла его мать, еще свѣжая женщина, Прозофосъ сказалъ ему:—Ступай въ лѣсъ и живи въ немъ лицомъ къ лицу съ той великой матерью, отъ которой все произошло и у которой человѣкъ еще долго не похититъ всѣ ея великія, могучія тайны».

И Сильванъ пошелъ въ лѣса и сдѣлался охотникомъ, а отецъ его, который былъ физикусомъ, простился съ своими товарищами и также ушелъ въ глухія, дремучія дебри, куда съ ихъ рожденія еще не проникалъ человѣкъ.

— Я иду,—сказалъ онъ,—дорабатывать въ тиши полнаго, безстрастнаго уединенія то, что занимало меня такъ сильно всю жизнь!..

И онъ собралъ всѣ свои книги, рукописи, инструменты, перевезъ ихъ въ свою пустыню и поселился въ ней. Порой онъ приходилъ въ городъ; но прошло уже болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ не выходилъ изъ своей далекой лабораторіи и народъ считалъ его умершимъ.

И вотъ, вдругъ неожиданно, онъ явился на судилищѣ.

— Господа судьи!—сказалъ онъ тихимъ но твердымъ голосомъ. — Я пришелъ сюда не съ тѣмъ, чтобы защищать моего сына или сказать что-либо въ обвиненіе или оправданіе его. Нѣтъ! Я желалъ бы высказать нѣчто по поводу того, что свершилось, и я надѣюсь, что вы позволите мнѣ это высказать, разумѣется, послѣ того, какъ судъ произнесетъ свой приговоръ.

— Хорошо!—сказалъ судья-предсѣдатель. — Мы охотно выслушаемъ ваше слово, потому что въ немъ найдемъ, вѣроятно, не мало поучительнаго для всѣхъ насъ.

Потомъ онъ обратился къ присяжнымъ и сказалъ имъ:

— Вы слышали все дѣло, слышали все, что было сказано въ защиту Сильвана. Теперь ваша очередь произнести приговоръ. Возьмите въ помощь вашу совѣсть и во имя правды, во имя одной только правды, произнесите ваше безстрастное и нелицемѣрное слово, одно только слово: да или нѣтъ! Виновенъ или невиновенъ подсудимый!?

IX.

И всѣ присяжные отошли въ сторону и стали совѣщаться. Они долго разсуждали, спорили, наконецъ всѣ пришли къ одному заключенію и подошли къ судьямъ.

— Мы долго разсуждали, сказалъ старшій присяжный, —и не можемъ отвѣтить на предложенный вопросъ: виновенъ или невиновенъ Сильванъ? Онъ убилъ Никогина—это правда. Но противъ кого же онъ сталъ виновенъ?! Пусть кто-нибудь скажетъ, что онъ обиженъ, оскорбленъ убійствомъ Никогина!

Но всѣ молчали.

— Можетъ быть онъ оскорбилъ общество, продолжалъ присяжный,—то пусть отвѣтитъ на это народъ.

Но народъ по прежнему молчалъ, а всѣ маменьки въ тайнѣ даже радовались, что была уничтожена ненавистная порча ихъ дочекъ.

— Можетъ быть общество боится Сильвана, можетъ быть считаетъ его вреднымъ и желаетъ, чтобы мы рѣшили этотъ вопросъ, тогда пусть судъ постановитъ его, пусть спросятъ насъ: *вреденъ* или *не вреденъ* подсудимый для об-

щества? И тогда мы отвѣтимъ: да или нѣтъ, а на предложенный вопросъ мы не можемъ отвѣчать. Мы его не понимаемъ!

И когда замолчалъ присяжный, тогда вся толпа заволновалась, поднялся говоръ, споры. Судьи настаивали на томъ, чтобы присяжные отвѣтили, ибо таковъ старинный законъ. Всѣ старики горячились, выходили изъ себя и говорили, что это нарушеніе правосудія, что оно всегда требуетъ наказанія или оправданія подсудимаго, а когда молодежь приставала къ нимъ съ требованіемъ объяснить, что такое правосудіе, — тогда всѣ добрые старички становились въ тупикъ и толковали всякій вздоръ. Одни говорили, что это возстановленіе оскорбленной правды, другіе говорили, что это право судить, врожденное человѣку, — и всѣ, однако, не могли возразить противъ постановки вопроса: вреденъ или не вреденъ подсудимый для общества? Наконецъ, главный судья-предсѣдатель громкимъ голосомъ остановилъ весь этотъ шумъ:

— Господа!—сказалъ онъ,—вопросъ, который мы хотѣли разрѣшить, дѣйствительно не такъ простъ, какъ намъ казалось съ перваго взгляда, но у насъ есть средство для его разрѣшенія. У насъ есть сословіе людей, которые имѣютъ священную обязанность заботиться о благѣ всѣхъ и каждаго, заботиться о всѣхъ нуждахъ общества и выводить его изъ всѣхъ затруднительныхъ положеній. Мы можемъ, мы должны обратиться къ физикусамъ и химикусамъ.

И не успѣлъ еще кончить судья, какъ со всѣхъ сторонъ закричали:

— Да! да! Пусть они рѣшатъ, пусть рѣшатъ! Давайте скорѣй сюда фазикусовъ и химикусовъ!

У всѣхъ точно гора свалилась съ плечъ. Многіе даже обозлились и выбранили физикусовъ и химикусовъ, какъ они смѣли не принять участіе въ судилищѣ!.. Какъ-будто

эти люди были козлища очищенія всѣхъ чужихъ грѣховъ.

X.

И вотъ послали именемъ царя Гороха требовать на судъ физикусовъ и химикусовъ и они явились. Сначала шли физикусы, а за ними химикусы, по старшинству. Впереди шелъ глава ихъ, сѣдой и растрепанный, въ длинномъ черномъ халатѣ,—который весь былъ прозженъ всякими кислотами,—въ черномъ колпакѣ, который весь былъ изъѣденъ мышами и молью, и несъ этотъ глава въ рукахъ вѣсы физическія, потому что они считались старше химическихъ. А за нимъ шли рядами всѣ химикусы и физикусы. Одни блѣдные худые. Это тѣ, которые за своими занятіями забывали сонъ и ѣду, хотя и проповѣдовали всѣмъ, что это вредно. Другіе были красные, да толстые, кровь съ молокомъ, что и означало наглядно: mens sana in corpore sano. И когда вслѣдъ за физикусами потянулись химикусы, то всѣ дамы и дѣвушки, у кого были нервы чувствительнѣе, чуть не попадали въ обморокъ отъ тяжелаго запаха, потому что каждый химикусъ былъ весь насквозь пропитанъ всякими лабораторными снадобьями и специями, меркаптанами и метибутилами. Безъ этого запаха онъ жить не могъ, какъ селедка безъ воды.

Когда былъ предложенъ физикусамъ и химикусамъ тотъ самый вопросъ, который предлагали присяжнымъ, то они тотчасъ же принялись за дѣло. Они ощупали пульсъ Сильвана и высчитали по немъ среднее и крайнее напряженіе біенія сердца, причемъ приняли во вниманіе его лѣта, ростъ сложеніе и всѣ побочныя обстоятельства. Потомъ они тщательно смѣрили и ощупали его голову, смѣрили блескъ

глазъ, электропроводимость волосъ, смѣрили всѣ его тѣло во всѣхъ частяхъ, вычислили отношенія этихъ частей другъ къ другу, опредѣлили показателей всѣхъ его функцій, всѣхъ самыхъ тонкихъ отправленій его нервной системы. Приняли въ разсчетъ мѣстность и температуру дня, въ которой совершено преступленіе. Потомъ долго рылись и вычисляли по своимъ книгамъ, которыя всѣ были полны всякими цифрами и формулами, и наконецъ сказали.—Онъ невиненъ! Онъ невиненъ, потому что по его натурѣ онъ, при всей окружающей обстановкѣ и при столкновеніи всѣхъ случившихся условій, не могъ побороть наплыва страстныхъ ощущеній и не совершить убійства Никогина. Его воля при этомъ оставалась инертна! Онъ невиненъ!

— Невиненъ!—закричалъ весь народъ въ радостномъ восторгѣ,—невиненъ нашъ добрый, чудный Сильванъ,—и всѣ бросились къ нему. Но тотчасъ же остановились. — Изъ толпы выступилъ Прозофосъ и тихо подходилъ къ судьямъ. Всѣ смолкли въ нетерпѣливомъ ожиданіи. Всѣ хотѣли скорѣе узнать, что скажетъ Прозофосъ. И онъ началъ, поклонясь царю Гороху и судьямъ и всему народу.

XI.

— Чуденъ ходъ свѣтилъ міровыхъ, въ ихъ чудномъ движеніи!—Такъ началъ Прозофосъ тихимъ, ровнымъ голосомъ. —Необъятенъ кругъ явленій, которыя совершаются въ мірозданіи. Человѣкъ старается инстинктивно уловить норму этихъ явленій и на этой нормѣ создать «правый судъ». Онъ старается установить правду въ отношеніяхъ людей и составляетъ цѣлые кодексы всякаго «права». Но живая правда человѣческой души убѣгаетъ отъ этихъ мертвыхъ, механическихъ кодексовъ правъ. Жизнь не укладывается въ нихъ. Она выше, полнѣе, многостороннѣе. И вотъ гдѣ начало

«Суда Присяжныхъ». Въ сердцѣ каждаго человѣка живетъ смутное чувство той мировой правды, которая складывается изъ всѣхъ міровыхъ явленій. Мы называемъ это чувство «совѣстью», но его нельзя уловить ни какими кодексами.... Каждый міръ неизмѣнно совершаетъ свой циклъ и какъ будто возвращается на прежнее мѣсто. Но все это необъятное, безграничное число всѣхъ круговъ находится въ такомъ общемъ взаимно-сцѣпленномъ движеніи, что каждый міръ, въ каждое мгновенье, пробѣгаетъ новое пространство и все стремится, развиваясь, осложняясь, въ неизмѣримую безконечную даль, къ тѣмъ чуднымъ явленіямъ, о которыхъ человѣчество еще долго не будетъ имѣть никакаго понятія. Точно также и здѣсь въ этомъ мірѣ, на которомъ развилось человѣчество, и здѣсь все сцѣплено общимъ ходомъ и подчинено общему міровому теченью. Мы, физикусы и химикусы, мы можемъ измѣнить строй жизни всего народа, ея постановку, ея условія; но есть два полюса, между которыми еще долго будетъ колебаться ходъ ея, склоняясь то въ ту, то въ другую сторону, и никто изъ насъ не въ состояніи найдти ту неизмѣнную среднюю норму, при которой человѣчество спокойно и свободно, съ полнымъ наслажденіемъ, можетъ идти впередъ, по безконечному пути развитія. Въ преданіяхъ и нашихъ записныхъ книгахъ сохранилась та ошибка, котурую сдѣлали наши предшественники, обезличивъ народъ и отнявъ отъ него почти всю силу страстности, которая одна можетъ дѣйствовать, какъ постоянный возбудитель на всѣ другіе психическіе процессы. Когда же снова эта часть нервной системы получила свои функціи, то вы видите теперь передъ собой ея крайнія проявленія. Можно подавить ея другимъ полюсомъ —функціей мозга. Но результатъ будетъ также односторонен и его вредное дѣйствіе будетъ еще сильнѣе, чѣмъ отъ простаго уничтоженія страстности. При склоненіи къ

этому полюсу человѣчество отвернется отъ всѣхъ наслажденій. Всѣ его дѣйствія будутъ совершаться съ правильностью часоваго механизма, но энергія этого механизма будетъ постепенно, медленно ослабѣвать, падать и наконецъ совершенно исчезнетъ, а съ ней и весь родъ человѣческій. Можно приблизиться къ той средней нормѣ, которая лежитъ между этими двумя крайностями, но найдти ее невозможно, по крайней мѣрѣ въ близкомъ будущемъ. Чтобы найдти ее, недостаточно знать всѣ свойства натуры человѣка и управлять ими, недостаточно знать всѣ комбинаціи этихъ свойствъ при всѣхъ окружающихъ громадно разнообразныхъ условіяхъ, для этого необходимо знать *все условія*, въ которыя можетъ встать нашъ земной міръ среди множества цикловъ другихъ небесныхъ міровъ. Вотъ задача отдаленнаго будущаго!...

На этомъ Прозофосъ остановился и хотя рѣчь его была весьма недлина, тѣмъ не менѣе почти всѣ къ концу ея заснули. Заснули судьи, давно спалъ царь Горохъ, храпѣли старики, дремала или зѣвала молодежь, находя толкованіе Прозофоса слишкомъ ученымъ. Только физикусы и химикусы съ жадностью слушали стараго старика, и когда онъ кончилъ, они окружили его и пошли вмѣстѣ съ нимъ проводить его въ его далекое, глухое жилье и потолковать съ нимъ дорогой о многомъ, что еще было для нихъ недостаточно ясно.

А когда ушли они, то весь народъ отъ наставшей тишины вдругъ проснулся и загудѣлъ.

— Гдѣ же нашъ Сильванъ! закричали всѣ,—мы поднимемъ его на плечи и понесемъ. Пусть живетъ, какъ прежде, мирно среди своихъ лѣсовъ и поетъ намъ чудныя весеннія пѣсни!

Но Сильванъ давно уже исчезъ и вмѣстѣ съ нимъ исчезла Беллита.

XII.

Съ той самой минуты, когда она высказала передъ судьями свое страстное слово защиты, Сильванъ весь просіялъ. Онъ не спускалъ съ нея глазъ и медленно наслаждался тѣмъ тихимъ, радостнымъ чувствомъ, съ которымъ больной встрѣчаетъ свое выздоровленіе. Наконецъ, когда физикусы и химикусы произнесли свой приговоръ, онъ всталъ и шатаясь пошелъ подъ тѣнь тѣхъ деревьевъ, гдѣ стояла одиноко Беллита, прислонясь къ огромному развѣсистому буку. Она отдѣлилась отъ этого бука, какъ только завидѣла Сильвана, пошла къ нему навстрѣчу и схватила своими маленькими руками его руки.

— Сильванъ! сказала она.—Я не та уже. Я не прежняя Беллита. Огонь прошелъ по моему сердцу и сжегъ, испепелилъ все, чѣмъ жило оно такъ сладко, такъ безумно. Я могу теперь думать, мой разсудокъ вернулся. Я поняла теперь, что есть въ мірѣ что-то выше и глубже этого опьяняющаго чувства, которое такъ долго держало меня въ его сильныхъ объятіяхъ... Сильванъ! Я сейчасъ мечтала о возможности уйдти съ тобой въ твои вѣковые лѣса,—не твоей подругой... О! нѣтъ Сильванъ!... Я не о томъ мечтала. Нѣтъ. Я думала только, что я буду жить тамъ, подлѣ тебя, лицемъ къ лицу съ этимъ невѣдомымъ для меня, но великимъ міромъ. Ты научишь меня любить его, подмѣчать его тайны, понимать его чудный языкъ. Съ сердцемъ полнымъ вниманія и участія я буду слушать тебя. Можетъ быть, мечтала я, какъ нибудь я возвращу тебѣ тотъ покой, который отняла отъ тебя, хотя и невольно. Я буду заботиться о тебѣ, и.... охранять тебя.... О! Сильванъ!..

Но Сильванъ былъ самъ не свой. Въ какомъ то чаду

самъ себѣ не вѣря, онъ слушалъ чудную музыку ея словъ. Его руки дрожали. Сердце едва билось. И вдругъ, все это чувство глубокое, могучее, подавляющее и вся прежняя боль прожитаго страданія, все вдругъ хлынуло слезами. Онъ весь задрожалъ. Онъ плакалъ и цѣловалъ руки Беллиты, ея волосы, ея платье, а она вся блѣдная, трепещущая, готовая лишиться чувствъ отъ избытка ихъ, она вся была полна будущими, зарождавшимися надеждами на новую, лучшую неизвѣданную жизнь. .

И пошли они тихо, обнявъ другъ друга, въ вѣковые лѣса, въ могучее царство всѣхъ растительныхъ силъ, въ тотъ великій міръ, который, хотя и незамѣтно, идетъ впередъ, вмѣстѣ съ человѣкомъ, повинуясь одному и тому же вѣчному неизмѣнному закону.

А народъ долго шумѣлъ. кричалъ и звалъ Сильвана, а всѣ дѣвушки искали Беллиты. И отъ этого шума даже самъ царь Горохъ проснулся.

. . . . . .

И всѣ розошлись и все пошло по старому, потому собственно, что никто не можетъ сказать гдѣ кончается старое и начинается новое. Только Сильванъ ужъ больше не пѣлъ свои чудныя, весеннія пѣсни. Вѣроятно потому самому, почему соловей не поетъ, когда самка его совьетъ гнѣздо. А какъ жили они въ своемъ голубиномъ гнѣздѣ вмѣстѣ съ Беллитой, объ этомъ никто не могъ разсказать ничего вѣрнаго. Говорятъ, что у нихъ было нѣсколько дѣтей и когда выросли они, то не было ихъ умнѣе и всѣ они пошли въ физикусы и химикусы,—даже дѣвушки, что произвело страшный скандалъ между народомъ добраго царя Гороха. Но вѣдь все это только говорятъ. Развѣ можно знать навѣрное то, что случилось назадъ тому... Да тугъ и цифръ никакихъ не подберешъ! Вѣдь все это случилось гораздо раньше, Брамы и Вишну, раньше всякихъ мидовъ и персовъ

раньше самыхъ древнихъ индусовъ, раньше даже тѣхъ народовъ, которые жили какъ бобры, по озерамъ въ конурахъ, на сваяхъ. Однимъ словомъ, все это случилось еще при царѣ Горохѣ!...

ДВА БРАТА.

L'amour n'a point de moyen terme:
ou il perd, ou il sauve.
Vict. Hugo.

I.

Раннимъ лѣтнимъ утромъ Алексѣй и Александръ Бельтищевы проснулись въ ихъ родовомъ селѣ Зыкинѣ, въ большой угольной комнатѣ, которую въ деревнѣ называли «каминной». Въ одной стѣнѣ ея былъ вдѣланъ каминъ, очень простой, грубой деревенской работы. На его полочкѣ можно было почти всегда видѣть сапожную щетку и баночку съ ваксой, поломанный синій графинчикъ, какую-то тоненькую книжку безъ корочекъ, цинковую мыльницу съ крохотнымъ обмылкомъ и окурки папиросъ.

Вокругъ комнаты шли турецкіе диваны, обтянутые выцвѣтшей голубой ситцевой матеріей, съ широкими разводами. На нѣкоторыхъ диванахъ обивка была сильно порвана и висѣла клочьями.

На двухъ изъ этихъ дивановъ, въ двухъ разныхъ углахъ, спали братья Бельтищевы. Оба были молоды. Старшій, Алексѣй, около трехъ лѣтъ тому назадъ былъ произведенъ въ

офицеры по гвардіи. Младшій окончилъ курсъ въ провинціальномъ университетѣ. Оба пріѣхали провести лѣто въ деревнѣ, въ которой взросли и были воспитаны.

Прежде проснулся Александръ. Онъ долго мигалъ на свѣтъ и позѣвывалъ. Его запухшіе сѣрозеленые глаза щурились. Красноватый грушеобразный носъ лоснился, и все лице дышало скрытой энергіей и деревенскимъ здоровьемъ. Темнорусые волосы клочьями лѣзли на глаза и торчали во всѣ стороны. Толстыя оттопыренныя губы весело и добродушно улыбались.

Проснувшись, онъ вынулъ руку изъ-подъ байковаго. сильно поношеннаго, одѣяла, взялъ часы, въ толстой серебряной оправѣ, съ простого плетенаго мочальнаго стула, который стоялъ у его изголовья, посмотрѣлъ, щурясь, на циферблатъ, узорчатыя стрѣлки котораго показывали половину седьмого, и снова положилъ ихъ на стулъ.

Въ головѣ его еще была сонная каша, изъ которой ярче всего выдѣлялось удовольствіе свиданія съ братомъ. Онъ только-что на-дняхъ пріѣхалъ въ деревню въ двухмѣсячный отпускъ.

«Онъ долженъ быть ужь того... немножко тронутъ ерундистами, подумалъ онъ о братѣ.... А какъ онъ обозлился когда я заговорилъ о безсознательномъ!»

И онъ припоминалъ, смакуя, весь вчерашній разговоръ, и собственные отвѣты, и озлобленныя реплики брата.

Вошелъ на цыпочкахъ, неуклюже переступая босыми ногами, Петька, въ сюртукѣ, замаслянномъ и завалянномъ въ пуху, всклокоченный и растрепанный. Онъ сталъ, посапывая, собирать сапоги и платье, разбросанное по стульямъ и диванамъ.

— Ты что же поздно встаешь?—выговорилъ ему строгимъ шепотомъ Александръ.—Почему платье съ вечера не бережь?

— Очень, сударь, ужъ вы рано встаете... никакъ не сообразишь.

— А ты не соображай, а дѣло дѣлай!

Ему не хотѣлось, еще вставать. Онъ досталъ изъ-подъ подушки какой-то небольной томикъ въ лейпцигскомъ переплетѣ и, съ наслажденіетъ потятиваясь и позѣвывая, принялся читать.

Онъ читалъ, повременамъ отрываясь и задумываясь.

Солнце поднялось уже высоко. Платье и сапоги давно уже принесъ, тотъ-же Петька. Принесъ истрескавшійся умывальникъ, жестяную мыльницу, длинное полотенце съ ржавымъ пятномъ, съ красными кружевами, и толченый уголь, вмѣсто зубного порошка. Онъ предложилъ Александру умываться, но тотъ прогналъ его.

Къ дверямъ подошли легкой походкой, шурша платьями и хихикая, двѣ молоденькія дѣвушки. Одна была сестра Александра, свѣжая, розовая блондинка Варя. Другая была ея подруга, высокая, стройная брюнетка, съ восточнымъ типомъ лица, съ сладострастными губами и блестящими глазами, которые искрились и меркли.

Дѣвушки постучались въ двери.

— Эй, рыцари! — закричала брюнетка. — Утренній долгій сонъ, среди жаркаго лѣта, располагаетъ къ лѣни и тупоумію.

И онѣ обѣ засмѣялись.

— Мы сейчасъ, сію минуту! — закричалъ Александръ.

— Кто тамъ?! А! — вскричалъ съ просонья Алексѣй и приподнялъ черную, курчавую голову.

Дѣвушки со смѣхомъ побѣжали прочь.

Въ это время въ столовой, за чайнымъ столомъ, сидѣли мать и отецъ Бельтищевы, Павелъ Алексѣевичъ и Анна Петровна. Она тихо разговаривала съ ключницей Анисьей. Онъ весь былъ погруженъ въ только-что полученные номера «Journal des Débats».

Когда Александръ сошелъ внизъ и ласково поздоровался съ отцомъ и матерью, Павелъ Алексѣичъ сказалъ ему:

— А ты сегодня поздно всталъ!—и при этомъ поправилъ pince-nez и вытеръ свѣжимъ батистовымъ платкомъ коротко остриженную посѣдѣвшую голову съ легкой лысинкой.

— Сегодня, я думаю, пріѣдутъ Александръ Иванычъ и Покровскій.—И онъ отряхнулъ свой батистовый сѣрый сюртучекъ и легкій пестрый галстучекъ.

— Вѣдь они хотѣли пріѣхать къ Троицыному дню.

— Ну, что-же! Троицинъ день не за горами. Всего пять дней осталось.

Въ столовую вбѣжали барышни, смѣясь и волнуясь. Обѣ подбѣжали къ Аннѣ Петровнѣ.

— Bonjour, mama! Здравствуйте!

Павелъ Алексѣичъ какъ-то мягко и нѣжно, съ чувствомъ, пожалъ руку брюнеткѣ и съ наслажденіемъ посмотрѣлъ на ея искрящіеся глаза, которые она съ усмѣшкой тотчасъ-же отвела въ другую сторону.

— Что-же, Marie, сегодня опять будемъ карасей ловить? Да?

— Буду, непремѣнно буду, — сказала пѣвучимъ сопрано Marie.

— Варя! Поди, я поправлю тебѣ воротничекъ и волосы,—сказала Анна Петровна!

— А что? Развѣ растрепались?—Это мы съ Marie горохъ воровали.—И она взглянувъ на Marie, разсыпалась громкимъ смѣхомъ.

Въ комнату вошелъ Алексѣй, свѣжій и бодрый, съ задоромъ въ большихъ черныхъ глазахъ.

Онъ сказалъ: «здравствуйте!» и поправилъ волосы и легенькіе усики, росшіе на немного оттопыренной верхней губѣ.

Затѣмъ подошелъ къ отцу и къ матери.

II.

Среди дня вся молодежь впятеромъ отправилась въ боръ, за грибами. Алексѣй въ чистенькомъ бѣломъ кителѣ шелъ впереди, съ огромнымъ кузовкомъ и несъ торжественно на головѣ шляпу m-lle Marie, а Marie гордо надѣла на бекрень его форменную бѣлую фуражку. Она думала, что эта фуражка къ ней очень идетъ.

Сзади шла Варя, подъ руку съ молодымъ помѣщикомъ сосѣдомъ Любавскимъ. Онъ былъ хохотунъ и «смѣшиломученикъ». Его открытое, красноватое лицо, съ большими голубыми глазами на выкатѣ, и голова съ длинными, бѣловатыми волосами — все сіяло и блестѣло. Повременамъ онъ изображалъ провинціальный оркестръ съ цимбалами и тулумбасомъ, что сильно потѣшало всю компанію. Даже Алексѣй тихо смѣялся какимъ-то непривычнымъ, дѣланнымъ смѣхомъ.

Черезъ часъ публика разбрелась парочками по лѣсу. Только одинъ Александръ забился въ чащу и вытащилъ изъ кармана ту-же книжку, которую читалъ рано утромъ. Онъ прилегъ на траву и ужасно сердился на иволгу, которая свистѣла около него и мѣшала ему погрузиться съ головой въ какое-то мучительное философское положеніе.

Въ другой сторонѣ отъ него въ чащѣ стояли Алексѣй и Marie. Онъ держалъ ее за руку и привлекалъ къ себѣ.

— Одинъ!—просилъ онъ шепотомъ.—Только одинъ!..

Она смѣялась и вертѣла головой. Ея грудь тяжело волновалась, глаза искрились. Отъ всей ея стройной, гибкой фигуры вѣяло жаромъ лѣта и молодого, нетронутаго тѣла.

И вдругъ она бросилась къ нему на шею, крѣпко обняла его, чмокнула и тотчасъ-же стремительно бросилась

бѣжать и неистово закричала пронзительнымъ, прерывающимся голосомъ:

— Ау!.. Варя! Александръ Павлычъ, Сергѣй Ильичъ! Гдѣ вы?!..

Ошеломленный Алексѣй кинулся за ней. Но тотчасъ-же вблизи раздались испуганные голоса Вари и Любавскаго.

Они стояли невдалекѣ, въ маленькомъ бору, гдѣ они набрели на цѣлое гнѣздо масляниковъ. Они расли на откосѣ небольшого оврага. Варя собирала ихъ и поминутно оступалась, падала и съ хохотомъ скатывалась внизъ. Сергѣй Ильичъ бережно и почтительно ее поддерживалъ. Онъ былъ весь красный. Руки его дрожали.

— Смотрите, смотрите! Сколько ихъ!—говорила съ радостью Варя. — И какія крошки, хорошенькіе, бѣленькіе... У, восторгъ!.. Смотрите, смотрите, изъ нихъ молочко бѣжитъ.

— Варвара Павловна!—говорилъ Любавскій дрожащимъ голосомъ, но голосъ его прерывался.

— А кожицы у нихъ совсѣмъ нѣтъ! Ахъ, какіе душки!— И она поцѣловала маленькій грибокъ.

— Варвара Павловна!

— Да что вы?!

— Я хотѣлъ давно поговорить съ вами. Вѣдь я люблю васъ.

Она вся вспыхнула и строго посмотрѣла на него.

— Оставьте! Вы все съ глупостями пристаете.

— Варвара Павловна! Я и во снѣ и на яву вижу васъ, васъ однѣхъ... И если я вамъ не нравлюсь... я удалюсь... я...

И голосъ его опять задрожалъ.

Въ это время подлѣ нихъ раздался отчаянный крикъ Marie.

Они оба вскочили и закричали: «Ау!..»

Вечеромъ вся семья сидѣла на широкомъ балконѣ. Солн-

це низко опускалось, и его потухающіе лучи, какъ бы, засыпая, нехотя играли на неподвижныхъ верхушкахъ липъ и березъ. Птички затихали. Все погружалось въ покой и нѣгу. Гдѣ-то вдали робко, отрывисто разлавалось щелканье соловья.

Алексѣй и Александръ сцѣпились на какомъ-то философскомъ вопросѣ. Александръ спорилъ, желая во что-бы то ни стало добиться истины и убѣдить въ ней брата. Алексѣй вспыхивалъ, горячился и старался отстоять только свое положеніе, въ правду котораго онъ не вѣрилъ. Впрочемъ, тишина, нѣга вечера и близость Marie дѣйствовали и на него. Онъ спорилъ нехотя.

Marie повременамъ быстро взглядывала на него, улыбалась и при этомъ думала:

«Онъ будетъ мой непремѣнно. И половина его имѣнія будетъ принадлежать мнѣ». И эта мысль поднимала бой ея сердца и разливала по ея красивому лицу легкую краску стыда и гордости. Она была бѣдная дѣвушка, единственная дочь восьмидворной помѣщицы.

— Ты посмотри кругомъ, говорилъ Александръ;—все имѣетъ цѣль, и все стремится къ цѣли.

— Это мы опять воображаемъ, прервалъ его рѣзко Алексѣй.—Видимъ, что каждый комаръ стремится укусить, и говоримъ: вотъ это его цѣль... Чепуха!

— Въ это время Варя громко хлопнула себя по лбу и раздавила на немъ комара. Вся компанія разсмѣялась.

Александръ настойчиво продолжалъ споръ. Но Алексѣй уже не отвѣчалъ ему. Онъ погрузился въ интимный разговоръ съ сосѣдкой, шепталъ что-то ей на ухо, отчего она краснѣла и говорила:

— Да подите!.. Да отстаньте!.. Вы съ ума сошли!—и все-таки смѣялась.

Поздно вечеромъ они втроемъ съ Варей долго ходили

по саду, въ которомъ цвѣли сирени. Алексѣй посылалъ Варю то за спичками, то за папиросами, но Marie останавливала ее каждый разъ.

— Не смѣй уходить! Или я пойду вмѣстѣ съ тобой.

На другой день было жарко. Всѣ ходили сонные, какъ мухи. Передъ обѣдомъ Алексѣй поднялся наверхъ, въ каминную. Ему показалось, что тамъ прохладнѣе. Тамъ лежалъ Александръ съ своей неизмѣнной книгой.

Алексѣй сбросилъ китель и повалился на диванъ.

— Фу, какая жарища, тощища и скучища!—сказалъ онъ.

Александръ посмотрѣлъ на него изъ-подлобья, подумалъ и сказалъ:

— Скука—это результатъ недовольства жизнью, и все зависитъ отъ довольства ею.

— Ахъ!—вскричалъ Алексѣй, — отвяжись! Дай мнѣ, сдѣлай милость, милліонъ или хоть пятьсотъ тысячъ — и увидишь, какъ я буду доволенъ. Построю такую виллу, съ такими прохладными гротами, каскадами и фонтанами, а въ гротахъ будутъ нимфы, одна другой аппетитнѣе, просто душки!—И онъ потянулся и вдругъ замолчалъ.

— Ни гроты, ни нимфы—ничто не поможетъ,—продолжалъ докторально поучать Александръ,—если у тебя нѣтъ въ душѣ внутренняго довольства бытіемъ.

— Что?!.... Ахъ, отстань! Ты все душишь своей «душой»... Ну, есть она—хорошо, а нѣтъ—такъ и чортъ съ ней. Не препятствую.

И онъ отвернулся къ стѣнѣ, но тотчасъ же вскочилъ, сбросилъ съ себя галстухъ, разстегнулъ рубашку (онъ былъ безъ жилета) и опять повалился.

III.

Въ воскресенье утромъ, въ Троицынъ день, всѣ отправились въ церковь. Въ церкви было душно. Пахло смоли-

стыми березками и ладаномъ. У всѣхъ крестьянокъ въ рукахъ были желтые цвѣты-пупавки. Marie была въ бѣломъ, серьезная, задумчивая. Она сосредоточенно молилась и плакала надъ вѣткой сирени.

Изъ церкви, которая была въ ближнемъ селѣ, въ четырехъ верстахъ, всѣ вернулись въ Зыкино въ покойномъ и радостномъ настроеніи, на длинныхъ дрожкахъ, которыя почему-то называли «тарантасами». Пара вороныхъ рослыхъ и сильныхъ лошадей бойко и легко везла всю компанію. Любавскій сидѣлъ рядомъ съ Варей и торжественно-величаво, оттопыривъ отъ груди руки, съ серьезной миной везъ платокъ Вари. Алексѣй заглядывалъ въ глаза Marie. Но она была серьезна и каждый разъ быстро отворачивалась отъ него.

Когда подъѣзжали къ запертымъ воротамъ околицы, Любавскій, перебросивъ шаль и бурнусъ Вари на плечо, быстро соскакивалъ, отворялъ ворота, пропускалъ дрожки и такъ же бойко на ходу садился на нихъ.

Легкая пыль поднималась по мягкой проселочной дорогѣ. Дрожки тихо покачивались, ныряли въ маленькихъ овражкахъ и быстро въѣзжали на горки, съ которыхъ открывались необозримыя поля хлѣбовъ. Они тянулись на дорогѣ, и колосья ихъ, перекрещиваясь и играя на солнцѣ, быстро мелькали и струились. Мѣстами въ нихъ проглядывали васильки, донникъ, бѣлая ромашка и красный гордый куколь. Мѣстами изъ нихъ выпархивали голубыя бабочки и долго вились надъ лошадьми, на черныхъ, глянцевитыхъ крупахъ которыхъ ярко выступала бѣлая пѣна.

Когда «тарантасы» подъѣхали къ крыльцу, Павелъ Алексѣичъ торжественно подалъ руку Аннѣ Петровнѣ и ввелъ ее на крыльцо. Цѣлый день въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ проглядывала необыкновенная стариковская нѣжность. Въ этотъ день, двадцать-два года тому назадъ, Павелъ Але-

ксѣичъ сдѣлалъ предложеніе Аннѣ Петровнѣ. И онъ счелъ долгомъ теперь поцѣловать нѣсколько разъ ручку Анны Петровны подводя ее къ чайному столу, ручку въ сѣрой шелковой ажурной митенкѣ.

Анна Петровна какъ-то необыкновенно свѣтло, сіяюще смотрѣла на все и тихо улыбалась. Она вспоминала, какъ двадцать-два года тому назадъ, въ этотъ день Павелъ Алексѣичъ пріѣхалъ къ нимъ, въ маленькую деревеньку Вукуловку, въ бѣломъ жилетѣ и галстухѣ, въ синемъ новенькомъ редъ-фракѣ, какъ онъ отвелъ ее къ окну въ залѣ и тамъ, прямо, смотря на нее голубыми глазами, спросилъ ее:

— Анна Петровна! Позвольте надѣяться, что мои чувства извѣстны вамъ, и позвольте мнѣ переговорить съ вашей maman.

При этомъ она вспыхнула и прошептала:

— Поговорите.

И теперь, даже при одномъ воспоминаніи объ этой свѣтлой минутѣ, лицо ея краснѣло, и она невольно опускала глаза.

Она вспоминала, какъ при этомъ онъ сказалъ: «благодарю»! и нѣжно, въ первый разъ, поцѣловалъ ея руку.

Серьезное настроеніе, вывезенное изъ церкви, продолжалось почти вплоть до самаго обѣда. Всѣ были торжественны, и только одинъ Любавскій былъ неутомимо веселъ. Къ обѣду наѣхали гости. Пообѣдали шумно и весело, и всѣмъ стало сонливо и пріятно.

Старики удалились на боковую или засѣли по маленькой. Молодежь хохотала и дурачилась. Любавскій изображалъ изъ себя турецкаго султана въ чалмѣ изъ Вариной камальи. Варя говорила:

— Это вамъ вовсе нейдетъ,—и съ любопытствомъ поглядывала на него.

Вечеръ былъ теплый, душный. Луна, полная и сіяющая, изъ самой глубины неба освѣщала все съ нѣгой и таинственной торжественностью. Въ прудѣ какая-то лягушка упорно вела свою нескончаемую трель. Порой плескалась рыба. Въ недвижномъ воздухѣ пахло левкоями и сиренью.

Въ одномъ углу тѣнистаго сада, подлѣ пруда, сидѣла на скамьѣ Варя, и подлѣ нея стоялъ Любавскій.

— Варвара Павловна!—говорилъ Любавскій: — вы все отнѣкиваетесь, а у меня сердце изстрадалось.

— Это и видно! Оттого вы вѣрно все шутите и паясничаете.

— Варвара Павловна! Хотите—я сейчасъ заплачу... Мнѣ только... вотъ, вотъ... стоитъ не сдерживать себя, опуститься какъ дома... Вѣдь каждую ночь...

И онъ упалъ на колѣни, прилегъ головой на скамью и зарыдалъ.

— Сергѣй Ильичъ!—И она быстро поднялась со скамейки.—Перестаньте! Я уйду... я ухожу... слышите?!

Но она не ушла, а стояла и смотрѣла на него.

Онъ тихо поднялъ голову и протянулъ ей руку. Изъ глазъ его текли слезы, и свѣтъ луны блѣстѣлъ въ нихъ.

— Сергѣй Ильичъ! Слушайте!...—и голосъ ея задрожалъ: —если вы серьезно, серьезно меня любите, то докажите.

— Что-же? что велите?

— Если любовь ваша не охладѣетъ черезъ годъ—слышите?—то въ будущій Троицынъ день я отдамъ вамъ мою руку.

И она протянула къ нему свою пухленькую, розовую руку. А онъ подползъ къ ней на колѣняхъ, схватилъ эту руку и страстно, порывисто цѣловалъ ее.

— Радость... восторгъ... счастье!...—шепталъ онъ. Потомъ быстро, бѣшено вскочилъ, закричалъ «ура!» и какъ сумасшедшій бросился бѣжать къ дому.

— Этакій взбалмошный!—прошептала она и тихо пошла за нимъ.

Въ это время въ другомъ углу сада Алексѣй ходилъ съ Marie, крѣпко обнявъ ее за талью одной рукой.

Она хотѣла и не хотѣла освободится отъ его объятій. Ей было душно, жутко и сладко. Нѣга любви томила ее и она жаждала ласкъ. Она ходила какъ въ бреду, точно сонная.

— Вѣдь ты любищь меня? Скажи: любишь?—допрашивалъ Алексѣй.

Она молча кивнула головой. Грудь ея волновалась. Голова кружилась.

Не зная какъ, они зашли въ дальній уголъ, гдѣ стояла бесѣдка съ мягкими, протертыми диванами.

Marie сдѣлала послѣднее усиліе надъ собой. Она упорно остановилась передъ лѣсенкой.

— Я не пойду! Нѣтъ!

— Мы только на минутку. Я усталъ. Сядемъ, отдохнемъ, говорилъ Алексѣй, дрожащимъ, прерывающимся шепотомъ.

Она нехотя подчинялась.

Она чувствовала, какъ его горячія губы цѣловали ея волосы, щеки, глаза, плечи... Ей было жутко и хорошо. Хотѣлось плакать отъ счастья и страха. Онъ не выпускалъ ее изъ объятій. Она опустилась на диванъ, какъ въ бреду, въ туманѣ...

— Ради Бога! Алексѣй! Лёша! Нѣтъ!.. молила она.

Но онъ заглушалъ ея голосъ поцѣлуями.

— Ты женишься на мнѣ, Лёша?!

— Еще-бы! Разумѣется женюсь...

. . . . . .

VI.

На другой день съ ранняго утра пошелъ мелкій дождикъ. Всѣ встали поздно. Съ вечера Marie долго не могла уснуть. Она проснулась и услыхала, какъ журчалъ дождь. Она вскочила, босыми ногами подошла къ часамъ на столикѣ и мимоходомъ взглянула въ зеркало. Ее поразила блѣдность лица, темные круги подъ глазами. Сердце мучительно сжалось. Но она подумала: «вѣдь онъ-же обѣщался жениться, и онъ женится». И мечты, юныя и пылкія, общей довольной жизни вдвоемъ закружились въ головѣ и подняли строй упавшаго сердца. Только въ глубинѣ его все что-то шевелилось тревожное и пугающее.

Она вспомнила съ любовью все, что онъ говорилъ ей въ послѣднее время, припомнила съ наслажденіемъ его слова, страстные глаза, нѣжный, дрожащій голосъ, и мало-помалу чувство довѣрчивости и любви, юное и сильное, отогнало безпокойство и боязнь. Сердце опять наполнялось сладостью нѣги, и голова тихо закружилась.

«Надо жить такъ. чтобы жизнь была непрерывнымъ беззаботнымъ наслажденіемъ, припомнились ей слова его,—а самое высше наслажденіе есть любовь».

И она вспомнила всю вчерашнюю сцену въ бесѣдкѣ. Краска стыда залила ея лицо, шею и грудь, и она прошептала: «Милый, дорогой мой!». И страстно прижалась волнующейся грудью къ мягкой пуховой подушкѣ.

Алексѣй проснулся рано, вспомнилъ вчерашнее и чувство торжества и нѣги разлилось и заволновало его сердце. Но вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то досадный укоръ смутилъ его. И вдругъ ему показалось, что это было давно и прошло давно а теперь настала томительная деревенская тоска. Онъ вспом-

нилъ свои прежнія побѣды, и съ этой блѣдной худенькой Lise, жеманной петербургской барышней, и съ этой толстушкой, розовой, пухлой Nadine, и съ m-me Язинской.

«Всѣ онѣ,—подумалъ онъ,—обѣщаютъ на видъ больше, чѣмъ даютъ». И онъ припомнилъ стихотвореніе:

«Въ задорной юности моей
Я былъ рабомъ усерднымъ грацій,
Рогами украшалъ мужей...»

— А что если встряхнуть себя?—подумалъ онъ.—Можетъ быть, кислота и спадетъ.

И онъ тихонько всталъ, одѣлся во вчерашнее нечищенное платье, умылся изъ графина и, спустившись въ людскую, велѣлъ осѣдлать себѣ тотчасъ-же Арабчика, сѣрую, молодую лошадь въ яблокахъ. Онъ самъ смотрѣлъ, какъ его сѣдлали, и торопилъ кучеровъ.

— И куда вы, сударь,—сказалъ Софронъ,—этакую рань, въ Духовъ день? Только измочитесь всѣ. Гляди, какой дождь зарядилъ.

— Не твое дѣло разсуждать!—прервалъ его Алексѣй и щелкнулъ хлыстомъ, который былъ у него въ рукѣ.—Рабъ не больше господина своего! Это ты знай и помни и молчи, каналья.

Арабчикъ былъ готовъ. Алексѣй вскочилъ въ сѣдло, вложилъ ноги въ стремена и легкой рысью отправился по испортившейся дорогѣ, разбрасывая брызги и комки грязи во всѣ стороны.

«Точно на маневрахъ въ прошломъ году», припомнилось ему.

Онъ проѣхалъ верстъ пять, стараясь, чтобы тягость скучныхъ, мучительныхъ мыслей не завладѣла его головой и сердцемъ. Но сквозь частую сѣтку дождя ему чудился надоѣдный голосъ, который шепталъ: «Все и вездѣ одно и то-же, одно и то-же! Поѣзжай на крайній сѣверъ, — тамъ

нестерпимый холодъ, тамъ люди мерзнутъ. Поѣзжай подъ экваторъ,—тамъ люди сохнутъ, или парятся какъ въ банѣ. Спускайся въ нѣдра земли, — тамъ мракъ, грязь и огонь, какъ въ Везувіи и Этнѣ. Вездѣ глупые и довольные люди, которые тѣшатся игрушками: сегодня одна, завтра другая, и опять сегодня одна, завтра другая, и такъ безъ конца, и вездѣ одно и то-же, одно и то-же, одно и то-же».

Ему казалось, что журчанье дождя повторяло: одно и то-же, одно и то-же! «И вѣчно будетъ одно и то-же, думалъ онъ:—люди будутъ умнѣе и глупѣе, злѣе и добрѣе, богаче и бѣднѣе; но вѣчно будетъ одно и то-же, и ничего другого не будетъ». И это его злило, доводило до бѣшенства.

Въ маленькой деревушкѣ Козякинѣ, которая была верстъ шесть отъ Зыкина, на него набросилась стая собакъ. Онъ сердито, по-мужицки выругался, отмахивался отъ нихъ хлыстомъ и одну даже убилъ изъ револьвера, который былъ въ кобурѣ его форменнаго сѣдла. Собаки отстали. На сердцѣ стало еще пустѣе, злѣе, печальнѣе. Онъ пустилъ коня въ галопъ, вскачь, во весь карьеръ. Онъ скакалъ какъ бѣшеный. Что-то повелительное, могучее, съ головокруженіемъ и мокрымъ воздухомъ врывалось къ нему, обхватывало, поднимало весь строй его нервовъ.

Онъ проскакалъ, не замѣчая, довольно далеко. Помнилъ что повернулъ вправо, что какая-то грязная, мокроногая босоножка отперла ему скрипучія воротца деревенской околицы, что онъ проскакалъ двѣ деревни одну за другой. «Это Голубяево, а это Короваиха», подумалъ онъ и снова выѣхалъ въ сплошное, неоглядное, сѣрое поле. Арабчикъ началъ хрипѣть.

— И тутъ проклятое безсиліе,—проворчалъ онъ,—чтобъ его черти разорвали! — И онъ сердито затянулъ удила и осадилъ коня.

Онъ проѣхалъ шагомъ версты двѣ. Вдали чуть виднѣлся

лѣсокъ. Кругомъ было поле и стаи мокрыхъ галокъ. Онъ медленно повернулъ коня и поѣхалъ назадъ шагомъ. Онъ доѣхалъ до поворота, гдѣ сходились двѣ дороги. По которой ѣхать—онъ не зналъ.

— Поѣду, какъ добрый витязь, направо. Конь погибнетъ, за то самъ уцѣлѣю.

Онъ проѣхалъ версты три и встрѣтилъ мужиченка, который мирно спалъ на роспускахъ подъ рогожей. Онъ стегнулъ его хлыстомъ, разбудилъ и разузналъ отъ него, что онъ отъѣхалъ отъ Зыкина очень далеко, и что ему должно вернуться назадъ.

— Дороги здѣсь нѣтъ, милый,—говорилъ мужичекъ:— ворочай назадъ, а то заплуташь во-какъ!

И онъ повернулъ Арабчика назадъ, но до дому добрался еще не скоро.

V.

Marie вышла къ чаю смущенная, блѣдная. Ее поддерживала мысль о немъ. Увидитъ его—и оживетъ, и укрѣпится. Только-бы скорѣй увидѣть его. Она вспомнила о матери, маленькой доброй старушкѣ, которая въ ней души не чаяла, — и стыдъ, и горе сжали ея сердце... А «его» не было.

Всѣ обращались къ ней съ участіемъ. Она всѣмъ отвѣчала, что у ней голова болитъ, и дѣйствительно она чувствовала непривычную тяжесть въ головѣ и легкое головокруженіе.

Онъ не пріѣхалъ и къ завтраку.

«Онъ вѣрно бросилъ меня и уѣхалъ къ Любавскому». —подумала Marie. И руки и ноги ея похолодѣли. Во рту явилась горечь.

Послѣ завтрака она упросила, чтобы ее увезли къ матери. Дождь продолжалъ идти упорно и съ азартомъ. Заложили маленькую крытую таратайку, и пожилая женщина, Марфа, отвезла ее домой.

Дома старушка мать, Катерина Андреевна, вся перетревожилась, увидавъ ее блѣдную и хмурую. Она уложила ее, напоила чаемъ и малиной и постоянно отогрѣвала своими маленькими, костлявыми, но горячими ручками ея холодныя руки.

— Родная моя Машуточка, что это съ тобой, дорогая моя?!—допрашивала она.—Вѣрно простудилась?—И она цѣловала страстно ея голову и роняла на нее слезинки.

— Да ничего, мама! Ну что ты вся раскисла!

И она чувствовала все сильнѣе и сильнѣе, какъ слезы давили ей грудь и горло...

Прошло нѣсколько дней, цѣлая недѣля. Никто не являлся изъ Зыкина. Точно всѣ забыли о ней. Она ѣздила съ матерью къ сосѣдямъ, гдѣ тоже была ея подруга, сверстница Соня. Но вездѣ ей было стыдно и скучно. Въ то время, когда она уѣзжала, къ нимъ пріѣзжалъ на Арабчикѣ Алексѣй. Посидѣлъ, выпилъ два стакана смородинной воды, заигрывалъ съ хорошенькой горничной Дашей и уѣхалъ, велѣвъ всѣмъ кланяться, а барышню поцѣловать.

«Этакъ-то лучше», подумалъ онъ. «Надо взять себя въ руки, на трензель. Поигралъ....—и за щеку. Надо во всемъ свободныя отношенія, чтобы не стѣснять другъ друга. Доставилъ наслажденіе, себя удовлетворилъ... и баста! И никакихъ узловъ не надо! Другой малимончикъ на моемъ бы мѣстѣ распустилъ бы струны, упивался и смаковалъ. Все бы анализировалъ, какъ молъ это смачно, и то, и это... Вотъ какъ мой братецъ Фитюй-философъ».

Вечеромъ онъ водилъ хороводы съ деревенскими дѣвушками. Онъ намѣтилъ одну хорошенькую 16-лѣтнюю брю-

неточку Дуню, которая вся вспыхивала и опускала черные, масляные глазки, когда онъ подходилъ къ ней и бралъ ее за атласистую, горячую, загорѣлую ручку.

На другой же день Marie съ матерью отправились въ Зыкино. У ней все сердце трепетало и наполнилось надеждой. «Онъ просто хотѣлъ испытать меня», думала она. «Вѣдь всѣ эти мужчины такіе недовѣрчивые эгоисты».

Но въ Зыкинѣ онѣ никого не застали. Всѣ отправились за 40 верстъ къ богатому помѣщику, князю С., на обычный семейный праздникъ.

Въ Зыкинѣ черезъ три дня былъ тоже семейный праздникъ,—рожденіе Анны Петровны. Этотъ день всегда торжественно праздновался въ семьѣ. Со всего околодка наѣхали гости. Пріѣхалъ князь С. съ семьей. Выписали изъ города небольшой оркестръ, сотню плошекъ, двѣ сотни шкаликовъ и цвѣтныхъ фонариковъ и цѣлый пудъ стеариновыхъ свѣчей.

Пріѣхала и Marie съ матерью.

«Такъ нельзя,—думала она.—Неужели онъ такъ гадокъ, низокъ? Нѣтъ, необходимо объясниться!»

Каждое утро она чувствовала головокруженіе, слабость и несносную тошноту. Она смутно догадывалась, и эта догадка, какъ острая игла, впивалась въ ея сердце. Ноги и руки холодѣли.

— Что это ты такъ похудѣла и подурнѣла?—удивилась Варя.—Что съ тобой?

— Да, хороша! Я ужь чуть не цѣлый мѣсяцъ больна. Пишу, чтобы навѣстили, и ни отвѣта, ни привѣта.

— Радость моя! Прости меня! И Варя нѣсколько разъ поцѣловала ее.—Я была такъ занята, такъ занята!.. Въ Знаменское пріѣзжалъ архіерей, и нужно было непремѣнно дошить новые воздухи. Мы съ мамой и съ Настасьей Терентьевной просто дни и ночи сидѣли.

Передъ завтракомъ пришелъ Алексѣй. Увидавъ его, Marie сильно поблѣднѣла. Онъ низко поклонился, вѣжливо и почтительно. Освѣдомился о здоровьи.

Кровь бросилась ей въ голову, и ей ужасно хотѣлось заплакать.

Онъ видимо избѣгалъ оставаться съ ней наединѣ. Но какъ-то случайно всѣ отошли отъ нихъ, и они очутились одни въ саду, возлѣ скамейки. Сердце у нея заныло. Она опустилась на скамейку.

— Ну, здравствуй!—сказалъ онъ, опускаясь подлѣ нея.— Что же ты? разлюбила меня? Отчего ты такъ похудѣла и подурнѣла? Была больна?... Бѣдная моя!

И онъ придвинулся къ ней и взялъ ея холодныя руки. Она выдернула ихъ. Она смотрѣла на него вся дрожа. Она не могла представить себѣ такого притворства и чопорной холодности.

— Я...—проговорила она едва слышно, такъ что онъ лишь по движенію губъ догадался, что она сказала.

— Уже? Такъ быстро! Съ оника!.. Не ожидалъ!

— Вы обѣщались жениться на мнѣ...

— Я?!—И онъ посмотрѣлъ на нее, не мигая.—Не помню, но и не отрицаю. Мало-ли что говорится въ пылу страсти! Но ты забыла то, что я говорилъ тебѣ въ трезвомъ видѣ, —что я могу служить только наслажденію, и глупъ тотъ человѣкъ, который ему не служитъ. Въ жизни есть единственное благо—это свободная любовь. Люди изобрѣли и сами на себя наложили разные дурацкіе путы, браки, обязательства...

— Вы подлецъ!—проговорила она твердо и отчетливо, смотря ему прямо въ глаза своими блестящими глазами. Грудь ея волновалась. Еслибы въ рукѣ у нея былъ ножъ, кинжалъ, то она-бы съ наслажденіемъ ударила его прямо въ лицо, въ безстыжіе глаза.

Она быстро поднялась, отвернулась и пошла къ дому. Она ушла наверхъ и, не помня себя, упала на постель. Ей хотѣлось рвать, жечь, бить.

— Какъ гадко все на свѣтѣ! Какъ злы люди!—думала она, и злоба душила ее.

Пришли барышни и увели ее снова въ садъ. Ей все казалось, что внутри ея что-то оборвалось, и что все вертится, какъ во снѣ, и все ей чуждо и далеко. Она видѣла и его, и онъ даже говорилъ ей, но что такое—она не поняла.

Какъ въ чаду она бродила весь день. Прошелъ шумный, слишкомъ шумный обѣдъ, во время котораго играла музыка, и одинъ помѣщикъ сталъ на колѣни и громко молился о здравіи и благоденствіи Павла и Анны. Молодежь хохотала, дурачилась, бѣсилась. Снова заиграла музыка. Вечерѣло. Начали зажигать люстры, свѣчи и лампы.

Какъ она очутилась въ саду одна, она сама не знала. Машинально зашла она къ пруду въ дальній уголъ. За прудомъ чуть-чуть виднѣлась бесѣдка, *та* бесѣдка. Она пошла вокругъ пруда и шатаясь вошла въ бесѣдку. Она посмотрѣла на прорванные диваны, взглянула машинально на старинную гравюру «Казнь Маріи-Антуанеты», что висѣла надъ диваномъ, надъ *тѣмъ* диваномъ.

И садъ, и бесѣдка—все показалось ей пустыннымъ. А тамъ, далеко, шумъ, гости и пируетъ онъ, «подлецъ»! Въ одномъ изъ шести угловъ бесѣдки висѣло маленькое чугунное распятіе, и на него взглянула она. «Помолись!» что-то подсказало ей изъ глубины сердца: и тяжесть спадетъ».

Она шатаясь снова пошла къ пруду и сѣла на берегу, на скамейку. Въ ней что-то качалось страшно, мѣрно, однообразно. Какой-то повелительный голосъ постоянно твердилъ: «пора, пора, пора!» Голова кружилась. Она смотрѣла на гладкую поверхность пруда, на которой медленно вы-

плывали и лопались пузыри. Ноющая боль сердца не унималась. Она встала и подошла къ самому краю пруда, вошла въ осоку. «Тутъ мелко, подумала она: съ плота,—тамъ, говорятъ, глубоко, гдѣ мы карасей ловили когда-то».

И она взошла на плотъ.

Онъ слегка закачался подъ ея ногами.

«Лучше не думать ни о чемъ, сразу! Перекреститься или нѣтъ?»—задумалась она, и ее неудержимо потянуло въ самую глубь, темень холодной воды...

— Маша!—раздалось гдѣ-то вдали.—Маша! Гдѣ ты?

Она вся задрожала. Она забыла объ этомъ голосѣ, который былъ ей такъ дорогъ съ самаго ранняго, милаго дѣтства.

— Маша!—говорила запыхавшись, подходя къ пруду, ея мать.—Гдѣ ты, моя голубка? Я весь садъ обошла. На, моя родная, я тебѣ мороженаго принесла.

Она машинально подошла къ матери. Руки и ноги ея тряслись. Она по-дѣтски крѣпко обхватила ее, уцѣпилась за шелковую парадную мантилью, упала къ ея ногамъ и вся зарыдала, застонала.

— Маша, Маша! дорогая! Что съ тобой, голубонька моя?

И она сама дрожала отъ испуга и продолжала держать въ рукахъ мороженое, оберегая его. Она знала, что это любимое мороженое Маши, апельсинное.

— Мама!—едва проговорила Marie еквозь слезы:—увези меня! Уѣдемъ! Мнѣ тяжело... Невыносимо!

— Что съ тобой случилось, радость моя, голубонька?

Она поставила блюдечко съ мороженымъ на край скамейки, черезъ силу подняла Marie, усадила и обняла ее, а та продолжала рыдать на ея груди.

— Маша! («Какъ она перепачкала бѣлое платье! подумала она, нельзя будетъ гостямъ показаться»). Маша!—зашептала она, наклонясь надъ ней.—Ты не увлекайся имъ...

Вѣдь онъ богачъ, красавецъ. Вотъ онъ увивается и около Зинкиной, и около княжны. Всѣ къ нему льнутъ... Всякая за него пойдетъ...

— Мама! Онъ подлецъ... Онъ обманулъ меня... Я.....

И она прошептала надъ ухомъ матери чуть слышно то страшное слово, которое она боялась произнести вслухъ даже самой себѣ.

Катерина Андреевна поблѣднѣла и задрожала.

— Такъ онъ долженъ жениться на тебѣ Маша!—вскричала она.—Его, подлеца заставятъ!... Я найду защиту... Я къ Царю пойду!..

Marie вдругъ вскочила и схватила ее крѣпко за обѣ руки.

— Мама, это я тебѣ только призналась... Только тебѣ, мама!.. Клянись мнѣ, что этого никто не узнаетъ, что ты никому... Клянись, мама, или я сейчасъ брошусь въ воду и утону.

И она бросила ея руки.

— Клянись, мама... скорѣе!—И она быстро повернулась и бросилась снова на плотъ.

Катерина Андреевна дико вскрикнула, и Marie обернулась. Она увидала, что мать не можетъ встать со скамейки, что она качается, блѣдная какъ смерть, съ протянутыми къ ней руками.

Она бросилась къ ней.

— Мама! мама! Я буду жить... Я пошутила...

Но Катерина Андреевна что-то шептала, чего нельзя было разобрать.

— Мама, родная! Выпей воды... Съѣшь мороженаго...— И она быстро подняла, схватила съ земли упавшее блюдце и давала матери остатки мороженаго, уцѣлѣвшаго на блюдцѣ. Мать смѣялась сквозь слезы. Она держала холодными руками дрожавшія руки Marie и цѣловала ихъ.

— Маша!—шептала она.—Ты одна... свѣтъ мой... жизнь моя... Для тебя, только для тебя я живу...

Черезъ полчаса онѣ обѣ пробрались незамѣтно въ заднія комнаты, выхлопотали себѣ свое верхнее платье и втихомолку уѣхали домой.

VI.

Прошла жаркая пора лѣта, и наступили дожди. Мухи исчезли. Утренники сдѣлались холоднѣе, Алексѣй ходилъ на охоту цѣлыхъ три дня сряду. Но это, наконецъ, надоѣло ему. Дичи не было, а грязь была непролазная. По цѣлымъ часамъ онъ лежалъ на диванѣ, стиснувъ зубы, и старался заснуть. Но сонъ не слушался его. Пробовалъ онъ играть въ карты, но и это надоѣло. Онъ лежалъ и, подъ мѣрный шумъ дождя, считалъ до ста и опять начиналъ снова считать.

Одинъ разъ вечеромъ онъ снова сцѣпился съ братомъ. Александръ доказывалъ, что довольство жизнью зависитъ не отъ человѣка, а отъ силы, которая выше человѣка. Алексѣя такой взглядъ страшно обозлилъ.

— Да ты мнѣ докажи,—вскричалъ онъ и поднялся съ дивана, — что такая сила существуетъ, разумная, интеллигентная сила, а то я вездѣ и во всемъ вижу одну глупую природу. Если бы существовала высшая, интеллигентная сила, то всѣмъ интеллигентамъ было-бы хорошо, а теперь блаженствуютъ только скоты да свиньи.

— Тѣмъ хорошо, которые поняли, въ чемъ суть, и живутъ какъ жить должно.

— Это ты опять о философскомъ аскетизмѣ?

— Кто тебѣ говоритъ объ аскетизмѣ? Я говорю о разумномъ довольствѣ жизнью, наконецъ, о стоицизмѣ, даже

о цинизмѣ, о томъ, чтобы довольствоваться жизнью настолько, насколько она отвѣчаетъ моимъ силамъ и способностямъ и не требовать отъ нея большаго. Каждый человѣкъ можетъ и долженъ помириться со своимъ положеніемъ.

— Да если я вижу одно положеніе—свинство?

— Потому, что тебѣ ничего не дано видѣть, кромѣ свинства. А поищи съ кроткимъ любящимъ сердцемъ, и ты найдешь столько радостей...

— Еслибы я самъ былъ этимъ интеллигентнымъ, премудрымъ существомъ, я каждому отпустилъ-бы дозу наслажденій сообразно его способностямъ и чувствамъ...

— Хорошъ бы былъ міръ, нечего сказать. Стадо свиней, лежащихъ въ болотѣ.

— Нѣтъ!

— Да! да! Потому что ни у кого не было бы узды. Природу связываютъ природные законы, а человѣка должны связывать природныя и общественныя отношенія. Ты вотъ сердишься на Арабчика, когда онъ не слушается трензеля, а самъ не хочешь слушаться узды, которая наложена на тебя Существомъ премудрымъ, наложена для твоего же блага и пользы.

Послѣднее сравненіе совершенно обозлило Алексѣя. Онъ плюнулъ и замолчалъ. И только черезъ полчаса, уходя изъ комнаты сказалъ:

— Ты блаженнымъ родился, блаженнымъ и умрешь. Сколько ни тяни тебя къ разуму, ты все прешь къ попу, въ скуфью... Уродъ-философъ и больше ничего!

Послѣ этого спора братья почти не говорили другъ съ другомъ, даже избѣгали встрѣчи.

Алексѣй обыкновенно бѣгалъ большими шагами по залѣ или уѣзжалъ къ сосѣдямъ играть въ карты.

Одинъ разъ, послѣ долгихъ проливныхъ дождей, взошло ясное утро. Александръ по обыкновенію проснулся рано.

Онъ съ удовольствіемъ увидалъ изъ окна красноватый солнечный свѣтъ на верхушкахъ березъ и услыхалъ радостное щебетанье воробьевъ и другихъ птичекъ.

«Все радуется и хвалитъ жизнь!—подумалъ онъ.—Можетъ быть, и у него прояснится на душѣ въ такое утро. Разбудить его?»

И онъ закричалъ своимъ свѣжимъ, громкимъ голосомъ:

— Леша, вставай! Радость пришла! Леша!.. Экій дрыхень непробудный!

Онъ сбросилъ одѣяло и подбѣжалъ въ одномъ бѣльѣ къ брату.

На полу передъ диваномъ, на которомъ лежалъ Алексѣй, была лужа крови, валялся револьверъ и окурокъ папиросы. Страшно вытаращенные, остеклянѣвшіе глаза самоубійцы съ какимъ-то мучительнымъ испугомъ недвижно смотрѣли на брата.

Александръ дико закричалъ, и не помня себя, весь дрожа какъ въ лихорадкѣ, бросился внизъ и поднялъ на ноги весь домъ.

VII.

Послѣ этого случая прошло около года. У Marie родилась красивая дѣвочка съ большими черными глазами.

Мать любила ее до безумія, да и бабушка тоже. Только при ея ласкахъ у нихъ всегда навертывались на глаза слезы.

Онѣ совершенно уединились и жили затворницами въ своемъ крохотномъ имѣньицѣ. Имъ было тяжело выносить сожалѣнье и состраданье и худо скрытое пренебреженіе сердобольныхъ сосѣдей и въ особенности сосѣдокъ. Только одинъ Александръ повременамъ наѣзжалъ въ ихъ деревушку. Онъ выпивалъ у нихъ стаканъ молока или чаю и проповѣ-

дывалъ Marie свою «теорію довольства жизнью». Она съ нимъ не спорила и слушала молча, лаская дѣвочку, которая лежала у нея на колѣняхъ.

Одинъ разъ въ ясный лѣтній вечеръ онъ засидѣлся и заговорился дольше обыкновеннаго. Солнце уже начало садиться.

— Marie!—сказалъ онъ, неподвижно уставивъ на нее свои сѣрозеленые добрые глаза и подперевъ обѣими руками голову, — а еслибы я сдѣлалъ вамъ предложеніе, вы вышли бы за меня замужъ?—и тутъ же торопливо прибавилъ:—Я знаю, что я не замѣню... не могу замѣнить вамъ брата, но я крѣпко люблю васъ и буду всѣми силами стараться, чтобы жизнь ваша была покойна.

При этомъ неожиданномъ вопросѣ, руки Marie слегка задрожали и по лицу разлилась краска. Она не вдругъ отвѣтила и мигая смотрѣла на доброе лицо Александра.

— Я не знаю... сказала она.—Я никогда объ этомъ не думала. Дайте мнѣ подумать.

— Хорошо! Даю цѣлыхъ три дня, а черезъ три дня я пріѣду, и вы мнѣ отвѣтите. Да? И онъ крѣпко пожалъ ея руку.

Черезъ три дня онъ явился.

Marie долго не знала на что рѣшиться, и совѣтовалась съ матерью.

— Онъ добрый, онъ будетъ любить тебя,—сказала мать.— Что же, Маша, въ жизни не красота важна, не деньги, а доброе сердце. Въ немъ счастье.

Когда пріѣхалъ Александръ, Marie увела его въ садикъ, въ бесѣдку изъ акацій, и тамъ сказала чуть слышно:

— Я согласна.

Александръ взялъ ея обѣ руки и крѣпко поцѣловалъ ихъ, а она заплакала и поцѣловала его въ голову.

Черезъ мѣсяцъ была ихъ свадьба, въ одинъ день со

свадьбой Вари, которая наконецъ вышла за Любавскаго. Обѣ свадьбы праздновались вмѣстѣ въ Зыкинѣ, и обѣ молодыя въ своихъ бѣлыхъ платьяхъ и вѣнкахъ изъ fleurs d'orange ходили почти цѣлый вечеръ обнявшись.

Съ тѣхъ поръ утекло уже много времени. Александръ вмѣстѣ съ женой и со своей тещей, дряхлой старушкой, живетъ въ небольшомъ имѣньи, которое ему выдѣлилъ отецъ. У него уже три сына и старшая дочь-племянница, хорошенькая черноглазая дѣвочка.

Иногда мать ласкаетъ дѣвочку (она вылитый портретъ Алексѣя), гладитъ ея черные, слегка вьющіеся волосы, крѣпко поцѣлуетъ ея головку и заплачетъ.

— О чемъ же ты, мама милая, плачешь?—спроситъ дѣвочка.— Скажи мнѣ, голубушка!

— Такъ... о томъ, что глупа.—И при этомъ подумаетъ:— не то счастье, которое люди дѣлаютъ, а то, видно; которое отъ Бога дается.

ИНЕГИЛЬДА.

(Разсказъ).

I.

Мы втроемъ отправились въ Іену, слушать Куно-Фишера,—Фридрихъ Гёльбейнъ, Карлъ Пуцъ и я. Это было въ 1859 г., т. е. въ тотъ годъ, когда слава новаго историка философіи начала проникать во всѣ уголки Германіи и дошла до нашего Лейпцига. Мы слушали восторженные разсказы объ его лекціяхъ нашихъ молодцовъ, которымъ удалось сходить въ Іену. Одни говорили, что только теперь метафизика выразилась связно и цѣльно; другіе увѣряли, что это выраженіе ничего не выражаетъ; что надо слышать для того, чтобы судить; что все дѣло здѣсь въ пластикѣ языка, въ музыкѣ слова, въ вѣрности такта для каждаго выраженія. Мы повѣрили и пошли.

Впрочемъ, я долженъ сказать маленькую оговорку для Карла Пуца. Онъ не повѣрилъ, какъ не вѣрилъ ничему метафизическому, отвлеченному, считая все это сумазбродствомъ; или, какъ онъ выражался, «schweindlereien».

— Я,—сказалъ онъ,—пойду только за тѣмъ, чтобы по-

смотрѣть, какъ новая свинья, о которой такъ много кричатъ, словоизвергаетъ свое свинство, затѣмъ, чтобы ни одна козявка не могла мнѣ сказать: «вы не слыхали, о чемъ же толкуете!»

Но по этому образчику никакъ нельзя составить понятія о томъ, какъ вообще выражался Карлъ Пуцъ. Смѣю васъ завѣрить, что его выраженія были гораздо энергичнѣе.

Это было весной, передъ феріями. Погода стояла сырая и теплая. Карлъ Пуцъ шагалъ впереди. Его высокая, плотная фигура вся сіяла и свѣтилась, точно освѣщенная солнцемъ, такъ что ее не могли затмить даже густыя облака дыма, которыя онъ выпускалъ изъ своего «Пипфайндера», —такъ онъ называлъ коротенькую, фарфоровую трубочку, съ изображеніемъ чорта.

Я шелъ рядомъ съ Гельбейномъ. Онъ развивалъ передо мной свой идеально-нравственный міръ, въ который онъ былъ постоянно и всецѣло погруженъ. Его тихая, задушевная рѣчь журчала, какъ весенній потокъ, и шумъ ея дѣйствительно сливался съ шумомъ снѣговой воды, которая повсюду стекала съ обрывовъ пѣнистыми каскадами.

На пятый день нашего странствія мы уже подходили къ городу и въ 12 часовъ утра ясно различали въ синеватомъ туманѣ его небольшіе дома.

Въ гостинницѣ «Медвѣдь», гдѣ мы съѣли по колбасѣ, по куску мочалистаго риндъ-флейша и выпили по кружкѣ пива, только и было рѣчей, что о Куно-Фишерѣ; точно въ этотъ трактиръ сошлись пиллигримы со всѣхъ концовъ Германіи, чтобы слушать новаго проповѣдника благодати. На лекцію мы отправились цѣлой толпой. Въ аудиторіи буквально негдѣ было повернуться, и если-бы отъ невыносимой духоты какому-нибудь слабонервному слушателю пришлось *упасть* въ обморокъ, то этого выраженія никакъ нельзя было принять въ буквальномъ смыслѣ.

Послѣ академической четверти часа наконецъ вышелъ онъ. Его лицо поражало какой то сосредоточенной серьезностью и вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ было что-то военное. Высокій, выпуклый лобъ, угрюмые глаза, короткіе свѣтлорусые волосы и довольно длинные, чисто военные усы, наконецъ, разсѣченный на концѣ носъ—все это на первый взглядъ никакъ не вязалось съ профессіей — философа, метафизика, притомъ нѣмецкаго. При его появленіи вся аудиторія разразилась громомъ апплодисментовъ. Нѣкоторые даже кричали: «vivat!» Когда смолкъ этотъ взрывъ, онъ произнесъ внятно, просто, сильнымъ гортаннымъ голосомъ эти слова Гете:

Все кипитъ въ живомъ движеньи:
Смерть готовитъ обновленье
Старыхъ формъ въ игрѣ давнишней.
Углубись въ нее сознаньемъ,
Духа жизни въ ней ищи!..

Затѣмъ началось развертыванье этой тэмы въ удивительно красивой формѣ и остроумной логичности. Онъ говорилъ просто, видимо стараясь какъ можно отчетливѣе произнести каждое слово. Мѣстами онъ придавалъ своей рѣчи болѣе одушевленія—именно тамъ, гдѣ, послѣ длиннаго утомительнаго разбора посылокъ, онъ выводилъ ясное логичное заключеніе, какъ будто этотъ выводъ доставлялъ ему удовольствіе и торжество, которыя невольно передавались слушателямъ. Послѣ одного изъ такихъ блестящихъ мѣстъ я обернулся на аудиторію. Почти всѣ глаза горѣли, а глаза Гельбейна наполнены были какимъ-то восторженнымъ сіяніемъ и слезами. Я обернулся налѣво, туда, гдѣ стоялъ Карлъ Пуцъ... но его уже не было. Вѣроятно, онъ исчезъ въ то время, когда вниманіе аудиторіи было посвящено какому-нибудь блестящему умозаключенію.

Лекція кончилась. Громъ восторженныхъ рукоплесканій

проводилъ профессора. Мы всѣ столпились на университетскомъ дворѣ, каждый старался передать другому личное впечатлѣніе, вспоминалъ какія-нибудь сильныя мѣста; многіе спорили и спорили очень горячо за абсолютизмъ безконечнаго, за отрицательность существующаго. Гёльбейнъ не спорилъ, онъ доказывалъ съ такой простотой и любовью къ избранному предмету, что многіе очевидно съ удовольствіемъ подчинялись его, можно сказать, задушевнымъ доказательствамъ.

— Mein lieber collega! — говорилъ онъ своимъ мягкимъ сердечнымъ голосомъ каждому, кто хотѣлъ его слушать,— mein lieber collega! вѣрьте этому, и пусть вѣра глубоко вкоренится въ ваше сердце, тогда все представится вамъ удивительно ясно и просто.

Но кружки мало по малу расходились. Наконецъ насъ осталось человѣкъ пять-шесть, которые продолжали слушать Гёльбейна и прерывали его рѣчь только односложными подтвержденіями:

— Ja, ja!

— So, so!

— Gewiss! gewiss!

Я предложилъ идти къ «Медвѣдю» выпить по кружкѣ пива, и вся публика согласилась отправиться.

Въ залѣ трактира была огромная толпа, вся аудиторія собралась туда, и весь этотъ народъ, стоя толпился въ темномъ углу зала около одного стола. На столѣ стоялъ Карлъ Пуцъ безъ сюртука, съ засученными по локоть мускулистыми руками; его мясистая, высокая фигура рѣзко выдѣлялась надъ толпой изъ за облаковъ и слоевъ дыма, которые сгущались внизу. Онъ ораторствовалъ размахивая кружкой пива, и взрывы хохота и апплодисментовъ прерывали его рѣчь.

— Что это такое? — спросилъ я одного плотненькаго студента, который катался отъ смѣху.

— Охъ! вотъ господинъ философски разбираетъ вопросъ: bin ich Schwein oder bin ich es nicht... Вы понимаете: философски... er philosophirt...

Пуцъ очевидно пародировалъ Куно-Фишера.

— И такъ; meine Herrn, кричалъ онъ, размахивая кружкой, безконечное есть потенція, тенденціи къ абсолютному, абсолютное же составляетъ Uhrschweindlerei. Если мы представимъ себѣ г. Шмерца, директора національнаго банка, какъ абсолютную шельму, въ его потенціи къ безконечному обогащенію...

Новый взрывъ хохота, потому что г. Шмерцъ былъ общеизвѣстенъ, какъ отчаянный аферистъ и надувало.

На другой день мы съ Пуцомъ отправились изъ Іены. Гельбейнъ остался слушать Куно-Фишера; но слава краснорѣчиваго историка философіи (кто бы могъ этому повѣрить!) была уже подорвана, подорвана никѣмъ другимъ, какъ безвѣстнымъ, темнымъ Карломъ Пуцомъ.

— Мы положительно не могли болѣе хладнокровно слушать его,—разсказывалъ мнѣ потомъ одинъ изъ нашихъ Лейпцигскихъ студентовъ. — Какъ только онъ скажетъ: Meine Herrn! и размахнетъ рукой, такъ сейчасъ представится намъ Карлъ Пуцъ съ его конечнымъ въ безконечномъ и его Speculation ueber Schweindlerei... и мы не можемъ удержаться отъ смѣху... А если одинъ изъ насъ фыркнетъ, то ужъ навѣрно сотня его поддержитъ. И такъ эти фырканья шли каждую лекцію. Всѣ мы, пришедшіе послушать новаго профессора, какъ чудо ораторскаго искусства, утратили его обаяніе на насъ, а тѣ, которые собственно были увлечены не изложеніемъ, а сущностью лекціи, настоящіе философы, тѣхъ было очень немного, такъ что къ концу года не осталось и двадцати человѣкъ...

Я долженъ замѣтить, что Вильгельмъ Гельбейнъ былъ въ числѣ этихъ двадцати.

II.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, прошло лѣто, и грязная дождливая осень опустилась надъ Лейпцигомъ.

Одинъ разъ вечеромъ я шагалъ по Нюренбергъ-Штрассе, изъ всѣхъ силъ закутываясь въ маленькій шерстяной платокъ и отчаянно стремясь на-встрѣчу мглѣ и дождю въ теплый уголъ къ товарищу, который ждалъ меня въ Iohannis-Gasse.

Вдругъ на перекресткѣ я услыхалъ сзади себя тонкій хриплый голосъ:

— Herr Fritz, mein lieber Herr Fritz!

Я обернулся. Кто-то торопился, бѣжалъ ко мнѣ, какая то женщина, старуха, отчаянно махая чѣмъ то, чего никакъ нельзя было разсмотрѣть въ потьмахъ осенняго вечера.

Старуха подходила, и я съ удивленіемъ узналъ въ ней Марту,—Марту, нищую, блажную, нашу общую знакомую чуть ли не всѣхъ студентовъ, всего Лейпцигскаго Университета.

— О! го! го! какъ шагаетъ, какъ шагаетъ gnädiger Herr! Ужъ я бѣжала, бѣжала... ноженьки мои бѣдныя, ноженьки!.. Вотъ, вотъ что у меня есть!—и старуха совала мнѣ подъ носъ бутылочку Кремсбергера, на которой крупными буквами стояло на маленькомъ этикетикѣ—1792 г.

— Это ровесница мнѣ, ровесница,—и она прижала бутылочку, къ груди... Купецъ далъ, Herr Круге далъ... У меня грудь болитъ онъ далъ и говоритъ—и она заговорила грубымъ мужскимъ голосомъ: одну рюмочку Марта, не больше рюмочки каждый вечеръ, а тамъ какъ выйдетъ, я тебѣ еще дамъ, еще... и вдругъ она захохотала и, схвативъ меня за рукавъ, потащила за уголъ въ Ulrichs Gasse.

— Пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ, lieber Herr Fritz, попробуемъ ровесницу... шутка сказать: 1792 годъ... Пойдемъ... я тутъ недалеко, на минутку...—и она отчаянно тащила меня за рукавъ.

Разумѣется, это приглашеніе меня крайне озадачило. Пойти въ гости къ старухѣ нищей, чтобы распивать съ ней вино, которое ей дали, какъ лекарство... Фи! Но съ другой стороны: отчего же и не пойти? Я никогда не видалъ бѣдности, горькой, нищенствующей бѣдности, не видалъ гдѣ она гнѣздится и какъ живутъ эти паріи общества?... Притомъ не пойти, значило обидѣть старуху, а обидѣть ее я вовсе не желалъ и вотъ почему:

Между студентами былъ нѣкто Антонъ Шпруцъ, добрый но не дальній малый. Разъ случилось у него горе. Мать его умирала и звала его, единственнаго сына, проститься. До Веймара, гдѣ жила мать, было добрыхъ три дня хотьбы, а въ дилижансѣ нѣсколько часовъ, 10—12 ѣзды; но мѣсто въ дилижансѣ стоило 15 талеровъ, а ихъ то и не было у бѣднаго Антона Шпруца. Бѣднякъ бросался туда-сюда. чтобы занять, но какъ на грѣхъ въ данную минуту у всего студенчества нельзя было найти ни пфенига. Шпруцъ встрѣтилъ Марту и повѣдалъ ей свое горе. Черезъ часъ Марта принесла ему 15 талеровъ. Шпруцъ не рѣшался брать и обратился къ студенчеству, которое какъ разъ было въ сборѣ по поводу готовящагося очереднаго факельцуга. Все студенчество загалдило:

— Какъ! брать у нищей!.. Это значитъ признавать себя бѣднѣе нищей; да у меня дядя въ Бюргеръ-Штрассе, онъ сейчасъ дастъ; а у меня тетка въ Никсъ-гасе!..—и всѣ пошли шумѣть... Но весь этотъ шумъ покрылъ Карлъ Пуцъ своимъ звучнымъ баритономъ.

— Что раскричались?!—всталъ онъ во весь ростъ на столъ. Чего испугались!? Нищей стыдитесь? да она лучше

всѣхъ насъ. Развѣ не къ вамъ обращался прежде Антонъ никто тогда не заявлялъ, что у него есть дядя въ Бюргеръ-Штрассе, или тетка въ Никсъ-Гассе! А теперь, суетесь со своими дядями и тетками, ну ихъ къ чорту подъ хвостъ? Бери, Антонъ, и онъ торжественно протянулъ руку къ Антону, не стыдись бѣдности, братайся съ ней... она наша сестра, а всѣхъ дядей и тетокъ, набитыхъ талерами и гульденами... посылай на Брокенъ, къ лысому чорту въ прикащики!..

И Антонъ взялъ 15 талеровъ у Марты. Мы потомъ отдавали ихъ ей. Но она не взяла.

— Что же, сказала она: развѣ mein lieber Антонъ нищій, что не можетъ самъ за себя отдать?!.

Не знаю, отдалъ ли ей lieber Антонъ.

И вотъ!.. развѣ можно было не пойти къ этакой старухѣ?!.

Мы прошли нѣсколько домовъ и наконецъ повернули въ одинъ, на дворъ. На дворѣ стоялъ другой домъ попрощѣ. Мы вошли въ какую то маленькую дверь и стали подниматься по узенькой лѣсенкѣ съ веревочными перилами.

— Ничего, ничего, lieber Fritz,—ободряла меня Марта.— Немножко крутенько, немножко высоконько, но лѣстница хорошая и ноги молодыя... Ха! ха! ха!

Наконецъ мы поднялись на пятый этажъ, въ которомъ были только каморки въ чердакахъ. Марта достала изъ кармана большой ключъ и стала отпирать низенькую дверь, которая была подъ какимъ то навѣсомъ, такъ что мнѣ приходилось стоять, нагнувши голову. Ключъ съ визгомъ повернулся въ замкѣ, Марта толкнула дверь, и мнѣ представилось въ темнотѣ вечера что то въ родѣ мышиной норки, куда свѣтъ падалъ изъ какой то щели вверху.

— Милости просимъ, милости просимъ, дорогой гость... А я огня сейчасъ зажгу, свѣтло будетъ. Она—гдѣ то шарила, что то доставала. Наконецъ шаркнула сѣрной спич-

кой, и сильное, фосфорическое пламя на минуту вспыхнуло и освѣтило убогую каморку съ почернѣлыми стѣнами; затѣмъ снова настали сумерки, среди которыхъ медленно шипѣлъ и кипѣлъ синій огонекъ, распространяя въ низенькой каморкѣ удушливые сѣрные пары. Наконецъ настоящій, обычный красноватый огонь ровно и твердо освѣтилъ весь этотъ уголъ, и старуха зажгла сальный огарокъ, вставленный въ желѣзный, заржавленный и поломанный подсвѣчникъ. Она поставила его на трехногій столъ, который былъ прислоненъ къ крохотной желѣзной печкѣ.

За печкой стояла кровать подъ ситцевымъ пологомъ, неимовѣрно пестрымъ, потому что весь онъ состоялъ изъ маленькихъ заплатъ. Около стола стояло кресло какой-то весьма древней работы, на которомъ вся обивка растрепалась и замаслилась. Подлѣ него торчалъ табуретъ съ протертой подушкой, на которой отъ обивки остались только небольшіе клочки, а подлѣ него хромоногій простой деревянный стулъ. Въ углу стоялъ шкафъ, тоже убогій, на которомъ было множество заплатъ.

— Ну, дорогой гость, садись. будь какъ дома, — и она пододвинула мнѣ табуретъ, и похлопала по немъ рукой, — а я сейчасъ къ сосѣдкѣ сбѣгаю за штопоромъ... я духомъ .. — и она, кивнувъ нѣсколько разъ, шмыгнула за дверь.

Черезъ минуту она вернулась съ откупоренной бутылкой и двумя рюмками, изъ которыхъ одна была безъ ножки.

— Это называется: безъ роздыха,—говорила она, показывая мнѣ рюмку, — пей, значитъ, да не раздумывай! Ха! ха! ха!

И она присѣла на стулъ и налила двѣ рюмки.

— Прошу покорно! за ваше здоровье!—и она быстро опрокинула рюмку себѣ въ ротъ.

— Ухъ, хорошо!!! Право хорошо!!!—и она налила вторую рюмку.

— Какъ же,—остановилъ я её:—вѣдь тебѣ велѣно только по одной рюмкѣ.

— А это для гостя,—сказала она, подмигнувъ мнѣ,—за его здоровье! Ухъ!—и она снова опрокинула рюмку въ ротъ.

— Охъ, хорошо!... Ай да ровесница!... сейчасъ же лучше стало. Право лучше!...

И она, смѣясь какимъ-то гортаннымъ смѣхомъ, подперла обѣими руками голову и прямо уставилась на меня.

— Что глядишь?.. Стара баба! Ха-ха-ха!.. Девятый десятокъ таскаю. Тяжеленько маленько! Вамъ все молодыхъ давай... Охъ, сердце мое! была я молода, да... была...—и она задумалась и улыбаясь смотрѣла на меня, не видя меня, погруженная въ какое-то давно минувшее время.

Я смотрѣлъ на неё въ упоръ, смотрѣлъ на дряблое истасканное лицо, изрытое глубокими морщинами, которыя шли по щекамъ и подбородку, сбирались мелкими складочками около сжатыхъ узкихъ губъ и глазъ, а на лбу надъ глубоко спрятанными безбровыми маленькими глазами шли глубокія борозды, которыя вмѣстѣ съ мелкими смѣющимися губами придавали всему лицу удивительно пріятное добродушное выраженіе.

— Да! была и я молода, сударикъ мой... Давно это было. Звали меня тогда Алоизой... Это теперь меня зовутъ Мартой, а тогда меня звали Алоизой. Показала бы я тебѣ и портретъ мой — ну! да не повѣришь ты, что это былъ мой портретъ: больно ужъ не сообразно что-то выходитъ... Тамъ какъ есть красавица по 17-му годку, а теперь!... Ха! ха!

И она хлопнула меня по ногѣ.

— И былъ въ меня влюбленъ одинъ баронъ! Ха! Сказки я тебѣ разказываю — послушай бабушкину сказку. Хотѣлъ баронъ жениться на мнѣ, да видно не посмѣлъ... нашелъ другую, получше — образованную, ну, однимъ словомъ, ба-

рышню... Ухъ! сказка все это.—Она махнула рукой, помолчала и посмотрѣла кругомъ.

— А хорошо у насъ тамъ, въ Тюрингіи... я вѣдь изъ Тюрингенскаго лѣса. Горы—краса Господня; дѣвушки одна другой краше; въ лѣсахъ, на верхушкахъ—точно рай земной...

— Что же,—перебилъ я ее. —Вы начали разсказывать о неудачной любви вашей... Вы тоже любили барона?..

— Любила?! Гм!—она усмѣхнулась, взглянула на меня и начала перебирать концы обхмыстаннаго платка на головѣ...—Любила?!.. Нѣтъ, не любила... а дышала имъ... Вотъ какъ!.. Знаешь, когда его нѣтъ, такъ точно воздуху тебѣ не хватаетъ... сердце, все нутро у тебя сжато... А пришелъ онъ, да взглянулъ... Ну, вотъ такъ вдругъ полегчаетъ, и радостно, и весело, и... плакать хочется... Право такъ!

И вдругъ ея старческіе глаза заблѣстели, и двѣ слѣзинки выкатились и спрятались въ бороздкѣ щеки.

Должно быть крѣпка была любовь, если черезъ десятки лѣтъ вспоминаетъ объ ней со слезами,—подумалъ я.

— Ну, какже вы съ нимъ растались?—спросилъ я.

— Какъ? извѣстно какъ... съ ребенкомъ—какъ нашего брата оставляетъ... вашъ братъ — песья порода!

— Зачѣмъ же песья... Я не такой!...

Она посмотрѣла на меня угрюмо и пристально, и вдругъ морщинки надъ бровями расправились и она грустно взглянула на меня и потрепала по рукѣ.

— Да! ты не такой! — сказала она со вздохомъ. — А знаешь, это было, хорошее время и вспоминать о немъ, сердцу отрадно. Надо сказать тебѣ, что жила я у сестры, вдовы-прачки. Хорошая была прачка. Осталась она послѣ мужа съ годовалымъ ребенкомъ, а тутъ я къ ней... со своимъ ребенкомъ пришла. Сколько было стыда и сраму. (Она махнула рукой...) И вотъ любила она меня, крѣпко любила, а не могла стерпѣть... корила и попрекала каждый день и

каждую минуту. Ну, да разумѣется, ей не легко было: всѣ сосѣди попрекали. И я думаю, что съ этихъ попрековъ и умеръ мой Фрицхенъ... А хорошо мнѣ съ нимъ было, какъ весной заберусь я съ нимъ, бывало, въ лѣсъ, уйду на вершины... и точно въ раю... Любуюсь, не налюбуюсь на него... цѣлую, цѣлую, точно весь Божій міръ свѣтитъ мнѣ черезъ него... Да! Онъ былъ вылитый портретъ...

Она замолчала, потупилась... и развела руками.

— Всѣмъ Онъ распоряжается, устраиваетъ и руководствуетъ,—прошептала она въ раздумьи.

— Да! умеръ онъ... И точно для меня все опустѣло. Брожу я по лѣсу и не знаю сама, что со мной дѣлается... точно во снѣ... точно вотъ здѣсь,—она взялась обѣими руками за голову—камни тяжелые навѣшены. Прійду въ деревню, и люди дивуются на меня... дадутъ мнѣ ѣсть... а я смотрю, смотрю и не понимаю, ѣсть мнѣ, или нѣтъ... уйду опять въ лѣсъ... Слышь-ты, хотѣли меня въ больницу везти, въ сумасшедшій домъ — пояснила она шепотомъ и засмѣялась!..—да Богъ не попустилъ. Прихожу я разъ вечеромъ домой. Смотрю—сестра лежитъ, у сестры сосѣди и попъ, Лежитъ она еле жива. Посмотрѣла я ей въ лицо: худая она, худая — одна кожа да кости... а глаза горятъ и такъ зорко смотрятъ на меня... И вдругъ поняла я, уразумѣла, что проситъ она за своего Карлушу. А онъ ползаетъ по полу. Такой былъ крѣпкій, здоровый ребенокъ. Взяла я его съ полу, схватила... поднесли къ ней и обняла крѣпко!.. Вотъ, говорю, не разстанусь, не печалься... Протянула она ко мнѣ руку... притянула къ себѣ... говорить-то она уже не могла... и только молча поцѣловала мнѣ руку... Ну! умерла она... И взяла я Карлушу. Только думаю: куда это я съ нимъ пойду-то... Ни кола, ни двора... ни пріюта... Все, что отъ сестры осталось, все продали... Все за квартиру пошло... Платьица Карлуши—и тѣ продали; оставили

только то, въ чемъ ходилъ... Господи! думаю я—не покинь сироту, пріюти, накорми... Ну! правду сказать, тогда пасторъ далъ намъ два талера... на обзаведенье... Купила я это шерсти, принялась вязать. Да руки-то не ходятъ. Отвыкла я, да правду сказать, и съ молоду-то была не работница... Связала я фуфайку, продала купцу, что скупалъ вязанья на ярмурку въ Лейпцигѣ. Всѣ навязали много, а я одну фуфайку, — и все тутъ молъ! Не прогнѣвайся, что мало! Разомни, больше будетъ! Деньги вышли... Карлуша, мой ребеночекъ — ничего не ѣлъ... Подумала я, подумала... и пошла съ нимъ далеко за горы... и стала Мартой... нищей... побирушкой Божьей... День-деньской слоняюсь... Ничего не даютъ сердечные господа... Ребеночекъ ничего не ѣлъ... «Тетя! плачетъ, дай мнѣ хлѣбца... чуточку!..» Господи! думаю: вѣдь живутъ же господа... Есть вѣдь барыни, или барышни, которыя ничего не дѣлаютъ, а ѣдятъ вдоволь и сладко ѣдятъ... Господи!.. Гдѣ же справедливость Твоя? Вѣдь нѣтъ ея... А?..

— Нѣтъ!—сказалъ я.

— Нѣтъ!! это ты вздоръ говоришь... Неправильно, напрасно говоришь. Справедливость Господня... здѣсь и тамъ... Чего здѣсь не дополнитъ, тамъ дополнитъ... Терпи и надѣйся!

— Я улыбнулся.

Терпи, надѣйся и страдай...
Да, эта пѣсенка по насъ!
Ее одну лишь каждый часъ
Намъ хриплымъ басомъ напѣваетъ,

продекламировалъ я изъ Фауста.

— Нѣтъ, это ты вздоръ городишь,—посмотрѣла она на меня строго, — надѣйся и люби! Вотъ чѣмъ человѣкъ живетъ. А ты все вздоръ городишь.—Она привстала и покачнулась.

— Юнъ ты! Вотъ что! юнъ! И сердце у тебя юное и хорошее! А я спать хочу... На меня тѣнь нашла. А на тебя тѣнь находитъ? Нн...ѣтъ не находитъ!?

Въ это время сальный огарокъ началъ гаснуть. Огонекъ вспыхнулъ нѣсколько разъ и зашипѣвъ, быстро потухъ.

И она качаясь... тихо пошла къ постели, быстро раздвинула пологъ и скрылась за нимъ.

Въ оконце падалъ яркій свѣтъ луны, и косые лучи его вырѣзались на грязномъ полу блѣдными, зеленоватыми пятнами. Вся маленькая каморка какъ-бы прониклась этимъ блѣднымъ фантастическимъ зеленоватымъ свѣтомъ. Онъ, какъ неопрелѣленный серебристый туманъ, окутывалъ всѣ ея углу и предметы.

Я взялъ шапку и медленно пошелъ къ двери, раздумывая о неудобствѣ въ потьмахъ спускаться по узенькой, кривой лѣстницы съ веревочными перилами. Я уже брался за дверную ручку, какъ странный шумъ заставилъ меня обернуться.

Этотъ шумъ походилъ на сильное шуршаніе длиннаго женскаго платья, и вмѣстѣ съ этимъ шумомъ изъ подъ полога выдвигалось что-то бѣлое, туманно-неопредѣленное. Но это что-то опустилось на полъ и приняло опредѣленныя формы женской фигуры, покрытой бѣлой вуалью.

III.

При видѣ этого страннаго явленія или видѣнія на меня напалъ такой сильный безотчетный страхъ, что первое мое побужденіе было броситься вонъ и бѣжать безъ оглядки. Но я овладѣлъ собой.

Мнѣ вспомнились разглагольствованія и поученія Карла Пуца, что всѣ привидѣнія чистѣйшія бредни, чепуха, гал-

люцинаціи, а въ дѣйствительности ничего подобнаго никогда не было, нѣтъ и быть не можетъ.

— Неужели-же и то, что совершается передо мной теперь, есть не болѣе, какъ моя собственная галлюцинація? Можетъ быть, это есть слѣдствіе выпитой мною рюмки Кремсбергера?—и я отошелъ отъ двери, пристально смотря на женскую бѣлую фигуру, которая нѣсколько отдѣлилась и отодвинулась отъ постели.

Это была фигура стройной, молодой дѣвушки, довольно высокаго роста, съ распущенными волосами. Черты лица ея трудно было видѣть подъ бѣлой вуалью, при слабомъ лунномъ свѣтѣ.

Порой мнѣ казалось, что эта вуаль и платье дѣвушки бѣлѣли сильнѣе и какъ-бы сами свѣтились, но можетъ быть это былъ просто обманъ темной комнаты.

Вдругъ фигура повернула направо и пошла вдоль стѣны, по временамъ останавливаясь и оглядываясь. Она шла плавно, неслышными шагами, и только порой вслѣдъ за ней раздавался тотъ самый шелестъ или шорохъ, который заставилъ меня обернуться, когда я уходилъ изъ комнаты.

Она пошла кругомъ стѣнъ. Она дошла до маленькаго оконца, и лунный свѣтъ упалъ ей прямо въ лицо.

Такой красавицы я еще не встрѣчалъ въ моей жизни.

Большіе глаза смотрѣли такъ кротко и любовно,—но въ нихъ не было живаго сильнаго блеска: они были матовые. Легкій, едва замѣтный румянецъ покрывалъ ея щеки и точно также едва розовѣли правильно очертанныя губы, на которыхъ блуждала робкая, тихая улыбка.

Я стоялъ въ сторонѣ, прислонясь къ шкафу, и она прямо, тихо пошла ко мнѣ. Подойдя, она протянула мнѣ руку въ широкомъ кисейномъ рукавѣ.

Одно быстрое мгновеніе я колебался прежде, чѣмъ взять эту протянутую руку. Я думалъ, что эта рука будетъ хо-

лодна, какъ рука мертвеца, но ручка оказалась теплой, живой рукой. Я поднесъ ее ближе къ лицу, я крѣпко пожалъ ее. Я хотѣлъ высвободить ее изъ-подъ вуали, которая густо окутывала ее, но дѣвушка необыкновенно быстро выдернула ее и отодвинулась въ сторону.

— Какъ зовутъ тебя, милое существо?—тихо спросилъ я и тотчасъ-же подивился своей глупости. Если это—привидѣніе, то какъ же оно отвѣтитъ.

Но оно отвѣтило тихимъ, пѣвучимъ шепотомъ:

— Инегильда.

— Скажи мнѣ..., какъ ты сюда попала? въ эту комнату? Ты была спрятана въ кровати Марты подъ пологомъ и вышла, когда она уснула. Не правда-ли?..

Но она медленно отрицательно повертѣла своей прелестной головкой.

— Посредствомъ Марты я приняла тотъ видъ, въ которомъ ты меня теперь видишь, и въ которомъ я жила здѣсь на землѣ.

Она говорила все тѣмъ же тихимъ шепотомъ, говорила на старо-германскомъ нарѣчіи, но я могъ понимать ея языкъ, такъ какъ я много возился надъ изученіемъ старинныхъ памятниковъ.

— Развѣ ты не живешь больше здѣсь, на землѣ, спросилъ я ее опять.

Она опять медленно покачала головой.

Признаюсь, при этомъ отвѣтѣ я вдругъ почувствовалъ, какъ маленькія ледяныя иголочки пошли колоть по всему моему позвоночному хребту. Но, разумѣется, я тотчасъ же попробовалъ себя ободрить.

— Совершенно живая дѣвушка фигурируетъ въ роли привидѣнія! — подумалъ я и пожалъ плечами. Но для кого нужна эта мистификація? А что, если все это моя собственная галлюцинація? И я протеръ глаза.

Инегильда стояла на прежнемъ мѣстѣ и, понуривъ голову, смотрѣла на меня съ укоромъ.

И вдругъ она медленно начала подниматься на воздухъ. Она всплыла до потолка маленькой каморки. Она уперлась головой въ потолокъ, и эта голова склонилась, а за ней нагнулся и весь стройный станъ привидѣнія. Длинное, легкое платье свѣшивалось внизу красивыми складками. И что всего страннѣе—это то, что вся верхняя часть фигуры начала свѣтиться блѣднымъ, бѣловатымъ свѣтомъ.

Пробывъ нѣсколько секундъ въ этомъ положеніи, фигура опять тихо, плавно опустилась на полъ.

«Точно во снѣ,—подумалъ я.—Бываютъ этакія превращенія во снѣ, этакія волнистыя и даже свѣтящіяся фигуры... Я просто брежу; это даже не галлюцинаціи, а просто бредъ»...

И я щипнулъ себя съ такимъ усердіемъ, что чуть не вскрикнулъ отъ боли. Синякъ отъ этого щипка долго не проходилъ. Но сонъ не исчезъ.

Инегильда стояла прямо противъ меня и, грустно опустивъ голову, смотрѣла на меня.

— Я вѣрилъ бы тебѣ,—сказалъ я,—еслибы чѣмъ-нибудь могъ убѣдиться, что ты не бредъ моего разстроеннаго виномъ воображенія.

Она быстро приблизилась ко мнѣ... не подошла, а какъ будто подплыла и только коснулась едва-едва своей крохотной ручкой до моего жилета. Это движеніе буквально было мгновенно. Но въ своей ручкѣ она уже держала ту прядь волосъ, которая была спрятана на моей груди, въ медальонѣ, отворить который было весьма не легко. Волосы были моей покойной матери. Инегильда молча подала ихъ мнѣ и быстро снова удалилась отъ меня. Я тотчасъ же инстинктивно схватился за медальонъ. Онъ оказался пустой, хотя и былъ плотно закрытъ.

Я съ недоумѣніемъ обратился къ Инегильдѣ. Она чуть виднѣлась между занавѣсками постели и, нѣсколько разъ кивнувъ мнѣ головой, скрылась за ними.

Спрятавъ волосы въ медальонъ, я бросился къ постели и отдернулъ занавѣски. На постели спала Марта и тихо стонала сквозь сонъ. Кромѣ нея никого не было.

Желая во-чтобы-то ни стало добиться разгадки этого непонятнаго случая, я изъ всѣхъ силъ отодвинулъ кровать вмѣстѣ съ Мартой отъ стѣны.

Я провелъ рукой по стѣнѣ, по полу... Нигдѣ ничего!

Я постоялъ нѣсколько минутъ, смотря на Марту. Она что-то забормотала сквозь сонъ и повернулась на другой бокъ.

Съ совершенно спутанными представленіями, я взялъ фуражку, снова постоялъ у дверей и затѣмъ началъ въ раздумьи тихо, ощупью спускаться внизъ.

Это схожденіе по узенькой, крутой лѣстницѣ обошлось благополучно. Свѣжій просторъ ночи обхватилъ меня на маленькомъ дворикѣ и какъ будто отрезвилъ меня. Но чѣмъ болѣе я думалъ обо всемъ случившемся, идя домой, тѣмъ болѣе все это казалось спутаннымъ, невѣроятнымъ и походило на сонъ, на галлюцинацію, на бредъ, наконецъ—я не знаю, на что.

Первая представлявшая невѣроятность—это присутствіе молодой дѣвушки въ комнатѣ Марты. Я предполагалъ, что для какихъ-нибудь цѣлей (самыхъ цѣлей я не объяснялъ: мало ли какія могуть быть цѣли и намѣренія!) и такъ, для какихъ-нибудь цѣлей Марта приглашала или брала къ себѣ въ комнату, молодую, красивую дѣвушку. Допустимъ, что дѣвушка была необходима для того, чтобы разыгрывать роль привидѣнія; но какимъ же образомъ она могла подниматься къ потолку тихо, плавно, и затѣмъ снова опускаться?

Но и это для меня не служило препятствіемъ. Что же,

думалъ я, мало-ли есть какихъ-нибудь машинъ, которыми это легко можно сдѣлать. Я допускалъ и это возможнымъ. Но какъ же эта дѣвушка узнала, что я ношу на груди медальонъ съ волосами моей матери?

Но и это я допускалъ. Я допускалъ, что она могла узнать... Но какъ же она могла быстро, въ одно мгновеніе вынуть изъ этого медальона волоса? Вотъ этого я не могъ объяснить.

Съ этимъ вопросомъ я подходилъ къ дому... Но на самомъ порогѣ я вдругъ остановился.

— Ба!—вскричалъ я.—Да волоса моей матери могли быть взяты раньше... Вѣдь я не видалъ, не осматривалъ медальона передъ тѣмъ, какъ пошелъ къ Мартѣ,

— Но если все это обманъ,—думалъ я,—поднимаясь на лѣстницу, то онъ удивительно ловко продѣланъ.

— Но къ чему же нуженъ былъ этотъ обманъ?

И вотъ этотъ послѣдній вопросъ, который я поставилъ уже въ моей комнатѣ, былъ неразрѣшимъ, или отвѣтъ на него могъ быть только гадательнымъ.

Можетъ быть Марта принадлежитъ къ какой-нибудь шайкѣ ловкихъ эксплуататоровъ? Можетъ быть посредствомъ явленія привидѣній они выманиваютъ у суевѣрныхъ старушекъ порядочные куши денегъ? Можетъ быть эти привидѣнія необходимы, какъ укрѣпленіе и пропаганда вѣры въ загробную жизнь? Мало ли къ какимъ продѣлкамъ и средствамъ прибѣгаютъ фантазированные, религіозные пропагандаторы?

Послѣднія соображенія очень вяло склеивались въ моей полусонной головѣ. Я дѣлалъ ихъ, лѣниво раздѣваясь. Раздѣвшись, я загасилъ свѣчу, и, яркій лунный свѣтъ, сквозь окно, напомнилъ мнѣ Инегильду и всю сцену у Марты.

— Да къ чему же ей нужно было меня обманывать?—подумалъ я и на этомъ вопросѣ заснулъ.

Во снѣ я видѣлъ Инегильду, видѣлъ, что она подходила ко мнѣ или сидѣла со мной рядомъ, но что такое она мнѣ говорила, я не могъ припомнить.

Когда я проснулся, то первымъ инстинктивнымъ движеніемъ было осмотрѣть медальонъ.

Онъ оказался пустымъ; волоса исчезли.

Никто не входилъ въ двери. Я заперъ ихъ на защелку. Да и никогда никто не входитъ ко мнѣ по ночамъ.

Это былъ послѣдній вопросъ, отъ котораго я вскочилъ какъ съумасшедшій, на-скоро умылся, одѣлся и побѣжалъ стремглавъ къ Гельбейну.

IV.

Гельбейна я засталъ за Шопенгауеромъ: «Міръ какъ представленіе». Я разсказалъ ему подробно все происшествіе, начиная съ того момента, какъ Марта встрѣтила меня въ Нюренбергъ-Штрассе.

Все лицо Гельбейна оживилось. Его большіе голубые глаза точно засвѣтились. Кроткая улыбка сдѣлалась еще добрѣе, даже длинный носъ какъ-то радостно просіялъ.

— Я это зналъ!—сказалъ онъ.—Я былъ увѣренъ, что этотъ невидимый, идеальный міръ существуетъ.

— Положимъ, твоя собственная вѣра,—сказалъ я,—не можетъ служить здѣсь доказательствомъ. Но ты разбери все, что я видѣлъ такъ же, какъ я разобралъ, и ты увидишь, что нигдѣ нѣтъ ничего, на чемъ-бы можно было остановиться несомнѣнно.

И я ему передалъ весь мой собственный анализъ съ объясненіями или предположеніями, какъ это все могло совершиться путемъ естественнымъ.

— А исчезновеніе волосъ изъ медальона? Вѣдь ты говоришь, что они исчезли?

— Да! Но и это можно объяснить... Можетъ быть, кто-нибудь и какъ-нибудь входилъ ко мнѣ ночью. Почемъ я знаю?

Гельбейнъ недовѣрчиво покачалъ головой.

— Кто нибудь, какъ нибудь!—прошепталъ онъ.

— Есть одна возможность убѣдиться въ томъ, что все, что совершилось, былъ не бредъ, не галлюцинація, а полная реальность.

— Какая же?—спросилъ Гельбейнъ.

— Отправиться намъ вдвоемъ и провѣрить явленіе. Провѣрить съ полной основательностью.

— Ты думаешь: оно повторится?—и онъ сомнительно покачалъ головой.

— Это надо узнать. Нельзя ничего рѣшать насчетъ предположенія. Предположеніе можетъ быть ошибочно.

— Нѣтъ! Этакія вещи не повторяются... не повторяются!—шепталъ Гельбейнъ.

— Да, наконецъ, послушай,—сказалъ я.—Для чего, зачѣмъ являлось это привидѣніе? (Если только это было привидѣніе). Какое отношеніе имѣю я къ какой-то Инегильдѣ?.. Что мнѣ Гекуба?.. Странно!—и я пожалъ плечами.

— Нѣтъ! Ты этого не говори!—началъ вдругъ, оживляясь, Гельбейнъ.—Мы не знаемъ, какъ и что? совершается въ томъ невидимомъ мірѣ; не знаемъ ни его жизни, ни его законовъ.

— Ну! А если прекресная Инегильда являлась ко мнѣ, то въ такомъ случаѣ она вѣроятно явится вторично, чтобы объяснить, за чѣмъ она являлась.

И мы наконецъ условились идти вмѣстѣ къ Мартѣ сегодня же вечеромъ. И дѣйствительно, около 10 часовъ отправились. Но Марта встрѣтила насъ на порогѣ своей каморки весьма сурово.

— Зачѣмъ пожаловали?!—допросила она насъ хриплымъ

басомъ.—Вина у меня нѣтъ и веселья для васъ также! Можете отправляться къ тѣмъ, кто помоложе!...

Но я все-таки вошелъ, не смотря на ея нелюбезность.

— Мы пришли къ тебѣ, Марта, за однимъ весьма важнымъ дѣломъ. Видишь-ли, намъ нужно разспросить тебя относительно одного существенно важнаго обстоятельства...

— Какого такого обстоятельства? Ты что за полицейскій комиссаръ, что будешь меня допрашивать и распрашивать... Подите прочь... оба... Подите съ Богомъ! Я спать хочу!

Гельбейнъ повернулъ налѣво кругомъ, а меня она безъ церемоніи вывела за руку.

— Какая-же ты нелюбезная! Не такая, какъ вчера...

— Ну! любезная-нелюбезная... Любезности не леденцы, въ лавкѣ не купишь. Подите, подите съ Богомъ...

И мы, повѣся носы, шагали по Нюренбергъ-Штрассе.

— Знаешь-ли что!—вскричалъ я, внезапно останавливаясь.—Мы поступили весьма непрактично и нетактично.

— А что?

— Намъ необходимо было запастись бутылочкой Іоганисберга или чего-нибудь въ этомъ родѣ.

— Да! Можетъ быть,—отвѣтилъ задумчиво Гельбейнъ, и снова началъ шагать своими длинными ногами.

Мы согласились повторить нашъ визитъ къ Мартѣ завтра вечеромъ; и на другой день я съ утра запасся бутылочкой Іоганисберга, только не такого стараго вина, какимъ меня угощала Марта. Ровесникъ Марты былъ положительно недоступенъ моему студенческому карману.

Вечеромъ, опять около 10 часовъ, я зашелъ за Гельбейномъ и мы отправились къ Мартѣ, на чердакъ. Влѣзши на верхъ, къ дверямъ ея каморки, я постучалъ въ нихъ.

— Кто тамъ? Кого еще принесло?—послышался сердитый голосъ Марты, и вслѣдъ затѣмъ дверь распахнулась.

— Что надо?

Я молча выставилъ впередъ бутылочку Іоганисберга.

Марта не вдругъ разсмотрѣла въ темнотѣ чердака. Наконецъ увидала, поняла и расхохоталась. Этого только намъ и нужно было.

— Охъ! вы... проказники!.. шалуны! Чего вамъ нужно отъ старой Марты?!

Я низко поклонился.

— Угостить gnädige Frau Марту Іоганисбергцемъ. А это я привелъ собутыльника... И я выдвинулъ впередъ Гельбейна, который неуклюже раскланивался и вообще не зналъ, куда дѣвать свою длинную фигуру передъ низенькой каморкой Марты.

— Ну! входите, входите, шалуны! Милости просимъ,— говорила Марта, оправляя платокъ и платье.—Надо, чай, будетъ сходить достать рюмочекъ.

— Не надо, достойнѣйшая Марта—все есть,—и я вытащилъ изъ длинныхъ студенческихъ кармановъ три высокихъ рюмки, въ родѣ бокаловъ и поставилъ на столъ.

— А штопоръ?

— Есть и штопоръ... все есть... Милости просимъ.

И я ловко вытащилъ пробку складнымъ штопоромъ, а Марта усѣлась опять на трехногомъ стулѣ и, качая головой, твердила:

— Молодость, молодость! Молодое вино, золотое сердце!

Я налилъ три бокала. Гельбейнъ тотчасъ-же усѣлся противъ Марты и неуклюже положилъ руки на колѣни. Онъ очевидно боялся зацѣпить головой за потолокъ.

— Марта! Здоровье той доброй души, которая помнитъ о другихъ и забываетъ о себѣ... за ваше здоровье, Марта!

Она быстро выпила свой бокалъ-рюмку.

— А это ты правильно сказалъ,—заговорила она,—что я забываю о себѣ. Иной разъ дѣйствительно забудешь... Да и о другихъ не помнишь. Вѣдь стара я, мой свѣтъ! Охъ,

какъ стара!.. Вотъ только вы, мои юнцы, еще помните и любите старуху Марту. А то кто-же въ городѣ меня помнитъ? Да я и не жалуюсь! Не за что помнить-то... Ничего во мнѣ нѣтъ такого, за что-бы надо помнить обо мнѣ. А вотъ когда я жила во Франкфуртѣ на Майнѣ, такъ тамъ многіе вспоминаютъ и до сихъ поръ старую Марту... Разъ это было, пріѣзжаетъ герцогъ Готтенъ-Кобургскій (онъ тогда еще былъ молодой человѣкъ). Ѣздилъ онъ это по лѣсамъ, по горамъ... всюду его носило... Наконецъ, пріѣзжаетъ; туда-сюда... денегъ нѣтъ! Деньги всѣ пропали!.. Ищутъ вездѣ, скачутъ туда, скачутъ сюда! Нѣтъ ничего!.. А я въ то время ходила въ деревню Мальгозенъ (отъ Франкфурта она въ двухъ миляхъ всего); а ходила я, какъ теперь помню, починить мнѣ надо было кой-что изъ бѣлья, а въ деревнѣ дешевле чинятъ. Иду я по шоссе, и какъ-будто что-то меня манитъ на лужайку... и тутъ... около трехъ камешковъ лежитъ портфель... кожанный, хорошій такой портфель, и на одной сторонѣ вышитъ, мелко такъ, шелкомъ, гербъ подъ герцогской короной, съ девизомъ: «Не измѣню ни Богу, ни отчизнѣ». А я слыхала отъ людей, что такой девизъ у герцоговъ Готтенъ-Кобургскихъ. Ну-съ! Какъ только я вошла въ городъ, какъ услыхала о пропажѣ, сейчасъ-же маршъ прямо въ замокъ... Не пускаютъ... «Нужно мнѣ,—говорю,—видѣть самого герцога...» «Это,—говорятъ,—на счетъ пропажи?..» «Да,—говорю,—на счетъ пропажи!..» И вотъ ввели меня въ кабинетъ, предъ самого герцога. Еще совсѣмъ, вижу, молодой малый .. «Что вамъ нужно»,—говоритъ? А я, ничего не говоря, вынула этакъ изъ-подъ платка портфель и протягиваю къ нему. Такъ онъ, какъ увидалъ портфель, накинулся на него, какъ кошка, раскрылъ и началъ считать... Затѣмъ онъ опять закрылъ, посмотрѣлъ этакъ на меня и говоритъ:

— Гдѣ, говоритъ, вы нашли его?

Я сказала гдѣ. Тогда онъ вынулъ изъ ящика мѣшочекъ, а въ немъ сто талеровъ новенькихъ, и протянулъ мнѣ. Вотъ, говоритъ, вамъ благодарность за находку... А въ портфелѣ-то было, говорятъ, слишкомъ 200,000 талеровъ...

— Такъ какъ же, удивился я, вы больше съ него не требовали!! Вѣдь вы имѣли право по закону получить третью часть...

— Ну! Богъ съ нимъ... И она махнула рукой. Не разживется съ моихъ денегъ-то...

И она опять взяла рюмку, которая была снова мною налита и выпила ее также быстро, какъ и первую.

— А ты что на меня глядишь, уставился,—обратилась она вдругъ къ Гельбейну.

— Я ничего... Я такъ...—и онъ сильно сконфузился.

— Ты думаешь: глупая! глупая! Еслибы заграбастала тогда двѣ сотни тысчёнокъ, такъ сама бы жила герцогиней, да и другимъ бы бѣднымъ помогала. А я тебѣ вотъ что скажу, душа моя милая! — и она быстро потрепала своей толстой, жилистой рукой его тонкую, длинную руку, которая лежала на столѣ.—Вотъ что я тебѣ скажу! Не воруй у другихъ, и у тебя не украдутъ. Марта нищая, Марта побирушка... но Марта не воровка... Чужихъ денегъ никогда себѣ не присвоивала, и никогда чужія деньги за мной не пропадали... А еще я тебѣ скажу: гораздо лучше быть простой нищей, чѣмъ какой-нибудь богачкой, милліонершей... Нищая сама себѣ госпожа... Нѣтъ у ней ни кола, ни двора, ни угла, ни стула... Куда хочетъ, туда идетъ. Вездѣ дорога! Впереди ничего, позади ничего и кругомъ ничего!.. Ничѣмъ не связана, ни къ чему не привязана! Вольная птица... Куда хочу, туда лечу... Такъ-то, сударь мой!.... — А хорошее это винцо вы принесли. Хотя ровесницѣ не чета... но тоже доброе, доброе винцо!—и она протянула опять ко мнѣ рюмку.

Я налилъ.

— Я вотъ здѣсь, въ Лейпцигѣ, други мои милые, прожила 12 лѣтъ, въ Тюрингіи 10 лѣтъ, во Франкфуртѣ на Майнѣ 15 лѣтъ...

— А въ Берлинѣ вы не были?

— Въ какомъ Берлинѣ, кто тебѣ говоритъ о Берлинѣ? Что Берлинъ за городъ! Тамъ одни солдаты... Не люблю я солдатъ... грубые, вонючіе... Такъ и норовятъ кого бы ограбить, кого бы убить... Фуй! Правду люди говорятъ: бравый солдатъ—черту братъ!

И она выпила рюмку и снова протянула ко мнѣ. Я опять налилъ.

— Хорошее винцо! Милые вы други мои! Хорошіе мои! Вѣдь я всѣхъ васъ люблю... Вотъ какъ... Всѣхъ васъ жалко...— И она начала тихо плакать...—Сироты вы мои безродные!..

Почему мы представились ея пьяному воображенію безродными? Не знаю, но я поторопился скорѣе налить остатки вина себѣ и Гельбейну.

— Вы, тетушка Марта, прилегли бы на постельку. Дайте ка я васъ проведу...

— А!? Провести... Меня-то? Дудки! Еще не родилась та душа, которая провела бы старую Марту. Нѣтъ, шалишь, шутишь... Нѣтъ!.. Не проведешь... Ннѣтъ... Она начала клевать носомъ и прилегла на столъ.

— Пойдемъ, Марта, пойдемъ... доведу...

Она встала и при моей помощи, упираясь и чуть не падая, какъ маленькій ребенокъ, повалилась на постель.

Прежде чѣмъ она улеглась, я тщательно осмотрѣлъ подъ пологомъ всѣ углы постели. Предположить, чтобы здѣсь былъ спрятанъ еще человѣкъ, кромѣ Марты—мнѣ казалось безсмысленнымъ.

Когда я опустилъ пологъ надъ Мартой, и она громко захрапѣла, я быстро подошелъ къ столу, за которымъ си-

дѣлъ Гельбейнъ неподвижно, и прежде всего загасилъ сальную свѣчу, которая горѣла въ прежнемъ изломанномъ желѣзномъ подсвѣчникѣ. Затѣмъ я сѣлъ подлѣ Гельбейна, лицомъ къ кровати Марты и, наклонясь къ нему, прошепталъ многозначительно:

— Теперь будемъ ждать!..

Онъ ничего не отвѣтилъ.

V.

Мы сидѣли неподвижно минутъ двадцать, по временамъ мѣняясь короткими словами и фразами, сказанными шепотомъ. Наконецъ терпѣнье мое истощилось. Съ одной стороны мнѣ сильно хотѣлось показать ему явленіе и затѣмъ убѣдиться, что это не была моя собственная галлюцинація, бредъ, сонъ или что-нибудь въ родѣ этого.

— Ничего!—сказалъ я наконецъ громко, допилъ бокалъ, поднялся и потянулся.

Но Гельбейнъ сидѣлъ неподвижно, устремивъ усиленно глаза на какой-то предметъ.

Онъ быстро приложилъ палецъ къ губамъ и проговорилъ, указывая на кровать, чуть слышнымъ шепотомъ: видишь, видишь!..

Я обернулся. Но какъ ни прилежно всматривался въ пологъ кровати, я ничего не видѣлъ.

— Видишь? Свѣтлыя фосфорическія пятна?—спросилъ онъ тѣмъ-же шепотомъ.

— Нѣтъ! ничего не вижу.

Въ это время Марта, давно уже переставшая храпѣть, сильно застонала и заметалась.

И почти вслѣдъ затѣмъ раздался опять тотъ-же шорохъ или шуршанье, какъ и въ прошедшій разъ.

Обѣ половинки полога медленно раздвинулись, и между ними показалась фигура Инегильды въ томъ-же бѣломъ

платьѣ, но это платье теперь казалось блестящимъ, какъ бы свѣтилось.

Свѣтъ мѣсяца въ это время прорѣзался сквозь облако и ворвался въ комнату. Все въ ней освѣтилось, какъ прежде тѣмъ-же фантастическимъ свѣтомъ, и платье Инегильды, казалось, было соткано изъ того-же свѣта.

Я обернулся къ Гельбейну.

Все лицо его удивительно преобразилось. Оно сіяло такимъ восторгомъ. Глаза его свѣтились, даже въ темнотѣ вечера. Онъ весь былъ поглощенъ видѣніемъ.

Инегильда отдѣлилась отъ постели и медленно, плавно двинулась прямо къ намъ. Руки ея были сложены крестомъ на груди. Она подошла или подплыла къ намъ и тихо поклонилась.

— Инегильда!—сказалъ я.

— Фердинандъ!—сказала она тихимъ шепотомъ.

— А его, знаешь, какъ зовутъ?—спросилъ я, указывая на Гельбейна.

— Альбертъ.

— А его мать какъ зовутъ?

— Здѣсь на землѣ, его мать звали Гертрудой.

Дѣйствительно, мать Гельбейна умерла уже 4 года назадъ, и ее звали Гертрудой.

— Ну! А бабушку его какъ звали?

— Кунигунда!

— Вѣрно?—спросилъ я Гельбейна.

Онъ молча кивнулъ головою.

Весь этотъ разговоръ шелъ въ полголоса. Мы какъ будто поддѣлывались подъ говоръ Инегильды и боялись разбудить Марту.

— Инегильда! — тихо, восторженно зашепталъ Гельбейнъ.—Свѣтлая жительница инаго міра! Скажи намъ, если можешь, гдѣ и когда ты жила на землѣ.

— Я жила,—отвѣчала она, въ XVI столѣтіи и умерла въ 1571 году.

— Почему же, скажи намъ, ты являешься снова здѣсь на землѣ.

Она опустила головку и грустно, глубоко вздохнула.

— Я была дочь ландграфа Морица Пфальцскаго и Маріи, урожденной герцогини Ландбергской,—начала она.—Я была хороша собой, и множество поклонниковъ искали моей руки, но между всѣми ними я отличала Гуго фонъ-Ашенбейна, курфюрста Альтбургскаго. Но Гуго фонъ-Ашенбейнъ,—одинъ между всѣми кавалерами и молодыми рыцарями—любилъ не меня, а Амалію фонъ-Гохцондорфъ. Она была одна изъ дѣвицъ въ штатѣ моей бабки, герцогини Ландбергской. Я думала, чѣмъ я могу отвратить моего милаго отъ ненавистной соперницы и наконецъ придумала. Я похитила изъ ящика моей бабки драгоцѣнное ожерелье и серьги и спрятала ихъ. Когда-же хватились этихъ драгоцѣнныхъ уборовъ, то я немекнула, что я подозрѣваю, по нѣкоторымъ оброненнымъ словамъ, что похитила ихъ Амалія фонъ-Гохцондорфъ. И дѣйствительно, ихъ нашли у нея въ карманѣ, куда я ихъ ей подкинула. Бабка была строга и неумолима такъ-же, какъ и старый герцогъ, и несчастная Амалія была заключена въ тюрьму, гдѣ она умерла отъ стыда и горя. Гуго фонъ-Ашенбейнъ уѣхалъ на востокъ; а со мной вскорѣ начали дѣлаться странные припадки: я ходила во снѣ, по ночамъ, воровала разныя вещи и прятала. Теперь всѣ эти вещи нашлись, исключая только двухъ: ожерелья и драгоцѣнныхъ серегъ моей бабки.

Въ это время Марта сильно застонала и завозилась. Инегильда остановилась и вдругъ въ одно мгновеніе, какъ молнія, улетѣла за занавѣски. Прошло минутъ пять, прежде чѣмъ она снова вернулась къ намъ.

— Въ томъ мірѣ,—начала она снова,—я должна ски-

таться, вблизи этихъ мѣстъ, гдѣ совершено мною преступленіе, и это продолжится до тѣхъ поръ, пока всѣ вещи, припрятанныя мною, будутъ найдены. Я скажу вамъ, гдѣ я спрятала ожерелье и серьги, которыя были моимъ первымъ страшнымъ грѣхомъ. Они спрятаны здѣсь, въ этомъ домѣ, такъ какъ часть этого дома была прежде частью герцогскаго замка. Я спрятала вещи въ подвалѣ этого замка. Онѣ и теперь лежатъ тамъ, въ подвалѣ этого дома. Но только стѣна, въ которой онѣ спрятаны, лежитъ уже почти подъ землей. Считая отъ верхняго свода это пятый камень, подъ который я положила ихъ въ трещину и замазала эту трещину алебастромъ. И если вы желаете добра несчастной душѣ моей, то выньте эти вещи и возвратите ихъ принцу Цейсбургскому, ихъ законному наслѣднику. Тогда срокъ осужденія кончится. Я не буду болѣе странствовать здѣсь, въ темномъ подвалѣ или на чердакахъ и получу возможность дальнѣйшаго совершенствованія.

Мы оба обѣщали въ одинъ голосъ, что мы это сдѣлаемъ. Она протянула намъ каждому руку, крѣпко пожала наши руки и, кивая головой, начала медленно отходить къ кровати Марты, постояла около занавѣсокъ и вдругъ скрылась за ними.

VI.

Мы возвращались отъ Марты въ самомъ возбужденномъ состояніи. Гельбейнъ сдѣлался неузнаваемъ. Въ немъ явилась необыкновенная прыткость. Онъ сталъ говорливымъ и жестикулировалъ немилосердно.

— Это высшее проявленіе человѣческаго духа!—повторялъ онъ чуть-ли не въ сотый разъ.—Пойми ты... духъ выходитъ изъ идеальныхъ сферъ и принимаетъ видимый, даже осязаемый образъ...

— А какъ-же мы завтра отправимся отыскивать старый грѣхъ Frau Инегильды?—спросилъ я.

— Да! какъ мы доберемся? Полагаю это трудно, очень трудно!

— Я сперва пойду одинъ и позондирую почву.

— Хорошо!

И я утромъ отправился къ гаускнехту или дворнику, пригласилъ его въ пивную и тамъ за кружкой пива открылъ ему, что у нихъ въ домѣ находится древній документъ, который спрятанъ подъ фундаментомъ. Я довольно ловко сочинилъ ему, что вычиталъ это въ одной старинной лѣтописи и — «мнѣ хочется провѣрить, — сказалъ я,—правда-ли это или нѣтъ»?

— Это точно,—сказалъ дворникъ,—фундаментъ у насъ особенный; должно быть старинный. Только добраться до этого документа едва-ли возможно.

Но все-таки добраться до этого документа препятствія съ его стороны не будетъ; а въ этомъ и была главная суть дѣла.

Вечеромъ, въ 9 часовъ, мы съ Гельбейномъ по условію явились, и гаускнехтъ повелъ насъ въ подвалъ, который теперь былъ давно заброшенъ. Онъ приготовилъ заступъ и кирку, въ которыхъ, впрочемъ, надобности не оказалось; принесъ также потайной фонарь, и при тускломъ свѣтѣ этого фонаря мы таинственно вошли въ подвалъ, въ которомъ должны были стоять, склонивъ головы.

Онъ былъ почти врытъ въ землю. Стѣны его были сложены изъ большихъ камней, склеенныхъ алебастромъ. Полъ весь усыпанъ осколками камней и мусоромъ. Вездѣ была сырость, затхлый, спертый запахъ, точно въ старомъ могильномъ склепѣ. Запыленный старый алебастръ почти не отличался отъ сѣрыхъ камней.

Я отсчиталъ пятый камень сверху, отъ самой середины

свода въ сѣверной стѣнѣ и подъ нимъ постучалъ по алебастру заступомъ. Подъ алебастромъ, очевидно, была пустота. Но что скрывалось въ этой пустотѣ?!

— Послушайте,—сказалъ я гаускнехту,—нѣтъ-ли у васъ тонкаго скребка, которые употребляютъ штукатуры и каменьщики?

— Кажется былъ у насъ небольшой, старый.

— Будьте столь добры, принесите его сюда. Я боюсь, что если неосторожно будемъ вскрывать, то попортимъ документъ.

— Сейчасъ я принесу.—И онъ исчезъ.

Я тотчасъ-же вынулъ большой перочинный ножъ и съ помощью его и камня пробилъ алебастръ. Подъ нимъ оказалось довольно большое углубленіе. Я засунулъ туда пальцы, но они были коротки.

— Гельбейнъ,— сказалъ я, — дѣйствуй — у тебя пальцы длиннѣе.

Онъ засунулъ свои длинные, тонкіе пальцы и вытянулъ ожерелье изъ довольно крупныхъ алмазовъ, серьги также алмазныя съ жемчугомъ и старинный браслетъ въ видѣ змѣйки. Все это было золото и серебро; но послѣднее сильно почернѣло, а золото потускло, вѣроятно, отъ долгаго лежанья въ сырой стѣнѣ. Не измѣнились нисколько только одни алмазы.

— Вѣдь это цѣлое состояніе,—сказалъ я, взвѣшивая находку на рукѣ.

— Но какимъ-же образомъ,—удивился Гельбейнъ,—она говорила, что было украдено и спрятано ею только двѣ вещи, а тутъ оказывается еще браслетъ?

Я пожалъ плечами.

— Кто его знаетъ,—сказалъ я.— Можетъ быть она забыла о браслетѣ. Можетъ быть другой кто-нибудь положилъ его. Можетъ быть ей совѣстно было признаться, что она украла не двѣ, а три вещи.

— Посмотри,—сказалъ Гельбейнъ;—этотъ браслетъ гораздо старше, чѣмъ другія вещи! Это грубая древняя работа, можетъ быть, седьмаго или восьмаго вѣка.

Я посмотрѣлъ и согласился съ нимъ. Дѣйствительно, это была грубая работа. При томъ почти все золото на этомъ браслетѣ покрылось тусклой корой.

Въ это время вошелъ гаускнехтъ и принесъ длинный, узкій скребокъ.

Я опустилъ всѣ найденныя вещи въ длинные карманы моихъ брюкъ.

— А мы уже вскрыли безъ васъ, просто перочиннымъ ножемъ.

— И что же?

— Да ничего! Углубленіе, какъ и вездѣ, я думаю... Пустота и только.

И я показалъ ему, гдѣ мы вскрыли.

— Можетъ быть въ другомъ какомъ мѣстѣ,—предположилъ онъ—и началъ ковырять алебастровую замазку на всѣхъ камняхъ.

— Теперь вопросъ,—разсуждалъ тихо Гельбейнъ:—если она положила вещи въ это углубленіе, то зачѣмъ всѣ остальныя углубленія также замазаны алебастромъ? И гдѣ, какъ она взяла алебастру?..

Но я не далъ ему договорить, толкнулъ его въ бокъ основательно и посмотрѣлъ на него весьма свирѣпо.

Онъ понялъ и замолчалъ.

— Нѣтъ, ничего нѣтъ,—сказалъ гаускнехтъ, оторвавшись, наконецъ, отъ своей штукатурной работы.

И мы вышли вонъ изъ подвала, простились съ гаускнехтомъ и отправились ко мнѣ.

— Знаешь ли что?—сказалъ я останавливаясь.—Необходимо показать эту штуку Пуцу:

— Какую?

— Всю! всю исторію, все видѣніе...

— Можно! только его не убѣдишь!

Я ничего не отвѣтилъ, но былъ твердо увѣренъ, что если онъ увидитъ Инегильду и вещи, которыя нашли мы, то все это должно его убѣдить. Что касается до меня, то я въ это время уже болѣе не сомнѣвался въ томъ, что Инегильда была явленіе не поддѣланное, самостоятельное, не изъ здѣшняго міра.

На другое утро мы вмѣстѣ съ Гельбейномъ отправились къ Пуцу.

Его маленькая каморка на чердакѣ была отперта настежъ. На столѣ валялись панталоны и объѣдки колбасы. Сюртукъ валялся на полу, а на небольшой поломанной кровати лежалъ самъ Карлъ Пуцъ въ одномъ спальномъ бѣльѣ и храпѣлъ во всю Ивановскую.

— Пуцъ!—закричалъ я надъ ухомъ изо-всей силы своихъ легкихъ.

— А!?—проговорилъ онъ сонно, не раскрывая глазъ.

— Пушки палятъ!

— Пускай... ихъ... палятъ...

И онъ захрапѣлъ еще сильнѣе.

Тогда я пригласилъ на помощь Гельбейна, и вмѣстѣ, общими силами, мы растолкали Пуца и добились того, что онъ сѣлъ на кровати.

— Какой дьяволъ васъ спозаранку носитъ!?

— А вотъ ты услышишь, какой. Вставай только, одѣнься...

— Я одѣтъ. Въ этомъ костюмѣ я больше могу сдѣлать чѣмъ въ штанахъ и сюртукѣ. Штаны и сюртукъ... вотъ до чего дошло европейское племя, это его послѣднее слово. И говорятъ, что наша цивилизація выше древней римской... Да былъ бы я въ древнемъ Римѣ, накинулъ бы на себя тогу—и онъ дѣйствительно накинулъ на себя простыню—и пошелъ бы гулять...

Я захохоталъ, воображая его толстую, плотную фигуру въ образѣ римскаго гражданина.

— Слушай,—сказалъ я,—мы пришли къ тебѣ съ удивительнымъ открытіемъ.

— Съ какимъ?

— Привидѣнія существуютъ.

Онъ посмотрѣлъ на меня, широко раскрывъ глаза.

— Поди, выспись!—сказалъ онъ—и, отвернувшись, сталъ шагать по комнатѣ, подошелъ къ окну, на которомъ валялся его пипфайндеръ, набилъ его табакомъ и закурилъ.

— Мы два раза вотъ съ нимъ—я указалъ на Гельбейна, который молча усѣлся, опустивъ голову и глядѣлъ на Пуца изъ подлобья,—мы вмѣстѣ съ нимъ видѣли, говорили съ привидѣніемъ, и оно отвѣчало намъ, пожимало наши руки...

— Это привидѣніе-то?!... Ха! ха! ха! Ахъ! хе! Іе!... Zehn Teufel mit Trompeten!

— Да ты не смѣйся, а посмотри... Вѣдь это привидѣніе поднималось на воздухъ, подъ самый потолокъ.

— Коли руки вамъ жало, такъ отчего же и на воздухъ не подниматься... Въ особенности, если у васъ отъ страха волосы поднялись на головѣ, а по спинѣ холодный вѣтеръ ходилъ... Ха! ха! ха!

— Да мы, пойми это, были въ полномъ обладаніи чувствъ...

— Понимаю!.. вполнѣ понимаю! Ха! ха! ха! Ахъ, хе! Іе!.. Die Schwendlerei mit Blase-putzen!

Наконецъ, чтобы его убѣдить, я вытащилъ изъ кармана найденныя нами вещи и подставилъ ему къ носу.

— Смотри!.. Видишь! Это мы нашли по ея указанію. Это драгоцѣнное алмазное ожерелье... я вчера носилъ его къ ювелиру, и онъ мнѣ оцѣнилъ его въ 30,000 талеровъ. А серьги? вотъ видишь серьги! Ихъ онъ оцѣнилъ въ 10.000 талеровъ. Все это старинныя, старинныя вещи. Все это

1570 годъ, и все это указала намъ она, т.-е. дѣвушка-привидѣніе.

Пуцъ молча разсматривалъ вещи, немилосердно куря изъ своего пипфайндера.

— Potz tausend und 2 Groschen!.. Если это дѣйствительно такія цѣнныя вещи, то это меня крайне интересуетъ. Я привидѣній не видалъ... А такихъ, чтобы дарили цѣлое состояніе... я даже не слыхалъ о такихъ. Это дѣйствительно подозрительно, странно!

И онъ принялся насъ разспрашивать обо всемъ видѣнномъ, постоянно прерывая нашъ разсказъ восклицаніями въ родѣ: Hundert Teufel und ein Halb... d. h. anderhalb Teufel... или дѣлая разные коментаріи, отъ которыхъ Гельбейна коробило.

— Такъ ты пойдешь съ нами сегодня вечеромъ къ Мартѣ?

— Съ вами-то?! Это вы мнѣ духа будете показывать?

— Да! если она захочетъ явиться.

— Захочетъ!.. Ха! ха! ха! Разъ захотѣла, два захотѣла, а уже въ третій и Богъ велѣлъ... Хорошо! Заходите сегодня и пойдемте! Ха! ха! ха! Пойдемте привидѣніе смотрѣть, которое даритъ 40,000 талеровъ. Очень, очень интересно, чтобъ его чортъ побралъ! Ха! ха! ха!—И онъ весь исчезъ въ облакахъ табачнаго дыма...

VII.

Вечеромъ мы пришли за нимъ въ пивную Гольдене Кальбе, гдѣ обыкновенно собираются студенты. Онъ толковалъ имъ о привидѣніяхъ которыя морочатъ Gelbschnabelige Schnapsbube и даже ухитряются оставлять довольно цѣнные подарки для того только, чтобы имъ повѣрили. Мы прервали его бесѣду и сказали, что пора идти.

Идя по дорогѣ мы запаслись двумя бутылками Іоганисберга...

— Это зачѣмъ?—спросилъ Пуцъ.

— А вмѣсто паспорта, для пропуска къ Мартѣ. Будемъ пить...

— Ха! ха! ха! Такъ вы возбуждаете себя, чтобы видѣть привидѣніе... Ха! ха! ха! Ахъ... Іе... Ein Virtel und zwei Tausend Teufel da zu...

— Такъ вѣдь одна бутылка на трехъ и двѣ на четырехъ.

— Ха! ха! ха! ха! ха!—И онъ хохоталъ до слезъ, но все-таки шагалъ вмѣстѣ съ нами.

На лѣстницу втащить его было довольно трудно.—Онъ ругался и проклиналъ и того, кто живетъ по такимъ лѣстницамъ, и того, кто строитъ такія лѣстницы, и его дѣда и прадѣда...

Взойдя наверхъ, я проскользнулъ впередъ и отворилъ дверь. Марта сидѣла и что-то вязала или шила.

— А! опять!—закричала она.—Что повадились?

— Къ тебѣ идетъ Карлъ Пуцъ...—Ты понимаешь?

— Ха! ха! ха! Толстый боровъ...

— Онъ самый, старая свинья!..—ввалился въ это время Карлъ Пуцъ.—Какъ поживаешь?

— По маленьку. Добро пожаловать!—Только сидѣть у меня негдѣ, да и повернуться тоже негдѣ.

— Уфъ! Гдѣ-бы ни было, а послѣ твоей дьявольской лѣстницы вездѣ присядишь ..—И онъ раздвинулъ пологъ и опустился на ея постель.

— Ну! на постель-то мою не садись, всю изомнешь.

— Что ты!! Цѣломудренная Мадонна, что-ли, къ которой патеръ перстомъ не прикасался! Ха! ха! ха! ха!

Между тѣмъ, мы съ Гельбейномъ откупорили бутылки и вынули изъ кармановъ четыре рюмки-бокала.

— Нечего дѣлать! Пойти ужъ поискать тебѣ стульчикъ у сосѣдей,—проворчала Марта и отправилась.

— Напрасно безпокоишься, мнѣ и здѣсь хорошо!

Черезъ двадцать минутъ мы всѣ сидѣли полукругомъ у стола и пробовали Іоганисбергъ.

— 1825 года, опредѣлилъ Карлъ Пуцъ, который былъ отличный знатокъ винъ. Ничего! Хорошъ! А пиво все-таки лучше! Ха-ха-ха!

— Только на три года ошибся,—поправилъ я его.

— Ну! Три года и жена мужу можетъ быть вѣрна! Ха! ха! ха! За твое здоровье, бабушка Марта,— и мы чокнулись. — Дай тебѣ Богъ еще столько лѣтъ прожить и 200.000.000 нажить... Только меня наслѣдникомъ сдѣлай!

— Какъ же, сейчасъ и сдѣлала! На что тебѣ 200 000.000. Лопнешь или обопьешься.

— Лопну или обопьюсь.. Все тебѣ доходъ будетъ! Лишнюю копѣйку на похоронахъ подастъ какая-нибудь старая добродѣтельная дѣва... Ха! ха! ха! Potz Donner mit Tausend Teufel!

— Да перестань ты чертей поминать! Богохульникъ противный... Просто тошно сидѣть съ тобой.

— Ohne Teufel—all ist Dreifel! Ха! ха! ха!

— Ну! сквернословъ грѣхотворный!..

— Бабушка Марта,—вскричалъ я,—за твое здоровье!— и мы чокнулись.

Затѣмъ чокнулись за мое здоровье, за здоровье Гельбейна, за здоровье Карла Пуца, опять за здоровье Марты... Но Марта ужь была не въ состояніи отвѣчать на эти чоканья. Она качалась направо и налѣво, молола страшный вздоръ, и мы съ Гельбейномъ преспокойно довели ее до постели и мирно уложили.

— Ну!—сказалъ я, тихонько усаживаясь около Карла Пуца, который засѣлъ развалясь въ кресло и курилъ немилосердно.—Теперь надо ждать тихо и терпѣливо.

Пуцъ лукаво подмигнулъ Гельбейну, захихикалъ и закашлялся.

Я взглянулъ на него умоляющимъ взоромъ. Онъ замолкъ и весь погрузился въ облака табачнаго дыма, которыя испускалъ его пипфайндеръ съ какимъ-то томнымъ хрипѣньемъ.

Мы сидѣли молча минутъ десять, и я чувствовалъ, что съ каждой минутой близится то мгновеніе, когда Пуцъ прорвется неудержимымъ гомерическимъ смѣхомъ. Но вдругъ вмѣсто смѣха раздался робкій сдержанный храпъ. Я взглянулъ на Пуца, голова его свѣсилась на грудь, къ которой онъ прижалъ пипфайндера обѣими руками, точно нѣжнаго друга. Я усмѣхнулся и подмигнулъ Гельбейну, но Гельбейнъ весь во всѣ глаза неподвижно и вопросительно устремился въ одинъ уголъ комнаты. Я обернулся туда, куда смотрѣли его глаза.

Въ этомъ темномъ углу за кроватью едва замѣтно бѣлѣла Инегильда.

Прошло нѣсколько мгновеній и она изчезла. Затѣмъ, минутъ черезъ десять вдругъ яркій бѣловатый свѣтъ разлился въ этомъ углу, свѣтъ, передъ которымъ поблѣднѣлъ даже свѣтъ луны. Этотъ свѣтъ принялъ формы человѣческой фигуры, потухъ, и изъ-за угла кровати тихо появилась и начала медленно подплывать къ намъ Инегильда.

Дойдя до Гельбейна, она нагнулась къ нему и едва слышно прошептала:

— Зачѣмъ?..—и она кивнула головой на Пуца.

— Уйти ему?—спросилъ рѣзко и неуклюже Гельбейнъ, и вдругъ поднялся со стула.

Но въ это время, можетъ быть, отъ этого рѣзкаго движенія и стука стула Пуцъ вдругъ проснулся и испуганно посмотрѣлъ на насъ, выпучивъ глаза.

Въ то-же самое мгновеніе Инегильда мелькнула, какъ бѣлое облачко пара и исчезла за пологомъ постели.

— Potz Donner und Tausend Schwanze! Я, кажется, вздремнулъ въ ожиданіи привидѣнія... Ха!—и онъ протеръ глаза.

— Да! и проспалъ его,—сказалъ я съ досадой.

— Какъ проспалъ? Іе! Хе! Уже свершилось... Все вышло!.. Ха! ха! ха!

— Посиди смирно хоть четверть часа... Можетъ быть, оно опять явится.

— Кто?! Привидѣніе! Н-нѣтъ! Хе! Іеее!

И онъ вытянулся и усѣлся въ кресло какъ можно покойнѣе. Не прошло и двухъ минутъ, какъ онъ испустилъ такой аппетитный храпъ, что всѣ лоскутки на обояхъ затряслись, какъ отъ дуновенія вѣтра.

— Пуцъ!—вскричалъ я и сильно толкнулъ его ногой.

Но онъ только промычалъ и выпустилъ изъ рукъ пипфайндеръ, который рѣзко треснулся объ полъ и разбился.

Черезъ минуту онъ опять захрапѣлъ и притомъ съ такимъ неистовымъ ожесточеніемъ, что, кажется, мертвый вскочилъ-бы изъ гроба.

Мы оба съ Гельбейномъ обратили наши уши и глаза къ постели Марты. Но тамъ все было тихо.

Мы сидѣли 10, 20, 30 минутъ, сидѣли цѣлый часъ почти не шевелясь, не двигаясь. Гельбейнъ даже сдерживалъ дыханье, и только храпѣнье одного Пуца безпрепятственно раздавалось среди этой гробовой тишины. Онъ выхрапывалъ con amore и expressione, выхрапывалъ цѣлый концертъ... Тутъ было и crescendo, и diminuendo, и morendo, и блестящія фіоритуры, и нѣжныя посапыванія, и томныя присвистыванія... Такъ что я наконецъ вскочилъ и съ досады плюнулъ.

— Этакое богомерзкое животное!—вскричалъ я и взглянулъ на Гельбейна. Но лицо его выражало такое покорное страданіе, что мнѣ стало не въ шутку жаль его.

— Пойдемъ, Альбертъ,—сказалъ я, дружески хлопнувъ

его по плечу. — Мы ничего не дождемся, потому что ничего не будетъ.

Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на меня, всталъ, покорно взялъ шапку, вздохнулъ и направился къ двери. На столѣ валялся старый чепецъ Марты. Я взялъ его, надѣлъ на голову Пуца, и мы отправились во-свояси.

Дойдя до Нюренбергъ-Штрассе, мнѣ вдругъ пришла въ голову мысль, что мы напрасно оставили у Марты дверь открытою. Кто можетъ поручиться за ея сосѣдей, и кто можетъ знать, сколько у ней припрятано.

Я простился съ Гельбейномъ и быстро пошелъ назадъ по пустыннымъ улицамъ. Я снова ощупью забрался на чердакъ Марты. Храпѣнье Пуца раздавалось даже на лѣстницѣ. Я вошелъ и увидалъ, что по прежнему Пуцъ храпѣлъ въ креслѣ Марты, по прежнему былъ надѣтъ чепецъ на его голову. Но только онъ весь былъ одѣтъ въ платье Марты. Сперва я не повѣрилъ этому. Я зажегъ свѣчу и подошелъ къ Пуцу. Голова его въ чепцѣ была закинута. Онъ открылъ ротъ и храпѣлъ самымъ торжествующимъ тономъ. На немъ было широкое клѣтчатое платье Марты, которое доставало ему немного ниже колѣнъ.

— Я подивился и, подойдя къ постели Марты, отдернулъ пологъ. Она также спала, и на ней былъ надѣтъ сюртукъ Пуца!..

— Это опять какая-то галлюцинація,—подумалъ я и при этомъ вспомнилъ, что галлюцинація можетъ поражать одновременно и глаза, и слухъ, и органы осязанія. Я обвелъ глазами всю комнату, высоко поднявъ свѣчу.

Въ углу за постелью Марты, тамъ, гдѣ являлась давеча Инегильда, было довольно большое пустое пространство, ничѣмъ не заставленное, и (чего я прежде не замѣтилъ) была маленькая дверка. Она была полуотворена и рѣзко бросалась въ глаза.

Сперва я думалъ, что это была дверка плакара, стѣннаго шкафа, которые часто бываютъ на чердакахъ. Но дверка вела въ маленькую, узенькую комнатку или чуланчикъ. Я тихонько, выставивъ впередъ свѣчу, вошелъ въ него.

По стѣнамъ его висѣли разныя старыя платья, или вѣрнѣе театральные костюмы. Нѣкоторыя изъ нихъ блестѣли позументами и золотыми вышивками. И между этими костюмами первое, что бросилось мнѣ въ глаза, это кисейное бѣлое платье съ широкими рукавами, точь-въ-точь такое платье, какое было на Инегильдѣ.

Какая-то смутная догадка о какой-то чудовищной мистификаціи смутно мелькнула въ моемъ умѣ, и кровь мнѣ бросилась въ голову.

— Что же!? Можетъ быть онъ былъ и правъ! — подумалъ я о Пуцѣ.—Но какъ это все странно!!

На стѣнкѣ чуланчика висѣли шишаки и рыцарское вооруженіе. Въ углу стояло какое-то древнее вооруженіе, алебарды, пики, мечи, старинныя ружья... Вся комната была завалена разными старинными вещами: маленькими ларчиками, зеркальцами, экранами. На полу валялся браслетъ... точь-въ-точь такой браслетъ, какой мы нашли заложеннымъ въ фундаментѣ дома. Я поднялъ его и опустилъ въ карманъ моихъ брюкъ. Потомъ я вышелъ изъ чуланчика, въ которомъ былъ спертый воздухъ отъ разнаго стараго хлама и гнилья, точно отъ истлѣвшихъ костей. Въ комнатѣ было все по прежнему. Пологъ Марты не шевелился. Пуцъ храпѣлъ и выводилъ стаккато на верхнихъ нотахъ. Я постоялъ съ полминуты. Огарокъ въ желѣзномъ подсвѣчникѣ началъ гаснуть. Я затушилъ его, подождалъ еще минуты двѣ и вышелъ вонъ, приперевъ плотно за собой двери.

— Неужели все это какая-то махинація?! Какой-то обманъ?!— думалъ я, спускаясь съ лѣстницы, и машинально ощупывая сырыя стѣны. И я вспомнилъ, какъ меня зама-

нила къ себѣ Марта бутылочкой Кремсбергера.—Ровесница!.. Но для чего же было обманывать меня и Гельбейна? И почему ничего не было при Карлѣ Пуцѣ, т.-е. въ то время, когда онъ не спалъ. Или потому, что онъ хитрѣе и догадливѣе насъ?!—Удивительно странно!

Когда я наконецъ выбрался на улицу, то вотъ какое разсужденіе представилось мнѣ.

— Что же,—подумалъ я,—пускай себѣ надуваютъ, подстраиваютъ, устраиваютъ, вплетаютъ какого-то принца Цейгсбургскаго. Я просто надую всѣхъ ихъ, всѣхъ тѣхъ, кто ведетъ эту подлую интригу и разыгрываетъ комедію съ Инегильдами или Кунигундами... Чтобы чортъ ихъ побралъ! Я знать не хочу никакихъ принцевъ и 40 тысячное состояніе принадлежитъ мнѣ, мнѣ одному.

И прійдя домой, первымъ моимъ дѣломъ было осмотрѣть найденные ожерелье, серьги и браслетъ.

Прежде еще чѣмъ нести ихъ къ ювелиру, я тщательно вымылъ ихъ зубной щеточкой съ мыломъ и затѣмъ вычистилъ мѣломъ. Они блестѣли, какъ новенькіе. Уходя я положилъ ихъ въ мой шкафъ за книги, тщательно завернувъ ихъ въ бумагу. Шкафъ я заперъ, комнату также. Возвратясь, я отперъ шкафъ и нашелъ книги на мѣстѣ, за книгами лежалъ свертокъ бумаги, тоже на мѣстѣ, но въ бумагѣ ничего не оказалось...

— Украли!—вскричалъ я невольно.

— Исчезли!—подсказалъ какой-то внутренній голосъ, и, подъ впечатлѣніемъ его, я схватился за мой карманъ, въ которомъ былъ браслетъ, поднятый у Маргы въ чуланчикѣ.

Браслетъ былъ на мѣстѣ.

— Постойте-же!.. Мерзавцы!..—подумалъ я.—Вы воруете ключи у бѣднаго студента... Вы мистифицируете его... разными Инегильдами... Вы дразните его 40-тысячнымъ состояніемъ... Погодите-же! у меня есть улика, съ которой я до-

берусь до всѣхъ васъ и прежде всего до нашей доброй тетушки Марты...

И я долго, взволнованный, ходилъ взадъ и впередъ по моей маленькой комнаткѣ.

VIII.

На другой день, при свѣтѣ солнца всѣ мои планы на мщеніе разсѣялись, и даже все мое негодованіе испарилось.

Первое, за что я ухватился проснувшись, это былъ осмотръ моего медальона. Вчера вечеромъ, когда я отправился къ Мартѣ, я тщательно обревизовалъ его. Запирался онъ также крѣпко и былъ абсолютно пустъ. Волосъ моей милой матери, которыми я такъ дорожилъ, въ немъ не было. Еще вчера я хотѣлъ просить Инегильду, какъ только она явится, чтобы эти волосы были возвращены мнѣ. И вотъ, только что я раскрылъ по утру медальонъ, какъ эти волосы бросились мнѣ прямо въ глаза, а изъ медальона ко мнѣ на колѣни выпала маленькая, сложенная вчетверо бумажка. Я развернулъ ее. На ней были только двѣ строчки:

«Мой дорогой Фрицъ, вѣрь въ бытіе безсмертное и живи для будущаго!»

«Любящая тебя мать Амалія М».

Почеркъ руки, написавшей эту записку, былъ до того схожъ съ твердымъ, весьма оригинальнымъ почеркомъ моей матери, что признаюсь откровенно, у меня потемнѣло въ глазахъ. Я спряталъ записку въ медальонъ. Въ ту минуту я ни мало не сомнѣвался въ томъ, что ее писала моя покойная мать. Но гдѣ, когда? Неужели же съ того свѣта!!! И я хорошо помню, что при одной этой мысли я нервно, невольно пожалъ плечами. Такъ это было дико и нелѣпо!

Подумать объ обманѣ я немогъ. Дверь наканунѣ я тща-

тельно осмотрѣлъ, заперъ и не только на защелку, но даже на ключъ и этотъ ключъ оставилъ въ замкѣ. Въ моей комнатѣ я жилъ болѣе полутора лѣтъ, но не смотря на это, я всю ее снова осмотрѣлъ съ полнымъ тщаніемъ и вовсе не такъ, какъ я осматривалъ комнату Марты. Я вездѣ поколотилъ, постучалъ въ полъ, въ стѣны, въ потолокъ—все было крѣпко, солидно; нигдѣ не раздалось глухаго звука пустоты. Окно было тщательно заперто. Притомъ я жилъ въ четвертомъ этажѣ, и ко мнѣ такъ же было трудно добраться и съ земли, и съ крыши.

Но если эта записка и эти снова вернувшіеся волосы были дѣло необыкновенное, чудесное, сверхъестественное, то и все точно также было дѣло необыкновенное, чудесное, сверхъестественное. Вещи исчезли изъ моей комнаты также необыкновеннымъ путемъ, и явленіе Инегильды было явленіемъ также необыкновеннымъ, неестественнымъ и необъяснимымъ съ точки зрѣнія нашихъ обыкновенныхъ физическихъ явленій и законовъ.

И чѣмъ болѣе я думалъ объ этомъ явленіи, тѣмъ болѣе оно представлялось мнѣ необъяснимымъ. Быстрота нѣкоторыхъ движеній Инегильды, та, напримѣръ, быстрота, съ которой унеслась она за пологъ Марты въ то время, когда Марта застонала, была положительно необъяснима. И затѣмъ это поднятіе къ потолку. Этотъ перегибъ совершенно неестественный? И какъ-же она могла узнать имя покойной матери и бабушки Гельбейна? Или Гельбейнъ былъ съ ней въ заговорѣ? Или онъ кивнулъ головой потому, что хотѣлъ поддержать во мнѣ вѣру въ необычайность явленія? Или онъ просто не слушалъ и не слыхалъ, что она отвѣчала? Нѣтъ!.. Все это какая-то нескладица! И не лучше-ли признать все это тѣмъ, чѣмъ оно являлось намъ, т.-е. дѣйствительно сверхъестественнымъ, необыкновеннымъ явленіемъ... И я, помню, пошелъ тогда по этой дорогѣ и чѣмъ болѣе

думалъ въ этомъ направленіи, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе проникала въ меня вѣра, что привидѣнія не галлюцинаціи, а объективныя явленія, подобныя явленію Инегильды, и что тотъ міръ, въ который вѣрятъ такъ беззавѣтно всѣ наши матушки и бабушки, дѣйствительно существуетъ во всей его дѣтской глупой простотѣ. Однимъ словомъ я вѣрилъ, и вмѣстѣ съ этой вѣрой являлось невольно то успокоительное, отрадное чувство, которое — неизвѣстно почему — составляетъ ея непремѣннаго спутника. Однимъ словомъ, становилось какъ-то теплѣе жить на свѣтѣ.

Подъ вліяніемъ этого настроенія я отправился къ Гельбейну, чтобы подѣлиться впечатлѣніями и ощущеніями, а главное—чтобы получить философскія основанія для моего новаго идеальнаго взгляда. Въ томъ, что эти основанія существуютъ, я ни мало теперь не сомнѣвался

По пути я зашелъ въ «Гольдене-Кальбе», чтобы чего-нибудь съѣсть и выпить пива. Тамъ было нѣсколько изъ нашихъ молодцовъ, и между ними засѣдалъ и ораторствовалъ Карлъ Пуцъ.

— А! Одинъ изъ Schnâps-kopfige наблюдателей привидѣній!—закричалъ онъ, увидя меня.—Ха! ха! ха! Ну, показывай, что тебѣ еще подарило привидѣніе... какія сокровища?... Драгоцѣнности (Joalerie)... Давай, давай! Кажи скорѣе! Ха! ха! ха!.. И онъ протянулъ ко мнѣ свою толстую, жирную лапу.

— Я больше ничего не получалъ,—отвѣтилъ я, придвигая стулъ къ столу, за которымъ сидѣла компанія.—Я не только ничего не получилъ, но у меня отняли и то, что прежде дали... или довѣрили мнѣ для передачи...

— Какъ? Кто отнялъ?! Привидѣнье!.. Ахъ! Je!.. Ха! ха! ха!

Я молча кивнулъ головой и затѣмъ разсказалъ, что со мной случилось.

— Двери были заперты, и ключъ былъ въ замкѣ,—доказывалъ я.—Окно высоко... да вы знаете, гдѣ я живу! И вотъ, несмотря на все это, въ медальонѣ очутились опять волоса моей матери, и вмѣстѣ съ ними записка—двѣ строки,—написанная рукой моей матери.

И я вынулъ медальонъ, раскрылъ его и всѣмъ показалъ волоса и записку. И всѣ кинулись съ любопытствомъ ее разсматривать.

— Ахъ! Je!—вскричалъ Карлъ Пуцъ, прочитавъ бумажку и смотря ее на свѣтъ.—Ха! ха! Ловко шельмецы обдѣлываютъ дѣла... «вѣрь въ бытіе безсмертное»... дорогой Фрицъ!.. Ахъ, антихристы! А дорогой Фрицъ сейчасъ повѣрилъ, сейчасъ повѣрилъ и нюни распустилъ... На, на, дорогой Фрицъ!—и онъ протянулъ мнѣ бумажку.—Спрячь записочку! Вѣдь это твоя мамаша тебѣ писала съ того свѣта. Ахъ! Je! Ха! ха! ха! ха! Potz Tausend Teufel und drei Schweine...

Я взялъ отъ него бумажку и спряталъ въ медальонъ.

— Руку моей матери,—сказалъ я,—не трудно поддѣлать. Но трудно допустить и повѣрить, чтобы для этой поддѣлки добывали ея письма изъ моего ландгута. И тѣмъ болѣе трудно, что нѣтъ никакой цѣли, ни выгоды этимъ господамъ, а въ томъ числѣ нашей доброй Мартѣ...

Но мои слова были прерваны неистовымъ ударомъ кулака о столъ, отъ котораго кружки запрыгали.

— А я все таки вздулъ ее!.. Potz drei Tausend Schelmen!..

— Кого!?

— Ее, нашу добрую Марту!.. Старое чортово дупло! Теперь ея поганыя кости знаютъ, крѣпка ли рука стараго борова Карла Пуца!..

— Какъ вздулъ! за что!.. когда!?—Накинулись мы всѣ къ нему съ вопросами.—Но Карлъ Пуцъ не вдругъ отвѣтилъ. Сначала онъ весь погрузился въ своего пипфайндера, который хрипѣлъ, какъ зарѣзанный.

— Вздулъ потому, что вздулъ,—сказалъ онъ наконецъ докторально...—Она! Старая вѣдьма, вздумала продѣлывать со мной такія же штучки, какъ съ дорогимъ Фрицомъ. Вчера мой дорогой Фрицъ, и померанцевая кислятина длинновязый Гельбейшкейнъ потащили меня къ чортовому отродью смотрѣть привидѣніе. Я пошелъ съ цѣлью поучиться, какъ и чѣмъ дурачатъ нашихъ молодцовъ. Засѣлъ, какъ добрый малый и—признаться—вздремнулъ немного... Чтожъ бы вы думали?—и онъ вскочилъ съ табурета—представьте себѣ: просыпаюсь... и что же?.. ни руками, ни ногами не могу пошевелить. Смотрю: что такое на мнѣ!.. Платье старой вѣдьмы, а на головѣ ея поганый чепецъ!.. Можете себѣ представить Карла Пуца въ чепцѣ и платьѣ старой свиньи... Potz Donner und Halb duzend Teufel's Schwester!

Мы всѣ живо представили себѣ Карла Пуца въ чепцѣ и женскомъ платьѣ и залились дружескимъ гомерическимъ хохотомъ.

— Ну!

— Ну!... А по рукамъ и по ногамъ связанъ крѣпко накрѣпко здоровой веревкой. Я такъ, я этакъ... никакъ...

— Ха! ха! ха! Ловко!..

— Насилу поднялся съ кресла, шажкомъ добрелъ до стола и началъ веревки перетирать объ его край... Ужъ я теръ, теръ... инда до 10-го пота!..

— Ха! ха! ха!

— Ужъ я ее, чертову выжигу, честилъ, честилъ... плевалъ на нее плевалъ... и всю проклятую родню ея до десятаго колѣна... ко всѣмъ чертямъ... послалъ...

— Ха! ха! ха! ха!

— Насилу, насилу перетеръ. Всѣ руки ободралъ.. Вотъ посмотрите! (И онъ показалъ намъ свои въ кровь обтертыя руки...) Ну, какъ я освободился... Хе! Іе!.. Сейчасъ же первымъ дѣломъ сорвалъ съ себя чепецъ, оплевалъ, ра-

стеръ... Просто чуть не весь полъ имъ вытеръ. Затѣмъ сорвалъ платье и все его разорвалъ, въ мелкіе лепесточки... На, вотъ! старая вѣдьма! Попробуй опять надѣть на меня, Карла Пуца! Затѣмъ принялся распутывать ноги. Думалъ, сейчасъ развяжу... Какъ бы не такъ! Tausend Teufel mit ein Schwanz und drei Hörne!! Можете себѣ представить... Все заплетено... всѣ ноги, до самыхъ колѣнъ! Такія кружева сплетены, понавязаны, что въ два дня не распутаешь! Къ счастью, былъ со мной мой Taschen-Messer... Вотъ для любопытства захватилъ кусокъ. Полюбуйтесь! И онъ выбросилъ намъ изъ кармана кусокъ грубой плетенки изъ очень крѣпкой веревки.

— Если два дня нужно употребить на то, чтобы это расплести, — спросилъ я, то во сколько времени это было заплетено?

Карлъ Пуцъ ничего не отвѣтилъ. Онъ только посмотрѣлъ на меня презрительно и продолжалъ свой разсказъ.

— Наконецъ я освободился! Размялъ руки и ноги... Но гдѣ же мое платье? Teufel's Breck! Я въ одной рубашкѣ и бѣлыхъ штанахъ... Подошелъ къ кровати, распахнулъ пологъ и... можете себѣ представить! Она, она сама, чертово дупло, натянула на себя и мои брюки, и жилетъ, и сюртукъ... Тепло! И спитъ, и храпитъ!.. Хе!..

— Ха! ха! ха! ха!..

— Ну! думаю, чортова тетка! Если ты съиграла со мной такую штуку, такъ и я съ тобой съиграю! И пнулъ ее безъ церемоніи... Вскочила, какъ очумѣлая. «Господи! что это!» Схватилъ я ее за загорбокъ и такъ тряхнулъ, что сразу проснулась. «Скидай, гнилая труха, мое платье! Я тебѣ, чортовой роднѣ, не дорогой Фрицъ, не Гольбешка дался, чтобы со мной шутки шутить!.. Со мной, старымъ студентомъ Фрейбурга и Іены, Гейдельберга и Лейпцига! Вся Германія и Саксонія знаетъ Карла Пуца... А ты, чортово лох-

мотье, его въ свою вонючую юбку нарядила и его честное платье опоганила»! Молчитъ, старая корга, только вся трясется и скорехонько раздѣвается... Встряхнулъ я свое платье, плюнулъ на полъ... И поднесъ ей, чортовой шельмѣ, студенческаго Пимперъ-Кункеля!.. И разъ... и два... и три преподнесъ... Затѣмъ одѣлся и на прощанье все у ней переломалъ... И стулъ, и столъ, и кресло, и шкафъ разбилъ, и старые горшки переколотилъ, и все ея скверное, грѣховное ложе въ пухъ разнесъ! Вотъ молъ тебѣ, чортово зелье, отъ стараго студента за студенческое безчестіе! На! Подавись! Teufel's Breck mit doppelt Kartofel!

— Браво!.. Браво! о!..— закричали, захлопали и захохотали всѣ собесѣдники.

И если кому покажется страннымъ это суровое и весьма безцеремонное обращеніе съ нашей доброй, старой Мартой, то должно сказать, — что это еще была снисходительная плата за безчестіе цѣлой корпораціи стараго студенчества.

И всѣ чокнулись кружками, — прокричали студенчеству виватъ и поздравили Карла Пуца съ полной побѣдой.— Только одинъ я не участвовалъ въ этой оваціи и спокойно доѣдалъ кусокъ Nierenbraten. И всѣ при этомъ покосились на мое слишкомъ демонстративное поведеніе.

— Ну, а теперь, дорогой Фрицхенъ, — сказалъ Карлъ Пуцъ, обращаясь ко мнѣ, разсказывай намъ свои сказки, свои Rösemärchen о твоихъ привидѣніяхъ.—Мы охотно ихъ будемъ слушать... Ха! ха! ха!

Я пожалъ плечами.

— Прежде чѣмъ бить добрую старуху, которая помогала такъ охотно всему студенчеству, — сказалъ я сердито, надо было разслѣдовать дѣло, а не брать на себя роль палача въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

— Ахъ! Ie! — закричалъ Карлъ Пуцъ... — Я по твоему долженъ былъ обратиться въ магистратъ съ оффиціальной

жалобой на старую обманщицу! Студенту обратиться въ судъ съ жалобой на старуху нищую за то, что она надъ нимъ насмѣялась... Ахъ! ахъ! Мой дорогой Фрицхенъ! Ты вѣрно не ѣлъ сегодня молочной кашки съ дѣтскимъ слабительнымъ!.. Ха! ха! ха! ха!

— Никто не говоритъ тебѣ о магистратѣ, о судѣ. Изслѣдуй собственнымъ слѣдствіемъ; разбери все дѣло хладнокровно, судомъ твоего разума, а не подъ раздраженіемъ, и ты увидишь, что добрая Марта ни въ чемъ не была виновата.

— Ха! ха! ха! Я вотъ буду пачкаться въ этой дряни, тогда какъ съ перваго взгляда видно, что все это Teufel's Breck... и тьфу! тьфу! тьфу!

— Ну, вотъ видишь, какая у тебя логика. Ты вотъ съ самаго начала предположилъ здѣсь обманъ и плюешь на все происшествіе, какъ на обманъ.

— И плюю! Чортъ возьми... и буду всегда плевать! — И онъ стукнулъ по столу кулакомъ такъ, что кружка у сосѣда прыгнула и слетѣла на полъ! — Ты мало жилъ и еще ничего не нюхалъ, а я много видѣлъ, слышалъ и читалъ... Прочти, какія штуки продѣлывали патеры и іезуиты, чтобы заставить Герцога Альтенштадтскаго повѣрить въ то, что его покойная мать велитъ ему отдать все его имѣніе въ Нейклостскій монастырь.

— Да вѣдь я не герцогъ Альтенштадтскій, а бѣдный нѣмецкій студентъ.

— Ты бѣдный! Teufel's Pumpe! Да у тебя есть связи. У тебя есть ландгутъ... И дядя Фонъ—и тетка Gräfin von Бондерслау. И ты имѣешь на нихъ сильное вліяніе... И оба они богатые, вліятельные люди. Вотъ гдѣ начинается причина интригъ и всѣхъ твоихъ Spucken-Stücker, мой дорогой Фрицхенъ! Ха! ха! ха! Пососи пальчикъ! Ха! ха! ха! Пососи! Ха! ха! ха! ха!

— Допустимъ и это,—вскричалъ я,—но ты разбери, анализируй, сколько нужно денегъ и труда для того, чтобы устроить и поддержать всю эту махинацію. Нужны шпіоны, много шпіоновъ; затѣмъ нужны разныя хитрыя и всевозможныя приспособленія.

— Нужна вѣра, добрая вѣра, мой милый мальчикъ, и маленькое разстройство нервовъ, и ты всему повѣришь, мой дорогой, простосердечный Фрицхенъ! Прочти, какія махинаціи, какія сложныя и тонкія штуки были пущены въ ходъ когда Каліостро или графъ Бальзамо передъ революціей продѣлывалъ въ Парижѣ свои Spucken-Stücken... Выгодно было, и денегъ не жалѣли... платили, сорили, подкупали... Zwei Tausend Teufel und eine Hexe имъ подъ хвостъ. Прочти какія штуки продѣлывались на кладбищѣ Сан-Медара. Это почище твоихъ Spucken-Stücken съ чортовой Hexe Мартой. Да и зачѣмъ, спрашивается, она жила здѣсь, въ Лейпцигѣ? Что здѣсь за благодать для старой нищей? Или нигдѣ лучше мѣста не нашла... Чортово отродье!?

— Да ты пойми,—вскричалъ я,—что то, что я и Гельбейнъ видѣли нельзя поддѣлать никакими способами. Можно ли сдѣлать, чтобы человѣческая фигура образовалась бы передъ тобой изъ ничего на воздухѣ?

— Можно! Zwei Teufel und eine Viertel Hexe da zu... Можно! Дай мнѣ небольшой чуланчикъ позади комнаты и пологъ, а въ стѣнѣ комнаты небольшую скважину, и я тебѣ покажу на воздухѣ и чорта, и твоего отца, и дѣда...

— Да вѣдь фигура-то двигалась. Она подходила къ намъ, ходила вокругъ комнаты. Она жала наши руки—вѣдь это была живая, какъ есть живая фигура.

— Э! Хе! Je! Подмѣнили, а вы, простофили, и не замѣтили. Ловко подсунули вмѣсто проэкціи живаго человѣка! Zwei Mahl zwei Teufel macht vier Hexe mit ein Schwanz.— Ха! ха! ха!

— Да какъ же эта живая фигура будетъ носиться по комнатѣ на полъ аршина отъ полу и потомъ вдругъ подниматься къ потолку?

— Ахъ! Je! Простоволосый юноша! Поднимутъ, такъ и поднимется... скорехонько и любехонько? Снизу подопрутъ, сверху подтянутъ. Allo! Marsch! Marsch!... Бррр!... Фьють! Ха! ха! ха! ха! Фокусъ-покусъ! Ein, zwei, drei... Ха! ха! ха! ха!

И онъ покатился такимъ заразительнымъ смѣхомъ. что вся компанія захохотала...

— Ахъ! Je! Mein lieber Frizchen, слушай!—и онъ запѣлъ густымъ басомъ:

Alles Spuckerei
Ist ein Spielerei
Karten-Spielerei!
Und dann Schwindlerei
Und dann Schweinerei
Ja! blosse Schweinerei!

— А! Je! Ха! ха! ха! ха!

Я всталъ, надѣлъ шапку и крикнулъ кельнера, чтобы расплатиться.

— Слушай, Фрицхенъ!... Ха! ха! Мой добрый Фрицхенъ,— вскричалъ Пуцъ, протянувъ руку черезъ столъ и схвативъ меня за руку...—Не сердись, дорогой коллега! Я тебѣ серьезно скажу. Если бы то, что ты разсказываешь, дѣйствительно, реально существовало, то я, Карлъ Пуцъ, — чортъ меня возьми!—сейчасъ бы, не говоря лишняго слова, повѣсился... И онъ, стукнувъ кружкой по столу, прокричалъ: Ей! Kelner, Bier ohne Spuckerei!

— Къ чему же такое отчаяніе!

— А къ тому, что я не желаю быть сумасшедшимъ, не желаю потерять мой здравый смыслъ и мое человѣческое достоинство! Donner Tausend mit drei Blitzen! Умъ и здравый смыслъ—это то, что отличаетъ меня отъ животнаго, и

чѣмъ каждый умный человѣкъ долженъ дорожить. Умъ выработываетъ знаніе, науку, истину. Этой истиной я дорожу, ей я горжусь... Potz, Plotz, Tausend Millionen Plumputzen! А ты... ты... мнѣ хочешь вмѣсто истины преподносить Teufel's Breck... И хочешь, чтобы я отрекся отъ моего ума и повѣрилъ бы въ то, во что вѣритъ всякій дикарь. Да что я?.. Гдѣ я?... Карлъ-ли я Пуцъ? или bin ich Schwein?..

— Ха! ха! ха!—ха! загремѣли всѣ слушатели—Браво! браво! и вся компанія разразилась рукоплесканіями.

Я быстро пошелъ къ дверямъ.

— Эй, слушай, collega! Милѣйшій Фрицъ!

Я оглянулся. Онъ протягивалъ ко мнѣ кружку.

— Въ послѣдній разъ и на предки за здоровье той Америки, которую ты открываешь, и которая откроетъ всѣ свободные пути всѣмъ... въ сумасшедшій домъ! Ура!..

— Ха! ха! ха! ха! ха!

Я вышелъ.

IX.

Я прямо отправился въ Ульрихъ-Гассе, чтобы пройти къ Мартѣ и попробовать разузнать отъ нея, на сколько правды во всей этой исторіи.

Въ воротахъ дома, гдѣ жила Марта, я встрѣтился съ гаускнехтомъ.

— Что,—спросилъ я его,—дома Марта?

Онъ махнулъ рукой.

— Съѣхала! Совсѣмъ съѣхала!

— Какъ! Куда?—удивился я.

— Не знаю. Сама сходила въ полицію, выправила Anmeldungskarte, забрала весь свой скарбъ и исчезла...

— Вѣдь у ней было много старыхъ вещей? Все съ собой забрала?—удивился я.

Гаускнехтъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ.

— Это вы говорите о костюмахъ?

Я навострилъ уши.

— Да о костюмахъ. Вы не знаете, откуда у нея эти... тамъ, знаете, разные старинные доспѣхи, вооруженія?

— А это, видите-ли, лѣтъ пять тому назадъ пріѣхалъ сюда одинъ жидъ-антрепренеръ и завелъ здѣсь свой театръ... Вонъ гдѣ теперь домъ Шмайдля. Такъ въ этомъ самомъ домѣ. Только все это у него не пошло. Публика не ходила... Онъ задолжалъ и насилу, насилу выбрался отсюда. И весь свой гардеробъ театральный заложилъ Мартѣ за 40 талеровъ. Обѣщался выкупить скоро, да вотъ до сихъ поръ и выкупаетъ.

— Развѣ она давала деньги подъ закладъ?

— Еще бы... къ ней не разъ пріѣзжали большіе господа съ разными драгоцѣнностями...

— Да вѣдь она нищая!!.

Гаускнехтъ покрутилъ головой, зажмурилъ глаза и выпустилъ дымъ изъ своей коротенькой трубочки.

— Она только называлась нищей... Можетъ быть, когда-нибудь и была нищей... Но у насъ она не побиралась. А сколько у ней денегъ, Господь вѣдаетъ!

— Скажите, Гансъ, ходили къ ней Патеры?

— Всякій народъ ходилъ къ ней.

— А нельзя мнѣ взглянуть на ея каморку?

— Отчего же? можно... Вы нанять хотите?

— Дда! Одинъ бѣдный студентъ просилъ меня.

И Гансъ повелъ меня на задній дворъ и по знакомой лѣстницѣ наверхъ, на чердакъ.

Двери въ комнату Марты были отворены, и вся ея убогая мебель, изломанная, разбитая, валялась на полу.

— А это кто-же изломалъ все?

Гансъ не вдругъ отвѣтилъ.

— А это, знаете-ли, сегодня утромъ вдругъ вся мебель оказалась изломанной... Можетъ быть, отъ этого она и съѣхала... такъ скорехонько. Вѣдь она у насъ безъ малаго семь лѣтъ жила.

Кровати не было, и чуланчикъ стоялъ открытымъ. Я вошелъ въ него.

Въ стѣнѣ или деревянной перегородкѣ прямо противъ того мѣста, гдѣ стояла кровать, было крошечное отверстіе, не больше горошинки. При видѣ его я невольно покраснѣлъ. Мнѣ припомнились слова Пуца: «дай мнѣ небольшой чуланчикъ позади комнаты и пологъ, а въ стѣнѣ комнаты небольшую скважину, и я тебѣ и чорта, и отца, и дѣда покажу».

Я вышелъ изъ чуланчика. Гансъ стоялъ, прислонясь къ стѣнѣ, заложивъ нога на ногу и покуривалъ трубочку.

— Дда! Была она добрая старуха и смирно себя держала... А нужно правду сказать,—и онъ сильно понизилъ голосъ,—нечисто вела себя .

— Какъ нечисто?

Гансъ помолчалъ немного.

— Извѣстно какъ! Кто чорту душу продастъ, тотъ ужь не будетъ чистъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ! Скажите на милость...—И онъ отошелъ отъ стѣны и наклонился ко мнѣ.—Скажите, будутъ-ли у хорошаго человѣка по ночамъ вѣдьмы пировать?

— Какъ вѣдьмы?.. Не можетъ быть!

— Гмъ! Не можетъ быть!? — И онъ нѣсколько разъ мотнулъ головой, какъ бы говоря: мы ужъ знаемъ, что можетъ быть.—Раза два, три въ мѣсяцъ у ней ночью поднимался такой кавардакъ, что сосѣдъ внизу, г. Мейеръ, жаловался хозяину. Стукъ, гамъ, возня, точно тяжелыя бочки по полу катаютъ.

— Да это такъ что-нибудь... упало...

— Гмъ! Упало!..—И онъ опять многозначительно закивалъ головой...—Одинъ разъ — это было на Рождествѣ — мнѣ нужно было ночью идти по этой лѣстницѣ на верхъ. Поднялся я на первый этажъ. Смотрю на лѣстницѣ стоитъ женщина!.. вся въ бѣломъ... Я говорю: кто тутъ? А она ничего не отвѣтила и поднялась кверху, по лѣстницѣ... Такъ, знаете-ли, нейдетъ, а просто тихохонько поднимается. Я за ней; думаю: куда это барыня идетъ. Что же вы думаете? дошла она до ея двери и вдругъ... исчезла... сгинула, пропала. Такъ я вамъ скажу, на меня такой страхъ напалъ, что я чуть-чуть не кубаремъ слетѣлъ съ лѣстницы... Ja! Ja!

— Инегильда!—невольно подумалъ я при этомъ.

— Да можетъ быть это вамъ такъ померещилось. Въ потьмахъ, знаете-ли, часто разныя вещи представляются... Вы, можетъ быть, пошли на лѣстницу отъ сосѣдей, или изъ погребка...

— Нѣтъ! нѣтъ! ни! ни! Я не былъ пьянъ, честное слово! Я, правда, немного выпилъ, но въ головѣ все было ясно. Я помню, тогда прибѣжалъ въ пивную, а Конрадъ Швурцъ, сосѣдній гаускнехтъ, говоритъ: «что это ты какой блѣдный? Точно смерть!..»

— Это у васъ просто была галлюцинація. Есть этакіе нервные припадки, Гансъ, которые называются галлюцинаціями.

И я тихонько направился къ двери.

— Что же, не наймете комнатку? Хозяинъ ее отдѣлалъ бы заново. Новыми обоями оклеилъ.

— Нѣтъ, Гансъ... Не найму. Я, знаете-ли, думаю, что она не понравится тому, для кого я хотѣлъ нанять ее.

— Ну, какъ знаете.

Мы разстались, и я отправился къ Гельбейну. Но Гельбейна не оказалось дома. Онъ ушелъ съ ранняго утра.

Вечеромъ я снова зашелъ къ нему, но онъ еще не возвращался.

— Ушли,—сказала мнѣ горничная,—чуть заря занялась, и вотъ до сей поры нѣтъ.

Я зашелъ на другой день. Та же исторія.

— Гдѣ же онъ пропадаетъ?

— А Богъ знаетъ, — сказала хозяйка квартиры. — Никогда этого съ нимъ не было, чтобы онъ отлучался на такое долгое время, не сказавъ никому, куда онъ идетъ.

Наконецъ, на третій день онъ вернулся. Но лучше бы мнѣ было вовсе не видать его.

Онъ быстро бѣгалъ по комнатѣ, размахивая руками. Увидавъ меня, онъ остановился и какъ будто обрадовался. Онъ былъ блѣденъ и худъ. Глаза его блестѣли и бѣгали.

— Послушай! — вскричалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку.—Я видѣлъ ее.... ее...—прибавилъ онъ шепотомъ.

— Кого ее?—спросилъ я.

— Инегильду! Она говорила со мной... Вотъ, вотъ смотри, что она дала мнѣ... — И онъ отперъ и выдвинулъ ящикъ стола. Тамъ лежали бережно разложенные три маленькихъ осколка толстаго стекла и вѣтка жимолости.— Это, это,—шепталъ онъ, наклоняясь къ моему уху.—драгоцѣнности, которыя дороже всего на свѣтѣ. А эта вѣтка... это подарокъ принца Цейгсбургскаго... Она 1357 года. Да.

— Да какъ же она уцѣлѣла до сихъ поръ съ 1357 года? — удивился я.

— Это не важно! Не существенно важно! Она сохранилась духомъ... Ты понимаешь, духъ—это та живая, вѣчно ровная сама себѣ субстанція, которая все одушевляетъ и все связываетъ... любовью. А любовь есть идеальность реальности, части цѣльности бытія безконечнаго, распространеннаго на ты и я, которые вмѣстѣ составляютъ *оно*...

Я съ ужасомъ слушалъ его, и мое сердце болѣзненно сжималось. Вдругъ онъ схватилъ меня за руку.

— Слушай! слушай!—заговорилъ онъ торопливымъ шепотомъ, къ чему-то прислушиваясь.—Слушай!— и глаза его быстро забѣгали.—Это она, она... это она говоритъ... Слышишь! Слышишь!

Я тихонько высвободилъ мою руку изъ его руки и быстро вышелъ вонъ.

Я бросился въ Schulstrasse къ одному знакомому мнѣ доктору, г. Швурму, котораго, къ счастію, засталъ дома. Въ краткихъ словахъ я передалъ ему все существенное, умолчавъ, впрочемъ, объ явленіяхъ у Марты.

— Помогите, докторъ,—прибавилъ я.—Если-бы вы знали, что это за чудный юноша-философъ!

— Вотъ эта — философія-то черезъ мѣру и доводитъ вашего брата до сумасшествія,—перебилъ меня докторально Швурмъ и затѣмъ, сдѣлавъ нѣкоторыя распоряженія въ домѣ, отправился со мной.

Когда мы вошли къ Гельбейну, онъ также бѣгалъ быстро изъ угла въ уголъ, но при этомъ онъ постоянно говорилъ шепотомъ самъ съ собою.

— Да! да!.. Это вѣрно... И все туда... Тамъ свѣтъ, тамъ жизнь...

По временамъ онъ останавливался, кивалъ головой, махалъ руками, улыбался и снова начиналъ бѣгать.

Докторъ сѣлъ на стулъ, прошептавъ мнѣ:

— Не мѣшайте! я буду за нимъ наблюдать немного.

— Да! да!.. Представленіе есть воля, и воля есть субстрактъ, — шепталъ Гельбейнъ... — Все открывается черезъ него, и онъ одинъ владѣетъ чувствомъ и воспріятіемъ.

— Да его уже нѣтъ... Онъ исчезъ... — перебилъ его рѣзко и громко докторъ.

Гельбейнъ вдругъ остановился, и прыгавшіе глаза его также остановились, а все лицо покраснѣло.

— Кто исчезъ!?. Ты говоришь, онъ исчезъ! Какъ онъ можетъ исчезнуть? Какъ ты смѣешь говорить, что онъ исчезъ?.. Ты—червь... Du—Hurren-Schwein!!

Онъ неистово закричалъ и съ поднятыми кулаками бросился на доктора, который быстро поднялся и загородилъ себя столомъ. Я схватилъ Гельбейна сзади.

— Перестань! перестань!—кричалъ я.—Никто не исчезъ! Онъ пошутилъ... пошутилъ...

Докторъ между тѣмъ бокомъ, вдоль стѣнки проскользнулъ въ дверь и вышелъ.

— Какъ-же тебѣ не стыдно,—продолжалъ я его уговаривать...—Ты изъ пустяковъ подымаешь шумъ. Что скажетъ Инегильда?

Онъ вдругъ присмирѣлъ и тихо опустился на стулъ. Сильный, холодный потъ выступилъ у него на лбу.

— Инегильда!.. Свѣтлая!..—и онъ зашепталъ что-то непонятное.

Я тихонько вышелъ изъ комнаты и притворилъ дверь.

Внизу на площадкѣ стоялъ докторъ и въ полголоса разговаривалъ съ хозяйкой квартиры и горничной. Хозяйка плакала.

— Рѣшительно не знаемъ, что съ нимъ сдѣлалось,—говорила она...—Такой былъ тихій, скромный, застѣнчивый... Вдругъ пропалъ на трое сутокъ и затѣмъ... вотъ...

— Это ничего, ничего!.. Тихія натуры очень склонны къ такимъ припадкамъ,—говорилъ докторъ.

Затѣмъ онъ взялъ меня подъ руку и свелъ въ слѣдующій этажъ.

— Дѣло плохо!— сказалъ онъ...—Сейчасъ-же везите его въ больницу... сейчасъ-же! Можетъ быть, можно еще будетъ захватить... Острое помѣшательство... Оно весьма легко

переходитъ въ бѣшенство... и кончается быстро... быстро... недѣля, двѣ и—капутъ...

Вечеромъ Гельбейнъ лежалъ въ больницѣ, весь обложенный синапизмами. Ассистенты говорили, что ничего опредѣленнаго нельзя сказать. За минутнымъ облегченіемъ можетъ слѣдовать припадокъ, еще болѣе сильный и безнадежное состояніе.

Послѣднее предположеніе оправдалось. Черезъ два дня на него надѣли рубашку съ длинными рукавами, связали ему руки и засадили въ темную. Безостановочный бредъ продолжался ровно двѣ недѣли, и затѣмъ наступила агонія...

Мы всѣ, студенты-Лейпцигцы, несли гробъ его на кладбище. Всѣ любили его, какъ добраго, честнаго товарища. На могилѣ пасторъ сказалъ нѣсколько словъ о бренности надеждъ нашей земной жизни. Когда говорилъ онъ свою рѣчь, кто-то схватилъ меня сзади за руку. Я обернулся: это былъ Карлъ Пуцъ.

-- Видишь?! видишь?!.. — спросилъ онъ меня грознымъ шепотомъ, указывая на незакрытую могилу. Вотъ до чего могутъ доводить Stücken-Spucken.

Я повернулся къ нему, но онъ исчезъ въ толпѣ, и больше я не видалъ его, такъ какъ черезъ два дня я перешелъ во Франкфуртскій университетъ, гдѣ черезъ три года кончилъ курсъ докторомъ философіи.

При переходѣ въ Франкфуртъ, разъ вечеромъ я открылъ медальонъ, въ которомъ хранились волоса и записочка, писанная почеркомъ моей матери.

Я тщательно вглядывался въ почеркъ, стараясь подмѣтить хоть одну невѣрную букву. Но всѣ буквы имѣли несомнѣнный характеръ мнѣ роднаго почерка, и между тѣмъ я сжегъ эту записку, сжегъ потому, что одна мысль о возможности здѣсь подлога и мистификаціи возмущала меня

до глубины души. Медальонъ съ волосами я спряталъ и не носилъ больше.

X.

Съ тѣхъ поръ прошло 14 лѣтъ. Воспоминанье объ этой странной, печальной исторіи слилось съ другими воспоминаніями золотой юности и бурнаго студенчества. Я уже перехожу въ зрѣлый возрастъ, за которымъ незамѣтно начинается склонъ къ ранней или позднѣй могилѣ, но мое міросозерцаніе осталось на томъ же неопредѣленномъ среднемъ пути, на которомъ оно стояло при Карлѣ Пуцѣ и Гельбейнѣ.

Въ этотъ періодъ въ Германіи явился спиритизмъ и, какъ кажется, завоевываетъ мало-по-малу въ обществѣ, адептовъ въ свои пажити. Я не вѣрю въ него, не потому, чтобы считалъ не чистымъ все то, что выходитъ изъ прогрессивной Америки, полной всякихъ обмановъ и гумбуговъ... Нѣтъ! Я не вѣрю потому, что внутри меня нѣтъ довѣрія къ этимъ страннымъ фактамъ.

Я не вѣрю въ науку, какъ въ универсальную истину. Можетъ быть, въ ней и лежитъ истина, но кто мнѣ докажетъ, что эта истина не лежитъ въ человѣческомъ чувствѣ, въ томъ широкомъ чувствѣ, которое всѣхъ и всякаго, во всѣхъ возрастахъ, во всѣхъ націяхъ тянетъ далѣе, за предѣлы нашей крохотной планетки, нашего миніатюрнаго мірка.

Можно удивляться завоеваніямъ нашего ума, можно восторгаться ими; но если непремѣнно необходимо поставить что-нибудь на пьедесталъ, то я поставилъ бы чувство, то самое чувство, которое все соединяетъ и все обхватываетъ, какъ міровой великій синтезъ.

И вотъ этого чувства, этой потребности вѣрить не было, какъ мнѣ кажется, у нашего Карла Пуца. Да его нѣтъ и у меня, нѣтъ по крайней мѣрѣ, той потребности довѣриться, беззавѣтно, безъ удержу, которой былъ проникнутъ нашъ бѣдный Гельбейнъ, и за которую онъ такъ дорого поплатился.

У Карла Пуца все основывалось на безграничномъ довѣріи къ наукѣ. Онъ отбрасывалъ все, что не подходило подъ усвоенныя ею опредѣленія, и бралъ только то, что ясно было его уму.

У Гельбейна, напротивъ, чувство вѣры выходило вонъ изъ науки и шло въ тѣ неизвѣстныя области, которыя она не признаетъ, какъ фантастическія или для нея еще недоступныя.

Но что же мой взглядъ и мои отношенія между этими двумя крайними взглядами моей студенческой жизни!? Признаюсь откровенно, я считаю себя вполнѣ современнымъ человѣкомъ по моимъ взглядамъ. Во мнѣ нѣтъ ни вѣры, ни слѣпаго довѣрія—я иду туда, куда тянетъ меня сила теченія. Только я думаю, что не должно торопить и насиловать этого теченія, какихъ бы благъ или удобствъ оно не сулило намъ въ будущемъ...

Если Spucken-Stücken установятся силой фактовъ и утвердятся въ общемъ міросозерцаніи, я допущу ихъ въ свою обсерваторію такъ же, какъ я допускаю теперь грубый матеріализмъ... А до тѣхъ поръ... я полагаю, можно прожить и безъ этой роскоши ума и прихоти чувствъ, безъ этого стремленія сытаго человѣка къ легкимъ спекуляціямъ и цвѣтамъ фантазіи...

АКТРИСА.

(Изъ воспоминаній провинціала).

Я хочу положить, можетъ быть, поздній лавровый листокъ на давно забытую и мало кому извѣстную могилу; на могилу существа, прошедшаго незамѣтной тѣнью. Такъ часто, въ особенности теперь, мелькаютъ дарованія, звучатъ на одинъ краткій мигъ и исчезаютъ безслѣдно въ упорной битвѣ за право жизни!

Ее звали Анной Ивановной Т—ой. Я думаю, что я не имѣю права открывать ея фамиліи. Она такъ боялась и такъ избѣгала извѣстности. Тѣ, которые видѣли ее на провинціальныхъ сценахъ въ Нижнемъ, Пензѣ, Казани, Саратовѣ, Астрахани—тѣ узнаютъ, о комъ я говорю и подтвердятъ правду моихъ воспоминаній.

Она была въ одной изъ тѣхъ эфемерныхъ странствующихъ труппъ, которыя проходили, въ прежнее время, какъ скитальцы, изъ города въ городъ по прихоти и капризу ихъ антрепренера, самовластнаго деспота, и вездѣ въ каждомъ городѣ встрѣчали фіаско и быстро стушевывались...

Въ Казани они пробыли дольше чѣмъ гдѣ-либо, и здѣсь я съ ней познакомился случайно. Это было лѣтъ 40 тому назадъ.

Разъ осенью я шелъ поздно вечеромъ, возвращаясь домой по одной изъ дальнихъ улицъ, выходившей на большое, Арское поле. Погода была холодная, сырая. Улицы были пусты. Фонари тускло горѣли. Мелкій дождь перепадалъ почти безъ перерыву.

Проходя мимо одного каменнаго дома, я услыхалъ всхлипыванія, рыданія и оглянулся. На ступеняхъ крыльца сидѣла женщина, держала въ рукахъ корзину и плакала надъ ней.

Я подошелъ, постоялъ около нее и сѣлъ рядомъ.

— О чемъ вы плачете?.. Не могу ли чѣмъ-нибудь помочь вамъ.

— Посмотрите!.. Варвары!.. Звѣри!.. Они его бросили!— И она приподняла съ корзины какой-то обрывокъ шерстянаго платка.

Подъ нимъ тихо спалъ ребенокъ. Тусклый свѣтъ фонаря падалъ на его улыбавшееся, крохотное, красное личико. Я замѣтилъ въ складкахъ платка небольшую бумажку; развернулъ и прочелъ: «Крещена. Зовутъ Анной»...

— Такъ же какъ меня,—улыбнулась она сквозь слезы.

— Что же?..—сказалъ я.—Пойдемте, отнесемте его въ часть...

— Ахъ, нѣтъ! нѣтъ... Что вы!..—И она прижала корзину къ груди и закрыла ребенка платкомъ, какъ будто боясь, чтобъ его у ней не отняли.

— Гдѣ вы нашли его?—тихо спросилъ я.

— Здѣсь стояла корзина... Иду мимо, думаю дай посмотрю, что такое?...

— Ну такъ вотъ что надо сдѣлать,—сообразилъ я.— Пойдемте на крыльцо, позвонимте и спросимте: желаютъ-ли взять ребенка на воспитаніе или нѣтъ?...

Она согласилась. Я позвонилъ, и къ намъ вышла просто деревенская баба. Оказалось, что здѣсь жилъ богатый купецъ Крупичниковъ. Я объяснилъ, въ чемъ дѣло, и послѣ разныхъ разспросовъ, допросовъ и удивленія, ребенка взяли...

Она перекрестилась и мы отправились вмѣстѣ.

Ей тогда было лѣтъ 18, 20—не больше. Черты неправильны, лицо чисто русское. Большіе голубые блестящіе глаза, густыя русыя брови и довольно крупный ротъ, съ котораго почти не сходила добрая улыбка.

Во всемъ лицѣ ея была такая же наивная прелесть, какъ въ лицѣ добраго ребенка. Но всего симпатичнѣе былъ ея голосъ. Грудной, сильный, пѣвучій и бархатный.

Я проводилъ её до дому. Она жила недалеко, вмѣстѣ съ маленькой сестрой и подругой, которая занимала амплуа комическихъ ролей, впрочемъ, при случаѣ играла добродѣтельныхъ женщинъ и герцогинь.

Наше знакомство продолжалось не болѣе мѣсяца, но съ первыхъ же трехъ дней мы сошлись такъ, какъ будто были знакомы съ дѣтства.

Первая піеса, въ которой я увидалъ ее, была: *Материнское благословеніе*. Театръ былъ почти пустъ. Обстановка была невозможна; играть ей было очевидно тяжело, трудно. Никто не могъ поддержать ее, ни въ комъ не было отвѣта, но она играла съ тѣмъ глубокимъ внутреннимъ жаромъ, который даетъ смыслъ и жизнь каждому слову и который въ самомъ себѣ находитъ отвѣтъ и удовлетвореніе. Публика почти молчала. Только въ четвертомъ актѣ, когда Анна Ивановна запѣла: «Въ хижину бѣдную», эта разношерстная холодная публика оживилась. И съ какимъ-же глубокимъ, неподдѣльнымъ чувствомъ пѣла она! Голосъ дрожалъ отъ слезъ. Въ немъ слышалась такая искренняя, глубокая горечь разлуки.

Когда опустили занавѣсъ, я пошелъ за кулисы. (Въ про-

винціальныхъ театрахъ доступъ за кулисы въ то время былъ почти для всѣхъ свободенъ). Я нашелъ ее въ небольшомъ чуланчикѣ, тускло освѣщенномъ масляной лампочкой. Этотъ чуланчикъ назывался уборной.

Она сидѣла въ углу на опрокинутомъ ящикѣ и плакала.

— О чемъ вы?... что съ вами?!—удивился я.

Она быстро подняла голову и наивно улыбнулась.

— Такъ... у меня глаза, говорятъ, на мокромъ мѣстѣ... Мнѣ жаль Маріи... Жаль отца ея, мать... Я часто думаю... Отчего у меня нѣтъ никого? Ни отца... ни матери...

И слезы снова побѣжали изъ ея глазъ..

— Вы сирота?

Она кивнула головой, прямо смотря на меня большими блестящими полными слезъ глазами и стараясь сдержать невольно прыгающія губы...

Затѣмъ я видѣлъ ее въ десяткѣ пьесъ... большею частію переводныхъ, пошлыхъ, балаганныхъ... въ которыхъ не было смысла, а были одни раздирательные или убійственные эффекты .. Но въ каждой пьесѣ она выдавалась, мало того, она была самобытна.

Безъ школы, безъ руководства, безъ образованія, простая мѣщанка! Откуда у ней бралось это, тонкое и глубокое, пониманіе натуры человѣка!? И тогда я уразумѣлъ, какое громадное значеніе для таланта имѣютъ: прирожденныя способности. Какъ инстинктивно природа сама подсказываетъ и тактъ, и толкъ, и мѣру во всѣхъ психическихъ движеніяхъ.

Она любила театръ, хотя попала въ него случайно.

— Знаете-ли, на сценѣ... какъ-то оживаешь,—говорила она.—И не знаю, какъ вамъ сказать... Тутъ волнуешься и любишь, и страдаешь... и чувствуешь, что и публика тоже... Что она вмѣстѣ съ тобой волнуется... И вотъ это, знаете,

пріятно... Удивительно пріятно... Чувствуешь, что ты не одна... Вы понимаете?..

Жалованье она получала мизерное. Если только полулучала. Приводилось не рѣдко сидѣть безъ денегъ, но этого она не замѣчала и никому не жаловалась.

И какъ-то странно! Она вовсе не знала цѣны деньгамъ... Она сдѣлаетъ что-нибудь ея сестрѣ, дѣвочкѣ, которую воспитывала, а остальное разбросаетъ безъ толку, по первому движенію сердца... Раздастъ просто нищимъ.

Подруга ея горько и желчно жаловалась на эту безалаберность.

— Вѣдь вотъ посмотрите,—говорила она...—сидитъ въ дырявыхъ башмакахъ... И завтра будетъ въ нихъ играть герцогиню... Ходитъ всегда шлюхой одѣта... Ничего у ней нѣтъ... Просто противно даже!..

— Что-же дѣлать?..—оправдывалась Анна Ивановна.— Не могу же я совладать съ сердцемъ... Увидишь бѣднаго, поговоришь съ нимъ и вся душа въ тебѣ перевернется... Кажется бы вотъ все съ себя снялъ и отдалъ...

— Да ты то сама... развѣ не бѣдная!?—возражала подруга.

— Вѣдь есть нищіе богаче многихъ богачей,—вставилъ я.

— Ахъ нѣтъ!—заволновалась она.—Вѣдь я, все-таки, не такъ... просто даю... Разговоришься съ бѣднымъ... Пойдешь съ нимъ, посмотришь, гдѣ и какъ живетъ... Ахъ!..— и она вдругъ заплакала.—Ни сѣсть, ни лѣчь не на чемъ, сырая земля... А тутъ ребеночекъ маленькій... ползаетъ и пищитъ, такъ жалобно... Нѣтъ... Вы, пожалуйста, мнѣ не напоминайте!..

Черезъ мѣсяцъ её увезли на югъ, а черезъ два года мы снова встрѣтились въ Москвѣ.

Не знаю, какимъ чудомъ она попала на сцену Большаго театра. Но дальше перваго дебюта не пошла. Публика раз-

дѣлилась. Почти половина театра слабо апплодировала, но вся остальная публика молчала или неистово шикала. Поклонники старой, опытной и талантливой Н... видѣли въ этой молодой дебютанткѣ опасную соперницу.

Я уговаривалъ её выступить еще разъ, попробовать силы въ «Материнскомъ благословеніи».

— Зачѣмъ?!—говорила она.—Вѣдь, у нихъ есть-же Н... Она лучше меня... Ученая... Вѣдь, это все князь К. выдумалъ... Я вовсе не за тѣмъ пріѣхала въ Москву... Я пріѣхала получить наслѣдство отъ тетки... И никому мѣшать не буду... Зачѣмъ мѣшать?.. Это такъ... знаете-ли... тяжело...—прибавила она и вздохнула.

И дѣйствительно, она получила наслѣдство и уѣхала опять въ провинцію. Какъ было велико это наслѣдство и на сколько достало ей—я не знаю.

Наконецъ, мы встрѣтились съ ней еще разъ и въ послѣдній разъ. Это было въ Нижнемъ. Я только-что пріѣхалъ и узналъ, что она играетъ въ «Какъ поживешь, такъ и прослывешь». Меня манилъ въ спектакль не одинъ интересъ свиданія съ старой, симпатичной знакомой. Но вопросъ: что она сдѣлаетъ изъ этой роли Маргариты?.. Вѣдь къ ней она вовсе не шла.

Когда она явилась на сцену, я не узналъ ея. Это была тѣнь прежней Анны Ивановны. Мнѣ казалось, что самая фигура ея нѣсколько сгорбилась. И эта необычайная, чрезмѣрная худоба, эти черезчуръ большіе глаза!.. Но по прежнему все лицо ея дышало добротой, наивностью и именно эта черта придала ея роли особый, совершенно оригинальный оттѣнокъ. Я увидѣлъ, вмѣсто кокотки Маргариты, наивнаго, милаго ребенка, котораго бросила судьба въ когти разврата. Она, казалось, играла жизнью и не давала никакого значенія себѣ, своей жертвѣ. Все вышло у ней какъ-то просто—само собой.

Я видѣлъ послѣ того много разныхъ Маргаритъ, видѣлъ таланты европейскіе. Но всегда, при всякомъ представленіи, я не могъ досидѣть до конца... Той, особенной, доброй, простодушной Маргариты я не встрѣчалъ.

Надъ послѣднимъ актомъ весь театръ плакалъ. Она не играла—нѣтъ. Это была сама натура, это былъ естественный, надрывающій душу, кашель. Смерть уже наклонялась надъ ней. И скоротечная чахотка торопилась докончить ея дѣло...

Послѣ піесы она должна была пропѣть въ дивиртиссементѣ какой-то романсъ. Антрепренеръ наложилъ на неё послѣ пятаго акта піесы еще эту казнь. Вѣдь все равно—она умретъ. Она пѣла своимъ пѣвучимъ, бархатистымъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы. Она пѣла о веснѣ, о солнцѣ юга, о любви и восторгахъ... И мнѣ невольно припомнилось...

Не такъ-ли звѣздочка съ небесъ
Срываясь упадаетъ
И на лету свои лучи
Послѣдніе роняетъ...

На другой день я былъ у ней... Она не могла уже вставать; лежала, но меня приняла... и видимо обрадовалась мнѣ...

Она была опять на прежнемъ положеніи. Безъ гроша, въ рукахъ эксплуататора. Притомъ, теперь она была одна... Сестра умерла въ прошломъ году отъ дифтерита...

— Анна Ивановна,—сказалъ я ей,—добрая моя, что вы съ собой сдѣлали?!. Вѣдь не судьба васъ гнала, а вы сами себѣ устроили свою судьбу... У васъ былъ талантъ и, можетъ быть... громадный талантъ... вы, вы сами его зарыли въ землю...

— Ахъ! зачѣмъ вы это говорите!..—заметалась она.—Развѣ я не старалась... Развѣ я когда-нибудь играла спустя

рукава... Развѣ... публика не была мной всегда довольна... Знаете-ли, въ П... меня несли на рукахъ изъ театра до квартиры.

— И вамъ это доставило большую радость, удовольствіе... Торжество дарованія... Неправда-ли?..

— Ахъ! нѣтъ... нѣтъ... что вы!.. Я просто плакала, я умоляла, чтобы меня отпустили... а они не слушались...

Что-же было говорить больше!?.. Мы, очевидно, другъ друга не понимали...

Черезъ полчаса она впала въ забытье. А черезъ два дня ея не стало.

Товарищи сложились и похоронили ее на свой счетъ...

Я думаю теперь невольно: для чего-же являются въ жизни такія натуры—если сама жизнь не можетъ обойтись безъ борьбы, безъ жертвъ—если каждый въ ней долженъ имѣть клювъ и когти, и не имѣть состраданія или обладать имъ въ законной мѣрѣ, чтобы себѣ не повредить?.. Для чего?..

И неужели-же на свѣтѣ всегда должны быть жертвами такія добрыя, простыя, любящія и талантливыя натуры—какой была она?.. Вотъ тяжелый вопросъ!..

ГРИЗЛИ.

(Поэма-фантазія).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Тихія звѣзды. Робкіе звуки. Трепетъ, мерцаніе мѣсячной ночи. Ароматы луговъ, ароматы лѣсовъ. Журчанье ручья серебристаго.

Тысячи образовъ стелются, вьются надъ лугомъ, надъ рощей, надъ рѣчкой. Тысячи головокъ смотрятъ сквозь вѣтви, смѣются и крадутся, шепчутся и шалятъ, шалятъ безъ конца.

Вотъ одинъ зацѣпился на вѣткѣ и махаетъ, трепещется легкими крылышками. Къ нему прицѣпился цѣлый рой. Точно пчелы въ ульѣ, точно обезьянки-игрунки въ лѣсахъ Брамагамы.

Вотъ поднялись, вспорхнули, полетѣли высоко, высоко. Улетѣли гирляндой, вѣнкомъ; играютъ и тѣшатся, мерцаютъ звѣздочками, сіяютъ мѣсяцемъ, расплываются бѣлымъ туманомъ.

И носятся, порхаютъ вмѣстѣ съ ними чудные звуки. Съ

теплымъ ночнымъ вѣтеркомъ, что несется съ пахучаго луга, тихо, чуть слышно, налетаютъ они и плывутъ-плывутъ надъ долиной. Смѣются и плачутъ, хохочутъ и стонутъ чудные звуки и торжественно, гордо, поднимаются на горныя вершины—туда, гдѣ улеглись облака на ночевую и мирно дремлютъ, сторожа бури и громы.

И вмѣстѣ съ этими звуками порхаетъ Гризли, чудная Гризли!

Головка у ней—вся въ черныхъ длинныхъ кудряхъ, и кудри шалуньи постоянно играютъ и съ шумной бурей, и съ тихимъ ночнымъ вѣтеркомъ-музыкантомъ, что самъ умѣетъ играть на эолотой арфѣ.

А глаза у ней, словно черныя звѣздочки,—ласковыя и тихія, точно они думаютъ и не могутъ надуматься. Но о чемъ же они думаютъ? О цвѣтахъ луговыхъ: хорошо-ль имъ живется, подъ дождемъ и солнцемъ, на вольномъ просторѣ Божьяго міра? Думаютъ о птицахъ небесныхъ, что собираютъ Божьи слова, даромъ упавшія на безплодную почву,—думаютъ о горѣ тяжеломъ, что ростетъ подъ крестами, на Божьей траурной нивѣ...

— Гризли! Гризли!..—и проносятся мимо нея милые шалуны и шалуньи, порхаютъ и рѣзвятся.

Но Гризли—ни привѣта, ни отвѣта. Молчитъ и думаетъ, не улыбнется.

— Неулыба! Неулыба!—дразнятъ ее.—Улыбнись хоть на меня,—и онъ вертится передъ ней, весь спрятался въ опрокинутый колокольчикъ,—а изъ этого колокольчика видны только крохотныя ножки, что мелькаютъ и сѣменятъ, точно у бѣсенка передъ заутреней.

— Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба!—и онъ перескочилъ сквозь три паутинки и весь въ паутинкахъ присѣдаетъ передъ ней и смѣется.

— Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба!—и онъ прикрылся

грибомъ, точно шапкой-китайкой, и пляшетъ передъ ней Сарабанду.

— Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба!—и онъ брызжетъ на нее изъ махроваго розана чистыми слезинками росы небесной.

А сбоку и сверху и снизу налетаютъ на нее цѣлые хороводы. И подъ звуки полевыхъ колокольчиковъ, подъ пѣсни душистыхъ ландышей и фіалокъ, подъ хлопанье полевыхъ хлопушекъ, подъ журчанье ночныхъ бабочекъ, они несутся, хватаютъ, влекутъ Гризли, кружатся, точно птички.

Разлетаются. заплетаются гирляндами, вѣнками, танцуютъ въ звенящихъ лучахъ Май-мѣсяца. И лучи точно струнки, по которымъ взадъ и впередъ снуютъ и прыгаютъ маленькія звѣздочки.

А вонъ летучія мыши.

— Кышъ! Кышъ!—Моськи курносыя, крысьи мордочки!

И мыши пищатъ и летятъ, улепетываютъ.

— Кышъ! Кышъ!—кошка летитъ!

А вонъ сова.

— О! глазастая животина!

И они всѣ набросились на сову.—Машетъ, машетъ она крыльями, не отмашется, щелкаетъ носомъ не отщелкается. Совсѣмъ одурѣла—таращитъ глаза.

— Садись, Гризли!—кричатъ—садись, неулыба!

И они сажаютъ Гризли на сову и хохочутъ—хохочутъ, несутся.

Совка! Совка!
Славная Совка!
Сѣрая Совка!
Неси нашу Гризли,
Неси не лѣнися...
По лѣсу проѣдемъ,
По лугу прокатимъ.
Мѣсяцъ намъ посвѣтитъ,

Вѣтерокъ подунетъ,
Травка колыхнется,
Сердце встрепенется...

И смѣхъ, и пѣсни!..

Вотъ впереди ѣдетъ, осѣдлалъ улитку, и такъ и хлещетъ ее полевой былинкой, а улитка растерялась, ползетъ-ползетъ глупая, вытаращила рога. То ее къ верху подниметъ, то ее на землю броситъ.

А вотъ несется на паутинкѣ, точно на коврѣ самолетѣ—и всѣмъ кричитъ:

— Пади! Задавимъ!

А вонъ обсѣдлалъ жука-рогача и дергаетъ-дергаетъ его за рога. А жукъ—идетъ иноходью.

А вонъ ужъ просто скачетъ верхомъ, незнаю на чемъ, катитъ и кричитъ:

— Я раньше всѣхъ пріѣду! Раньше всѣхъ!

А бабочки такъ и вьются около нихъ; думаютъ, что все это цвѣты пахучіе, что духами пахнутъ.

И всѣ поютъ, шумятъ, свистятъ, хохочутъ—точно маленькія дѣти.

А съ востока ужь тянетъ утренній вѣтерокъ и гонитъ прочь всю веселую компанію.

— Кышъ! Кышъ! Ступайте спать, неугомонныя! Солнце встаетъ, алая зорька занимается, небо румянится, моется, прибирается, встрѣчать солнце собирается!..

И неугомонныя всѣ разлетаются, всѣ по своимъ мѣстамъ,—садовыя въ садъ, луговыя—въ луга лѣсныя,—по лѣсу.

— Ай, ай!—кричатъ. — Тише! тише! Василекъ придавили. — Но Василекъ встряхнулся, поправился и прямо юркнулъ въ хлѣба, что налились спѣлымъ колосомъ.

— Ну васъ!—говоритъ—всѣ мои маншетки испортили, а прачька ихъ такъ синила, синила!..

А зорька становится все яснѣе, румянѣе, и вслѣдъ за

И нянька креститъ ее, молитвы причитываетъ и не можетъ разбудить ее. Не могутъ разбудить и гувернантка, и старая тетка, что пріѣхала взглянуть на племянницу-внучку. Посмотрѣла, подивилась и не велѣла будить ее. Вѣдь, невпервые спать ей по цѣлымъ днямъ. Еще прошлымъ годомъ, тоже въ маѣ мѣсяцѣ, спала она цѣлыхъ три дня и три ночи безъ просыпу.

III.

Тихо! тихо!..

Старыя тѣни слетаются въ старый домъ. И стоитъ старый домъ словно дремлетъ—среди сада и парка, подъ пологомъ тумана, что подымается надъ большимъ прудомъ, обросшимъ старыми ветлами.

Старыя тѣни толпятся въ большихъ старыхъ залахъ.

Выходятъ портреты изъ старыхъ золоченныхъ рамъ—портреты въ фижмахъ, камзолахъ, парикахъ и робронахъ; они чинно расходятся и сходятся,—чинно раскланиваются, расхаживаютъ по заламъ, садятся, открываютъ серебряныя табакерки, стучатъ длинными палками и говорятъ другъ другу одно и то-же, качая сѣдыми головами:

— Прошло наше время! Наше время прошло!

Вонъ стоитъ и она—чудная, роскошная, до времени увядшая,—увядшая какъ цвѣтокъ, что выросъ на безплодномъ полѣ. Это мама Гризли.

— Ты была моей женой! Да, ты была моей женой, и у тебя одного недоставало: твердости характера,—твердости духа!—говоритъ высокій, сгорбленный, сѣдой старикъ съ черными бровями, съ носомъ крючкомъ,—старикъ весь въ черномъ, напудренный, застегнутый на всѣ пуговицы длиннаго камзола,—точно патеръ. Это отецъ Гризли.

Тихо! Тихо!

Выходятъ, клубятся старыя тѣни. Расплываются, исчезаютъ.

— Наше время прошло! Наше время прошло!

— Да, въ тебѣ не было характера,—говоритъ строгій старикъ и стучитъ своей высокой палкой.

— Оставьте ее!—говоритъ старая, высокая, сѣдая старуха въ робронѣ, бабушка Гризли,—вы и при жизни не мало надъ ней мудрили. Тамъ счеты кончены,—тамъ, предъ престоломъ Высшей Правды.

И она проносится, какъ дымъ.

Старый старикъ идетъ въ угольную, къ своему пузатому бюро, съ мѣдными львами и бусами. Тамъ была его берлога. Оттуда онъ всѣхъ казнилъ своими бумагами, и всѣ дрожали передъ строгимъ старикомъ. Тамъ и до сихъ поръ стоитъ его длинный письменный столъ, покрытый черной кожей, столъ на трехъ тумбахъ, со множествомъ шкафчиковъ, ящичковъ, комодиковъ и секретныхъ канурокъ. Тамъ стоитъ и кресло его, высокое кресло съ прямой спинкой, также обитое черной кожей съ мѣдными гвоздиками. И надъ самой спинкой виситъ простой деревянный треугольникъ съ отвѣсомъ. А передъ кресломъ лежитъ черный медвѣдь и до сихъ поръ на его шкурѣ видны слѣды старыхъ туфель стараго старика. А со стѣнъ смотрятъ въ золотыхъ и черныхъ рамахъ Яковъ Бэмъ, Эразмъ Роттердамскій, Бэконъ Веруламскій, Лейбницъ, Монтескьё, Дидро, Вольтеръ, Д'Аламбертъ, Руссо и цѣлый рядъ людей, когда-то жившихъ, думавшихъ и двигавшихъ впередъ человѣка.

Тѣни, старыя тѣни клубятся...

— Наше время прошло, наше время прошло!

Тихо... Тихо...

Подходитъ старикъ къ бюро, открываетъ пузатую крышку и скрипятъ старыя петли. Вотъ она старая бумага —

онъ вынулъ ее, раскрылъ. Онъ надѣваетъ очки и пробѣгаетъ ее:

«Во имя Отца и Сына и св. Духа. Я въ полномъ умѣ и памяти...»

Клубятся старыя тѣни...

«Все мое наслѣдственное... завѣщаю моей дочери Гризли...

«И жить ей въ старомъ домѣ и ничѣмъ не стѣснять ея воли, и воспитаніе ея поручаю теткѣ моей...

«И властна она распоряжаться всѣмъ ея имѣніемъ по ея волѣ...

— Да, непремѣнно по ея волѣ!..

И съ страшной болью въ сердцѣ вспоминаетъ онъ, что уничтожилъ чужую волю, а вмѣстѣ съ ней и самую жизнь, увядшую какъ майскій цвѣтокъ...

Вотъ она—блѣдная, запуганная, грустная—смотритъ на него изъ-за большой ландкарты, что виситъ на стѣнѣ и укоризненно киваетъ головой. Онъ съ бѣшенствомъ вскакиваетъ и стучитъ по полу своей длинной, тяжелой палкой.

— У тебя не было характера! у тебя не было характера!— кричитъ онъ.

Но что-же сдѣлалъ онъ съ его сильнымъ характеромъ?

Онъ вспоминаетъ о Гризли, о шестилѣтнемъ ребенкѣ, съ которымъ онъ не разставался день и ночь; вспоминаетъ, какъ онъ заставилъ этого страстно любимаго ребенка выучить наизусть свое завѣщаніе.

«И властна она распоряжаться всѣмъ своимъ имѣніемъ и собственною судьбою по своей волѣ. И никто не имѣетъ права нарушать этой воли...»

И онъ вспоминаетъ, какъ заставилъ поклясться старую тетку, свою сестру, поклясться, что послѣдняя его воля будетъ свято исполнена. Поклясться на томъ самомъ большомъ старинномъ образѣ, который теперь виситъ тамъ въ

углу и къ которому онъ самъ приложился, когда его соборовали...

Тихо... Тихо...

Старыя тѣни клубятся въ старомъ домѣ. Собираются, расплываются, исчезаютъ... Тихо раздвигаются портьеры. Тихо входитъ Гризли,—не входитъ, а плыветъ, несется, не касаясь пола. И бѣлѣетъ въ сумракѣ ночи ея бѣлая кружевная блузка, бѣлѣетъ въ лучахъ мѣсяца, по которымъ клубятся, снуютъ старыя тѣни...

— Я прапрабабка твоя,—шамкаетъ передъ Гризли толстая старуха въ шитомъ золотомъ сарафанѣ, и блеститъ весь сарафанъ камнями самоцвѣтными, а на шеѣ дорогое ожерелье, все изъ крупнаго жемчуга.

— Я твой прадѣдъ,—говоритъ полный мужчина въ преображенскомъ мундирѣ и въ андреевской лентѣ съ большой блестящей звѣздой на груди и царскимъ портретомъ на шеѣ.

— Я твоя прабабка,—говоритъ полная женщина вся въ фижмахъ, съ высокимъ, высокимъ шлыкомъ-кораблемъ на головѣ и вся голова въ пудрѣ, и все лицо въ мушкахъ.

— Я твой дѣдъ, Гризли,—говоритъ высокій, плотный мужчина, въ расшитомъ золотомъ бархатномъ кафтанѣ, и весь кафтанъ сіяетъ звѣздами...

И встаютъ однѣ за другими и проносятся, клубятся старыя тѣни... Встаютъ ряды поколѣній... и уходятъ въ безконечную даль минувшаго.

— Наше время прошло! Наше время прошло!

И кружится головка Гризли отъ этой безконечной вереницы отжившаго. Сѣдая вѣчность глядитъ на нее, изъ бездны прошлаго, и страшно становится ей на той вершинѣ, гдѣ стоитъ ея молодая, только-что начинающаяся дѣтская жизнь.

Она со страхомъ и трепетомъ заглянула-бы въ тайники

грядущаго. Но старыя тѣни молчатъ, клубятся, мелькаютъ, плывутъ, расплываются.

— Ты наша выросшая, выхоленная, старая вѣтка,—говоритъ сѣдой старикъ.

— Ты надежда нашего стараго рода,—говоритъ прабабушка.

— Ты все, чѣмъ мы жили столько вѣковъ,—говоритъ угрюмый, степенный прапрадѣдъ.—Потому что ничего не исчезаетъ изъ стараго, все развивается, все развивается—и новая жизнь наплываетъ на старые обломки.

— Наше время прошло! Наше время прошло!—шепчутъ старыя стѣны и портреты на старыхъ стѣнахъ.

— Наше время прошло! Наше время прошло!—повторяютъ тѣни прошлаго, грустно качая головами.

Тихо... Тихо... Тихо!..

IV.

— Ахъ, няня, какъ я долго спала! Уже день на дворѣ и солнышко свѣтитъ!

— Долго, долго, моя радостная!—говоритъ няня и креститъ Гризли, и плачетъ надъ ней.

— Что же ты плачешь надо мной?

— Охъ, свѣтикъ ты мой радостный! Какъ же мнѣ не плакать! Шутка сказать: цѣлыя сутки спала, родненькая моя!—И няня заливается и цѣлуетъ и ручки, и ножки у Гризли.—Вѣдь этакъ, говорятъ, и мама твоя умерла... Ясный свѣтъ княгинюшка... заснула и цѣлую недѣлю лежала и такъ отошла къ Господу!—И няня плачетъ и крестится.

— А я видѣла во снѣ, няня... что-то странное видѣла я... стариковъ и старухъ, и будто все это были мои прабабушки и прадѣдушки... Потомъ... потомъ... Ахъ, дай мнѣ

вспомнить! видѣла я чудныхъ дѣвушекъ... мы всѣ летали надъ водой надъ нашимъ прудомъ... и ахъ, какъ хороши были эти дѣвушки!.. И Гризли опустила голову на ручки, и вся погрузилась въ созерцаніе картинъ, которыя развертывались передъ ея глазами...

— Только что же мнѣ говорили эти дѣвушки?.. Ахъ, дай мнѣ вспомнить, не мѣшай, няня!..

— Полно думать, послѣ вспомнишь, моя ясочка! Я тебѣ молочка принесла... Посмотри, какое славное молочко!

И Гризли вся встрепенулась.

— Давай, давай! Я страшно ѣсть хочу.

И она съ жадностью принялась за молоко и за булку, а старая няня глядѣла, не могла наглядѣться на свою ясную звѣздочку,—и глаза ея радостно свѣтились, и вся-бы она такъ бы всю-бы себя отдала за свою родимую княженьку.

— Ну, я теперь гулять пойду, няня.—И, громко чмокнувъ старую няню и на ходу доѣдая булку, Гризли вспорхнула, какъ легкая пташка.

Такъ все свѣжо и ново казалось ей,—все, что она цѣлый день не видала. Точно послѣ долгой разлуки встрѣчали ее нарядныя залы и бронзы, и статуи. Съ такимъ удовольствіемъ она входитъ въ большую, парадную залу, въ два свѣта, бѣлую, съ колоннами, всю убранную лѣпкой и позолотой. Съ самаго потолка свѣшиваются три громадныя люстры, закутанныя кисейными чехлами; но и сквозь эти чехлы сверкаютъ, свѣтятся хрустальныя граненныя подвѣски, которыми онѣ всѣ увѣшаны, а вечеромъ — вспоминаетъ Гризли—ахъ, какъ хорошо вечеромъ горятъ всѣ эти подвѣски брилліантовыми огоньками!... А вонъ по бокамъ раззолоченныхъ дверей стоятъ двѣ женщины съ крыльями; онѣ бѣгутъ, торопятся и несутъ въ рукахъ огромныя бронзовыя канделябры. Ихъ строгія, красивыя лица смотрятъ сурово. На головахъ, съ распущенными летящими волосами, свер-

каютъ огни, и Гризли кажется, что это дѣйствительно свѣтящіеся огни, а не языки изъ мрамора. И въ каждой складкѣ широкихъ одеждъ этихъ чудныхъ женщинъ видна жизнь, движенье.

— Это геніи свѣта,—думаетъ Гризли, — онѣ вносятъ свѣтъ въ эту залу.—И она оглядывается на темные хоры, что чернѣютъ подъ широкими арками, тамъ, вверху, надъ колоннами, за золочеными перилами изъ пузатыхъ балясинъ.

Она идетъ дальше, въ гостинную, также всю раззолоченную, съ бѣлою раззолоченною мебелью, и каждый диванъ и кресло стоятъ на львиныхъ ножкахъ, а сверху изъ ручекъ смотрятъ золотыя львиныя рожи и широко разѣваютъ свои позолоченныя пасти. Желтый штофъ на креслахъ, съ широкими разводами, и желтыя штофныя портьеры съ золотыми снурами и кистями спускаются чуть не съ потолка, а между нихъ, въ узкихъ простѣнкахъ, длинныя, длинныя составныя зеркала, тоже въ бѣлыхъ узенькихъ позолоченныхъ рамахъ.

А на подзеркальникахъ, на львиныхъ лапахъ, стоятъ фарфоровые, бронзовые часы. Вонъ стоитъ пастушка съ овечками, а пастушокъ наигрываетъ на свирѣли, и она такъ довольна, съ такой любовью смотритъ на своихъ овечекъ. Вонъ бронзовый амуръ со слезамы умоляетъ сидящую передъ нимъ красивую женщину въ классическомъ пеплумѣ, но женщина неумолима. Она схватила его за крыло съ твердой рѣшимостью обрѣзать это крыло; и держитъ раскрытыя въ рукахъ ножницы. Бѣдный амуръ! вѣрно нашалилъ не въ мѣру!?

А тамъ вонъ, въ углу, около маленькаго диванчика, пріютился другой, мраморный амуръ, на мраморной колонкѣ. Онъ такъ плутовски присѣлъ и лукаво улыбается, и подмигиваетъ лѣвымъ глазомъ, и приставилъ правый палецъ къ губамъ, что даже Гризли нужно много силы, чтобы не

улыбнуться. Она отвертывается отъ этого назойливаго, шаловливаго мальчика и идетъ къ другому, въ другой уголъ, голому ангельчику на колѣняхъ. Онъ молится; онъ такъ покорно, съ такой любовью сложилъ на груди свои пухленькія ручки и трепетныя крылья за спиной. Онъ смотритъ съ такой простотой и невинностью вверхъ, туда, на небо, и, кажется, сверкаютъ слѣпые бѣлки его глазъ и шевелятся уста, произнося горячую молитву.

— Господи!—думаетъ Гризли:—сдѣлай и меня такой же благочестивой, чтобы и я постоянно молилась Тебѣ, доброму, прекрасному, правдивому!—И она крестится, складываетъ ручки, и слезки набѣгаютъ на ея большіе, большіе черные глазки...

Она отвертывается и идетъ дальше, въ другую гостинную, гдѣ мебель обита голубымъ штофомъ, и гдѣ всѣ стѣны увѣшены картинами, большими и маленькими картинами, въ золотыхъ рамахъ. Она такъ любитъ смотрѣть на эти картины!..

Вотъ Авраамъ убиваетъ Исаака, и Исаакъ покорно согнулъ свою голову и стоитъ на колѣняхъ на сложенномъ кострѣ, со связанными руками за спиной. Но ангелъ Божій схватилъ руку покорнаго Авраама и указываетъ тамъ, вдали, на потемнѣвшемъ углу картины, маленькаго барашка, запутавшагося рогами въ кустарникѣ. Ахъ, какъ хорошъ этотъ ангелъ! Какъ невыразимо красиво его лицо—доброе, безстрастное! А лицо Авраама, по которому текутъ слезы, слезы беззавѣтной вѣры и смиренія!?.

А вотъ Юдифь, отрубающая голову Олоферну. Онъ спитъ, разметался, и какъ страшно его черное лицо съ сверкающими, оскаленными зубами. А она еще не вѣритъ въ свой подвигъ; она оперлась на мечъ, стоитъ на колѣняхъ и молится, чтобы Богъ, правотворящій, укрѣпилъ ея мстящую, освобождающую руку, направилъ, поддержалъ ея

страшный ударъ. О, какъ хорошо лицо ея. Все въ свѣту—восторженное, мужественное, обрамленное роскошными темными волосами. О! она поразитъ, она непремѣнно поразитъ это чудовище, что спитъ передъ ней, въ пьяномъ забытьи. Богъ каратель укрѣпитъ ея руку!

А вотъ Иродіада въ темницѣ. Она отвернула головку и искоса смотритъ на другую голову, что кладутъ ей на блюдо, которое она держитъ въ рукахъ: на праведную, свѣже-отрубленную голову. съ которой текутъ ручьи чистой, святой крови—голову, свершившую свое дѣло и закрѣпившую его своей честной, мученической кровью... Земное свершилось! Нетлѣнное отлетѣло.

Вотъ маленькая картинка—но скрыто въ ней много великаго. Маленькая пещерка и лежитъ въ ней крохотный Младенецъ,—лежитъ на рукахъ улыбающейся Матери. Все въ пещерѣ полно свѣтомъ отъ этого Младенца: упалъ этотъ свѣтъ на овечекъ, лежащихъ у ногъ Младенца, и кверху, къ небесамъ, идутъ эти лучи,—а по лучамъ сходятъ цѣлыя вереницы ангеловъ и херувимовъ... Такъ радостны ихъ лица, такъ громко поютъ они радостную пѣсню всей земли!.. А издали идутъ свѣточи міра, ученые мудрецы, поклониться чудному новому свѣту...

Гризли пропускаетъ цѣлый рядъ картинъ: всѣ онѣ хороши, но всѣ онѣ почернѣли и нельзя ихъ смотрѣть долго—онѣ утомляютъ.

Она идетъ въ третью гостинную. Тамъ по всѣмъ угламъ стоятъ мраморныя статуи—бѣлыя на темномъ фонѣ малиновыхъ штофныхъ обоевъ. Изъ всѣхъ этихъ статуй Гризли любитъ одну: это хорошенькая дѣвушка—стройная, граціозная; которая держитъ въ ручкахъ бабочку. Она смотритъ на нее такъ сосредоточенно, какъ-будто думаетъ: куда улетитъ эта бабочка, исчезнетъ ли она въ воздухѣ, вспорхнетъ ли къ небесамъ, туда, къ престолу вѣчной, неизмѣн-

ной, никогда неувядающей красы!.. Да не все ли человѣчество думаетъ ту же думу?!

А въ другомъ углу борются два борца, и одинъ уже повалилъ другаго и завернулъ ему руку за спину и замахнулся другой рукой.—Бѣдный борецъ! а онъ такой хорошенькій; но красота и правда не всегда торжествуютъ... Какъ страшно натянулись всѣ ихъ мышцы!.. Сила!.. Сила!.. вотъ что сильнѣе всего на свѣтѣ.

Гризли подходитъ къ срединѣ залы, гдѣ свѣтъ падаетъ прямо изъ большаго окна въ потолкѣ, падаетъ на узорчатый полъ и на чудную группу двухъ мальчиковъ. У одного лицо все сіяетъ восторгомъ, живое, полное силы и красоты. Онъ держитъ факелъ, гордо поднявъ его къ небу. Другой, угрюмый, склонился къ его ногамъ, нагнулъ задумчивую сонную голову, и факелъ его пригнутъ къ землѣ. Это жизнь и смерть. Это свобода и неволя. Это сонъ и явь. Это бытіе и разрушеніе. О, какъ много силы въ этихъ чудныхъ мальчикахъ! Но что это за сила—Гризли не можетъ понять. Она чувствуетъ только, что ее влечетъ къ нимъ тайна—міровая тайна.

И она оглядываетъ стѣны этой комнаты, также увѣшенныя картинами. Вотъ цѣлый праздникъ цвѣтовъ, громадныхъ цвѣтовъ; ихъ написалъ тотъ, кто такъ сильно любилъ цвѣты и красу, и природу великую.

А вотъ громадная картина всякихъ плодовъ. Ужъ сколько тутъ винограду—зеленаго, розоваго, и какія славныя, лопнувшія отъ спѣлости дыни, и сейчасъ только разрѣзанные сочные арбузы, которыхъ сѣмячки такъ и чернѣютъ, такъ и блестятъ, въ блестящемъ розовомъ мясѣ. И цѣлая кучка гранатъ съ прозрачными наливными сѣмячками, и шишки ананасовъ торчатъ, словно султаны, и яблоки, и груши и померанцы.

А вонъ тамъ другая исторія: тамъ цѣлая группа дѣтей,

которыя несутъ виноградъ, дѣтей такихъ же спѣлыхъ и розовыхъ, сочныхъ, какъ арбузы, съ щечками румяными, какъ вишня, съ личиками, точно наливныя яблочки. Они такъ серьезно несутъ цѣлую гирлянду винограду и грушъ и персиковъ и такъ тяжело имъ нести эти тяжелые плоды, они всѣ такъ согнулись подъ сладкой ношей... Куда они несутъ?.. На праздникъ, большой праздникъ...

V.

Гризли идетъ въ четвертую залу—ея любимую залу. Въ ней все уютно, покойно—ничего не ищешь, не ждешь. Довольство жизнью смотритъ изъ всѣхъ угловъ ея. Обита она простенькой, съ мелкими мушками, сѣрой матеріей. И мраморный полъ въ ней черный съ бѣлымъ, и простенькій широкій голландскій каминъ въ серединѣ стѣны, и со всѣхъ стѣнъ смотрятъ такія милыя, простыя картины, въ черныхъ, простыхъ рамахъ.

Вотъ дама слушаетъ съ такимъ вниманіемъ молодаго чтеца съ рыжими усиками. Дама въ нарядномъ бѣломъ атласномъ платьѣ. И какъ все хорошо, натурально въ этой простой, натуральной картинкѣ. Какъ хорошо блестятъ на солнышкѣ мелкія складки платья, какъ играетъ солнышко на полу и вырѣзывается кружками, какъ блестятъ пуговицы на кафтанѣ молодаго человѣка. И блестятъ также длинныя вазочки и бокалы на полочкѣ,—а кошка, сѣрая кошка, сидитъ, умывается на солнышкѣ и бѣгаютъ, играютъ вокругъ нея котятки. Уморительные, милые котятки!

А вотъ трактирчикъ, простой деревенскій трактирчикъ, и такъ весело пируютъ въ немъ эти красненькіе мужички, такъ уморительно пляшутъ они подъ звуки скрипки, на которой играетъ толстый музыкантъ, съ бородой, стоя на опрокинутой кадкѣ.

А вотъ маленькая старушка считаетъ деньги—и состроила такую серьезную мину, а оборки и складки огромнаго чепца заслоняютъ ея маленькое личико, и все оно само собрано въ маленькія складочки.

А вотъ рынокъ и толстая, чистенькая, гладко зачесанная барыня торгуетъ большую бѣлую курицу у старенькаго мужичка; а мужичекъ обложился рѣпой, морковью и рѣдисками.

А вотъ ученый химикъ въ его большомъ, большомъ кабинетѣ, и какъ блестятъ всѣ баночки въ этомъ кабинетѣ—маленькія реторты и большія колбы, мѣдныя кастрюли и чашки, — а самъ химикъ, съ большой бородой, съ очками на носу, въ высокой, остроконечной шапкѣ, такъ серьезно варитъ какой-то составъ и дуетъ на огонь маленькими мѣхами...

А вотъ собаки... О, какіе уморительные песики! и какъ они хозяйничаютъ въ несчастной кухнѣ — трудятся надъ фазанами, теребятъ утокъ, грызутъ и ворчатъ!..

Но мимо, мимо!.. Не хочется разстаться съ этой уютной, любимой комнаткой,—а тамъ, впереди, комната еще болѣе любимая. Вся она уставлена высокими дубовыми шкафами,—и солнце такъ покойно свѣтитъ сквозь длинныя, узкія, узорчатыя окна, сквозь опущенныя темныя сторы. А въ шкафахъ—цѣлый рай!—Книги, книги безъ конца—въ раззолоченныхъ сафьянныхъ переплетахъ.

Тамъ между шкафами, подъ балдахиномъ, въ стеклянномъ шкафчикѣ, сидитъ слуга-философъ, покинувшій свою родину, и мирно поселившійся на берегу голубаго, красиваго швейцарскаго озера. Онъ сидитъ, опустивъ въ глубокой думѣ свою умную голову, сидитъ въ сѣромъ кафтанѣ съ большими перламутровыми, свѣтлыми пуговицами и въ сѣрыхъ полосатыхъ чулкахъ; но если отворяютъ дверцы его стекляннаго шкафчика, онъ тихо поднимается со своего

стульчика и кланяется отворившему. Гризли помнитъ, какъ она боялась этой куклы, когда была очень маленькая. О, теперь она не боится ея; она очень любитъ эту смѣшную, кланяющуюся куклу: вѣдь она прочла всего «Эмиля» и многое поняла своимъ чуткимъ сердцемъ. Но больше она любитъ бюстъ этого философа, большой мраморный бюстъ, который стоитъ тутъ же, на одномъ изъ шкафовъ; она любитъ смотрѣть на его доброе, думающее лицо, на его большія суровыя губы.

А вотъ подлѣ него другой бюстъ, другого философа, который смѣялся надъ всѣми и не могъ только посмѣяться надъ однимъ,—надъ самимъ собою. О, какое славное, умное лицо! Рѣзкія складки улеглись около его рта. Глубоко ушли подъ брови его маленькіе глазки. Нѣтъ только одного въ этихъ глазахъ: мира, любви, — снисхожденія къ глупому и бѣдному человѣку.

А за нимъ тянется цѣлый рядъ бюстовъ: это все они, великіе піонеры прошлаго вѣка, которые прорубали для насъ широкую дорогу въ темномъ лѣсу безчеловѣчья и неволи.

А вотъ онъ, милый шкафъ. Гризли собрала въ него всѣ ея любимыя книги. И на первомъ мѣстѣ: Аббатъ Ботень и «Paul et Virginie» и «Потерянный рай» Мильтона. Лучше этихъ книгъ ничего не нашла Гризли въ цѣломъ громадномъ книгохранилищѣ; потому что въ этихъ книгахъ она нашла отвѣтъ своему собственному сердцу. Надъ ними она плакала и молилась. Тамъ же были сказки изъ «Тысячи и одной ночи»,—былъ Ледрю Ролленъ и смѣшной портной, написавшій такія уморительныя комедіи, — и скучный Корнель и Расинъ, и «Le miroire de la Vertu» и «Свадьба Фигаро», и сказки Перро̀, и сказки-сатиры Свифта, и много, много всякихъ книгъ.

Не было только той книги, которую, умирая, оста-

вила ей дорогая мама—настоящей «книги» изъ всѣхъ книгъ, которыя когда-либо были и будутъ въ мірѣ. Это простыя сказанія простыхъ рыбаковъ галилейскихъ—сказанія о бѣдномъ Человѣкѣ, въ которомъ все было полно красы безконечной и вѣчной, святой благодати. Гризли держитъ эту книгу, въ кожаномъ черномъ переплетѣ, съ большимъ серебрянымъ крестомъ на корешкѣ, отдѣльно отъ другихъ, въ своей спальнѣ, и спитъ вмѣстѣ съ ней.

Но дальше, дальше тянетъ Гризли туда, въ угловую, гдѣ много цвѣтовъ въ богатыхъ вазахъ, а еще больше выглядываетъ ихъ изъ зимняго сада, гдѣ растутъ разныя дива заморскія, подъ стеклянной крышей.

Тамъ въ серединѣ оранжереи громадный мраморный чанъ, и въ немъ плаваютъ золотыя рыбки, а изъ самой середины чана высоко кверьху бѣжитъ тонкая струйка и играетъ тамъ наверьху легкимъ серебрянымъ шарикомъ. Какъ хорошъ этотъ садикъ, полный розъ и геліотроповъ, на солнцѣ, которое, точно кошка, постоянно играетъ съ вьющимися цѣпкими вѣтками.

Но не онъ тянетъ Гризли; онъ хорошъ, безспорно хорошъ. Но она быстро подбѣжала, садится къ большому, старому роялю, парижской работы Федо̀—роялю, который не состарился: онъ также пѣвучъ и мелодиченъ.

Гризли порылась на полочкѣ въ нотахъ, подумала, что сыграть и то хорошо, и другое хорошо. Передъ нею цѣлый рядъ сонатъ скучныхъ, но хорошихъ сонатъ. Тутъ стоятъ и Моцартъ, и Клементи, и Бетховенъ, и Гайднъ, и Глюкъ. И тутъ же на каминѣ стоятъ ихъ бюстики. Стоятъ между множествомъ маленькихъ фарфоровыхъ вещицъ, милыхъ бездѣлушекъ—флакончиковъ, пастушекъ и китайцевъ.

Гризли остановилась на Гайднѣ; она развернула чудную ораторію о смерти Бога-человѣка, о мученической смерти на крестѣ, и запѣлъ рояль въ тишинѣ солнечнаго свѣжаго

утра, запѣли хоры ангеловъ. И весь домъ встрепенулся и заслушался чудныхъ звуковъ. Слушали всѣ философы и картины, всѣ слушали звучные, торжественные гимны. И, наконецъ, отзвучало и затихло послѣднее слово...

И Гризли вздохнула, отняла дрожащія ручки и опустила на нихъ головку. Какъ тихо, торжественно тихо кругомъ!.. Словно прозвучалъ послѣдній звукъ и отлетѣлъ въ вышину, а здѣсь осталось только одно—блѣдное, безцвѣтное подражаніе ему...

VI.

— Where my dear, where my dear?!—раздается по большимъ заламъ... Where my dear?!—слышится въ библіотекѣ... Where my dear!—И на порогѣ является она—миссъ Батъ—высокая, красная, вся въ желтыхъ локонахъ, уже посѣдѣвшихъ значительно — статная, прямая, въ сѣромъ поплиновомъ платьѣ, застегнутомъ подъ самое горло, и здѣсь, на самомъ горлѣ, огромная брошка блиномъ, съ двумя цѣлующимися голубками. Where my dear!—И со слезами на воспаленныхъ маленькихъ глазкахъ, со слезою на огромномъ носу, со слезою на большомъ отвисломъ подбородкѣ, перепачканномъ въ пудрѣ, миссъ Батъ обнимаетъ и цѣлуетъ Гризли, и Гризли цѣлуетъ ее, и слезы текутъ у обѣихъ... тихія, радостныя слезы. И въ этихъ слезахъ улетаютъ, разрѣшаются послѣдніе остатки разрушенныхъ гимновъ и ангельскихъ хоровъ, послѣдняя тѣнь неземнаго...

И цѣлый день идутъ тихія ласковыя бесѣды у миссъ Батъ и Гризли.

— Миссъ, моя милая миссъ Батъ,—говоритъ Гризли—скажи мнѣ: всѣ эти великіе люди, которыхъ мыслями наполнены эти книги въ шкафахъ, которыхъ стремленіями во-

площены эти картины въ нашихъ залахъ, — вѣдь это все передовые, высшіе люди, это тѣ, которые стоятъ ближе къ Богу?

— Да, да. Oh, yes, my dear? Все это избранные, посланные, вдохновенные, которые сближали небо съ землей.

И Гризли кажется, что всѣ эти громадныя залы сверху до низу наполняются этими великими, избранными. Они идутъ отъ всѣхъ націй, идутъ, гордо подавъ другъ другу руки. Ихъ плащи и мантіи развѣваются, колышутся перья на ихъ шляпахъ; блестятъ ихъ шитые кафтаны и бѣлые парики. Вотъ и тотъ философъ между ними, тотъ философъ, что надъ всѣми смѣялся... маленькій, худенькій, онъ гордо закинулъ кверьху свою курносую мордочку. А вотъ подлѣ него идетъ въ длинной красной мантіи, съ лавровымъ вѣнкомъ на бѣлой шапкѣ, что чепцомъ покрываетъ его желтую худую голову съ длиннымъ носомъ, — идетъ пѣвецъ загробнаго міра—пѣвецъ ада и рая. А вотъ и онъ слѣпой пѣвецъ того же ада и рая — но какъ далеки они одинъ отъ другого!..

Вотъ идетъ гордо, надменно повертывая голову, испанскій посланникъ, въ высокой шляпѣ съ широкими полями, и колышется съ важностію перо на его шляпѣ; весь онъ закутанъ въ широкій бархатный плащъ... И блеститъ-гремитъ на этомъ плащѣ золотая цѣпь Золотаго Руна. Но что же онъ несетъ подъ плащемъ? Ахъ, это простая палитра, та палитра, на которой онъ нашелъ никогда не меркнущія, яркія краски, и въ нихъ воплотилъ онъ идеалъ здоровья и грубой тѣлесной красоты.

— Да! я иногда играю въ посланника,—говоритъ онъ,— я иногда забавляюсь ролью посланника!

А за нимъ несутъ на плечахъ другаго художника, его собрата, и Гризли сразу поняла, что это дѣйствительно царь художниковъ, этотъ чудный юноша съ такими кра-

сивыми женственными чертами. Онъ весь окруженъ блестящей атмосферой и вся эта атмосфера, уходящая въ небо, наполнена чудными, святыми образами Мадоннъ и Ангеловъ.

— O! Sancto Sanzio, Raphaelo divino!—кричитъ толпа и съ восторгомъ протягиваетъ къ нему руки, къ своему безсмертному художнику. И всѣ націи сливаются въ этомъ апоѳеозѣ человѣчества... въ этомъ всемірномъ, всенародномъ праздникѣ великаго духа. Струны звенятъ, могучія струны!

Глухо гдѣ-то, въ тайникахъ земли, гудятъ звуки и вдругъ выходятъ на свѣтъ, на просторъ вольнаго воздуха, освѣжаются, становятся чище, свѣтлѣе, явственнѣе; они растутъ, разливаются въ жалобахъ сердца, дрожатъ любовью, стонутъ горемъ людскимъ и вдругъ сливаютсл всѣ въ общій гимнъ, и улетаютъ въ высь — звучатъ обѣщаніемъ счастья, свободы, блаженства, любви безконечной!..

. . . . . .

VII.

Надъ старымъ домомъ царятъ жаръ и духота. Не колыхнетъ воздухъ. Удушливой, чадной мглой затянуло все надъ землею, и солнце, точно раскаленное, смотритъ огненнымъ пятномъ сквозь этотъ сизый туманъ.

Повисли листья на деревьяхъ и вѣтки ихъ опустились къ землѣ, точно молятъ, жаждутъ хоть одну каплю влаги небесной!.. Но небо не слышитъ ихъ за сизымъ туманомъ.

Порой тамъ гдѣ-то вдали, на горизонтѣ, вздымаются кудрявыя мглистыя облака... какъ-будто обѣщаютъ грозу,— темнѣютъ и плывутъ выше. Вотъ-вотъ грянетъ громъ благодатный, и легче станетъ въ воздухѣ, и снова жизнь оживетъ, заиграетъ, освѣжится.

Но тучи такъ-же разнесятся, и снова жаръ, снова духота, еще пуще прежней, и сизый дымъ, и красное солнце...

А въ старомъ домѣ плачъ и горе.

Спитъ Гризли, спитъ уже шестой день, и не отходитъ отъ нея нянька. Не спитъ, не ѣстъ и плачетъ, бѣдная, — не можетъ разбудить своей ясной звѣздочки.

Сидитъ въ горѣ передъ ея постелью и миссъ Батъ, и старая тетка и старый докторъ. Думаютъ-думаютъ, не могутъ надумать, что сдѣлать, чѣмъ разбудить ихъ Гризли. И стоятъ посрединѣ комнаты большіе чаны и вазы, полные льду. И царитъ въ комнатѣ мракъ непроглядный. Опущены всѣ сторы и портьеры. И, все-таки, душно въ комнатѣ.

И среди этой духоты и темноты спитъ Гризли, словно заколдованная... спитъ полумертвымъ сномъ: ни дыханія, ни движенія, и самъ докторъ; старый докторъ, не знаетъ, жива она или нѣтъ, и гдѣ теперь душа ея, на землѣ или въ томъ высшемъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ни заботъ, ни страданій...

. . . . . .

Жаръ, духота на землѣ. Жаръ, духота въ небѣ.

Словно раскаленное небо опрокинулось на раскаленную землю.

Но по этой землѣ, идутъ пѣшеходы, убогіе страннички, идутъ-плетутся, еле передвигаютъ усталыя ноги по сыпучему, раскаленному песку. И широкой бѣлой скатертью, на далекія версты, вдоль широкой рѣки, раскинулся бѣлый раскаленный песокъ.

Куда ни взглянутъ страннички—все бѣло, все блеститъ и сверкаетъ: блеститъ сонная рѣка, блеститъ песокъ сыпучій, блеститъ сизое, мглистое небо, и только солнце смотритъ съ него раскаленнымъ краснымъ пятномъ.

Тамъ, въ сторонѣ, тянутся грядки тальниковъ, и повяли

ихъ бѣлые, запыленные листья, а за ними видится роща, пріютъ прохладный, и туда идутъ-тянутся бѣдные странники...

— Охъ, матушки мои, смерть моя!..—стонетъ одна старушка—древняя и сѣдая, и валится на песокъ.

— Э! что, бабушка... али умаялась?—говоритъ красный сѣдой старикъ и останавливается.

— И впрямь умаялась,—говорятъ страннички.—Гляди-ка, древняя какая. Господи!.. Бабушка старая!

И всѣ страннички остановились, точно обрадовались случаю. Обтираютъ потъ рукавами, смотрятъ на красное солнце, на бѣлый песокъ, на сизую даль...

— Никакъ гроза будетъ, вишь какъ синѣютъ кудрецы-то.

— Страсть!

— Бабушка, пойдемъ! заморишься ты здѣсь совсѣмъ, солнце спечетъ тебя... — говоритъ сѣдой старикъ. — Обопрись объ меня, пойдемъ!.. Пособи-ко поднять ее, кумъ Михей!

И кумъ Михей—высокій, большелобый, лысый, съ длинной бѣлой бородой — нагибается вмѣстѣ съ дѣдушкой, и поднимаетъ старушку, и трогаются въ путь, ведутъ ее подъ руки, и всѣ страннички бредутъ за ними, покорно опустивъ головы.

И вотъ встрепенулись страннички, дошли до лѣска.

Крестятся, молятъ-славятъ Господа... Посѣли, полегли, пьютъ изъ туезковъ, изъ бутылочекъ.

А сзади лѣска тянется рожь колосистая и бойко управляются въ этой ржи страдныя работницы, но не въ моготу управляться имъ. Взмокли на нихъ длинныя рубахи; — раскраснѣлись, растрепались головы. Ломитъ у нихъ спинушку, отнялись рученьки.

— Матушка! родимая! дай попить, Христа ради!—подходитъ къ одной изъ нихъ странница убогая...

— Вотъ тамъ! родная! — говоритъ жница, утирая потъ концами платка. — Вотъ подъ лѣсинкой возьми, тряпичкой заткнуто...

И баба идетъ подъ лѣсинку. Тамъ лежатъ, спятъ два спеленатыхъ ребеночка. У одного рожекъ во рту. Подлѣ нихъ деревянный жбанчикъ, тряпичкой заткнутъ. Баба оттыкаетъ тряпицу, широко крестится и жадно глотаетъ кислый квасъ. Напилась, поставила, гдядитъ на крошечекъ, что спятъ рядышкомъ на землѣ, смахнула овода, что впился одному въ щечку...

— Двойнишки, что-ль?—спрашиваетъ, вздыхая.

— Двойнишки, родимая!—говоритъ жница, и снова нагибается, и снова пошелъ гулять острый, кривой серпъ въ жесткой, костлявой рукѣ, съ побурѣлой кожей.

— Въ пустынь идете?

— Въ пустынь, къ празднику Христову...—И она перекрестилась.

А тамъ, подъ маленькимъ кустистымъ дубкомъ, пріютилась бабеночка—хворая, немощная; лежитъ и охаетъ, вся укутана тряпочками и лоскутинками. А подлѣ нея сидитъ не шелохнется паренекъ — лѣтъ тринадцати, съ такимъ славнымъ, открытымъ, задумчивымъ личикомъ. А подлѣ него дѣвченочка, поменьше его—точно Гризли. Такое же личико умное и ласковое. Такія же длинныя кудри, что вьются изъ подъ бѣлаго платочка. Такія-же маленькія, смугленькія ручки, а ножки босыя, и сарафанчикъ на ней дырявый, въ заплатахъ.

— Завтра мы съ мамонькой, чай, въ пустынь придемъ,— предполагаетъ мальчикъ.

— Навѣрно дойдемъ, — говоритъ дѣвочка, перевязывая травинкой пучечекъ полевыхъ цвѣточковъ.

И странно, чудно сливаются въ ея головкѣ сонъ и явь. И кажется ей, что она была тамъ, тамъ, въ старомъ залѣ,

въ которомъ сбирались старыя тѣни и говорили съ ней картины, и пѣли ангельскіе хоры, и миссъ Батъ... Но все это смутно ей кажется, какъ въ далекомъ, въ далекомъ снѣ. Но что-же съ ней теперь? чѣмъ теперь она стала?

И снова ей кажется, что это такъ и должно быть: что теперь она не спитъ, что она крестьянская дѣвочка, и передъ ней лежитъ ея хворая мама. О, какъ ей жаль эту больную, слабую маму!

— А что, Гриша,—спрашиваетъ она, съ испугомъ смотря на его лицо,—что если мама умретъ?!

Гриша съ ужасомъ оглядывается на маму. Онъ пересталъ отряхать пыль съ своихъ грязныхъ ногъ.

— Нѣтъ,—говоритъ онъ.—Зачѣмъ ей помирать? Господь милостивъ...

И поднялись, наконецъ, страннички снова въ путь. Поднялась и хворая мама. Гриша и Гризли поддерживаютъ ее, ведутъ, и тяжело переступаетъ она, опираясь на длинную, суковатую палку,—стонетъ и молится.

Опять вышли страннички на берегъ рѣки, и опять тянется бѣлый, сыпучій песокъ и вязнутъ усталыя ноги въ этомъ пескѣ... и точно длинная змѣя ползетъ по утоптанной тропинкѣ — идутъ, идутъ богомольцы. Идутъ съ вѣрой великой, что горы съ мѣста сдвигаетъ, идутъ съ теплымъ упованіемъ, что двигаетъ міровые океаны и волны народныя.

Оглянулся лысый Михей... Снялъ шапку, перекрестился.

— Богъ милости даетъ!—говоритъ.

И всѣ за нимъ тоже сняли шапки и перекрестились.

Засинѣли тучки, наползли на небо. Шире, темнѣе расходятся по небу. И вѣтерокъ, словно шальной, сорвется съ нихъ, возбораздитъ рѣку, подниметъ пыль и песокъ и снова улягжется. И снова знойная тишь и духота, а тучки плывутъ, плывутъ, наплываютъ, словно свинцовыя, тяжело и грозно.

— До дождичка-бы добраться намъ, — говорятъ странники,—къ вечеру, чай, придемъ къ перевозу.

— Да, не ближе какъ къ вечеру!

VIII.

Стоятъ на перевозѣ, на устьи рѣки, большія домины двухэтажныя, — все заведенія для проѣзжихъ гостей — съ галдареями и балконами, и шумитъ и гудитъ народъ вокругъ нихъ. Мѣсто бойкое, проѣзжее.

— Вишь Богъ дождя даетъ, — говоритъ купчина, глядя на небо.

— Давно-бы надоть. Сушь какая! — говоритъ другой купчина, и пьютъ они, распиваютъ чаи на балконѣ.

— Къ праздничку ѣдете, на ярмарку?

— Къ праздничку, — говоритъ купчина.

А тучки ползутъ, накрываютъ небо, и холодкомъ потянуло. Побѣлѣла даль. Пылью заволокло все. Наверху на галдарейкѣ оконце хлопнуло.

— Эй! Селифанъ! — кричатъ. — Бѣги, скричи ребятамъ, чтобъ оконце захлопнули!—Вишь гроза идетъ.

А туча обняла полъ-неба и запрыгала молнія по сѣрому полотну. Что-то гудитъ и рокочетъ вдали.

— Градъ никакъ будетъ,— говоритъ прикащикъ,—вишь тучи сѣдыя... да хлопьями разметались.

— И-то градъ, — говоритъ купчина: — вишь, вишь полосы какія!

А молніи такъ и хлещутъ. И вдругъ прорѣзала, расчеркнулась яркая полоса—и вслѣдъ за ней щелкнуло гдѣ-то въ вышинѣ и затрещало словно пальба ружейная, загудѣло словно подъ землей, гулко и грохотко и раскатилось, улеглось въ вышинѣ небесной. Капли дождя, словно

сплески воды, то тамъ, то здѣсь грузно шлепнулись на землю, и всю пыль вскружило, понесло.

Завизжали мальчишки и понеслись,—понеслись, словно вѣтромъ ихъ покатило, а впереди ихъ теленокъ бокомъ бокомъ, козломъ, задравъ хвостъ кверху.

Еще рѣзче, еще ярче расчеркнулась молнія, точно надъ самой доминой упало, грохнуло, затрещало, раскатилось и унеслось.

Задробилъ, засѣменилъ дождь крупнѣе, чаще, и вмѣстѣ съ его шумомъ смѣшался рѣзкій, шуршащій шумъ и трескъ, и градъ полетѣлъ, запрыгалъ по дорогѣ, по крышамъ, по доскамъ, по бревнамъ, чаще и крупнѣе и громче.

— Эге-ге-ге! какой, гляди!—закричалъ купчина.

— Въ орѣхъ! пра, въ орѣхъ!

— Въ какой орѣхъ — въ яйцо голубино!.. — И прикащикъ бойко соскочилъ съ крылечка, закрываясь рукой, подхватилъ градину и взбѣжалъ опять, держа ее на ладонѣ.

— Гляди-ка какой!.. Накось...—И всѣ глядятъ-дивуются на градину, что срослась тройнымъ сросткомъ.

А градъ шумитъ, гудитъ, щелкаетъ, барабанитъ. Потемнѣло небо. Хоть глазъ выколи.

Гулъ, шумъ, грохотъ, только молніи сверкаютъ и вѣтеръ рветъ и мечетъ, и градъ и дождь безъ конца.

— Эй! эй! Степанъ! — кричитъ кто-то сверху. — Назарову-то избушку всю, какъ есть, разнесло.

— Эка буря! Господи!

И часъ и два бушуетъ буря, мететъ дождемъ, хлещетъ молніей...

Наконецъ, нашумѣла, нагремѣла, пронеслась.

По набережной бѣжитъ, гудитъ цѣлый потокъ, несетъ дрова, щепы и камни. И мелкій дождичекъ перепадаетъ.

А по доламъ вездѣ лежитъ градъ, — точно снѣгъ выпалъ.

— Вотъ такъ буря была! — говоритъ купчина, вылѣзая изъ горницы.

— У Дерькунова, что лѣсу поломало! Страсть!

— На мельницѣ, слышь, человѣка убило.

Въ воздухѣ холодѣетъ. Небо заволоклось тучками и онѣ несутся хлопками, точно догоняютъ другъ друга.

А солнце садится въ тучку, вѣщаетъ назавтра ненастье.

Вечерѣетъ. Показались звѣздочки.

Наѣзжаютъ купцы, наѣзжаютъ господа. Снуютъ, шлепаютъ по грязи. Шумъ, гамъ, что твоя буря. Колокольчики брянчатъ. Лошади фыркаютъ. Кибитка за кибиткой подъѣзжаютъ къ заведенію.

— Хозяинъ, пусти переночевать!..

Смолкаетъ говоръ, смолкаетъ шумъ. Свѣжая, холодная ночь, покрываетъ небо.

И вотъ вдали показались странники, богомольцы, прохожіе. Идутъ ковыляютъ, шлепаютъ по грязи и тянутся длинной вереницей, а кумъ Михей и дядя Степанъ впереди вожаками...

— Матушка-хозяюшка, пусти переночевать! На дворѣ-то мокро, да сиверко. Завтра на зорѣ пойдемъ къ празднику.

— Некуда, некуда, родимые... проходите, Господь съ вами!—И идутъ странники, путешествуютъ.

— Хозяинъ, а хозяинъ... пусти переночевать!.. Смерть устали, да и буря измаяла.

— Некуда, некуда, проходите дальше!

Странники постояли, погуторили, пошли дальше.

— Матушка-хозяюшка!.. пусти, Христа ради! обсушиться!, успокоиться. Смерть устали... Христа ради!

— Некуда, родименькіе!.. Развѣ на чердакъ? Идите нѣшто на чердакъ. Только горницу-то вы всю изгадите,— ворчитъ хозяйка.

— Спасибо, родная, спасибо, матушка. Награди тебя Царица Небесная!

— Да вы лапти-то скиньте, разуйтесь здѣсь. О, несуразные!..

И страннички скидаютъ лапти, разуваются, посѣли на крылечко, на балясины, на бревна.

— Ну, ступайте!.. Анютка, покажи имъ чердакъ, куда идти. Ступайте! Господь съ вами! Эко навалило!

И страннички ползутъ, лѣзутъ на чердакъ — и трещитъ подъ ними лѣсенка.

— Хозяйка! хозяйка! Что у тебя за шумъ?

— Ничего! Страннички пришли... на чердакъ лѣзутъ.

И взлѣзли на чердакъ, набились, какъ сельди въ боченкѣ, и хворую тетушку ввели или, вѣрнѣе, внесли, и отвели ей уголокъ за печной трубой. Повалилась тетушка на сырую землю—лежитъ, стонетъ и охаетъ, и подлѣ посѣли и Гриша, и Гризли.

Тамъ, направо, въ уголку, возятся кумъ Михей съ дядей Степаномъ. Досталъ кумъ Михей восковую свѣчечку, засвѣтилъ ее.

— А вы пожару не надѣлайте, — говоритъ толстая старушка. Хозяйка, чай, тоже не любитъ съ огнемъ-то.

— Нѣтъ... мы съ Господомъ, — говоритъ Михей, перекрестясь... мы опасливы.

И достаетъ онъ большіе очки, надѣваетъ на носъ, и достаетъ маленькій требничекъ въ кожанномъ переплетѣ.

— Во имя Отца и Сына и Св. Духа! — говоритъ онъ, положивъ большой крестъ.—Господи помилуй, Господи помилуй!—И вслѣдъ за нимъ крестится и молится дядя Степанъ, а за нимъ и всѣ страннички, которые еще не спятъ сномъ праведнымъ.

Вдругъ изъ подъ полу въ дверцу, лезетъ еще народъ,

— Куда тутъ!—говорятъ.

— Что прете по головамъ-то!—Вишь нѣтъ мѣста!

— Насъ хозяйка пустила. Мы добрый человѣкъ, тоже устали, съ пристани пришли—суда сплавляли!...

— Садись вотъ, паря, за печной трубой-то, вонъ въ уголку-то!

— Тамъ тетку не раздави! тетка хворая съ ребятенками.

— Э! Э!—братъ, фатера важная!.. Что тетка, аль нутро подвело?

— Не трожь ее! Вишь нездорова...

А Гризли все слушаетъ, на все глядитъ, широко раскрыла глаза, и вотъ, вотъ жалобный стонъ хочетъ у ней вырваться изъ груди.

Устали, горятъ, распухли ея ножки, растрескались губы. Внутри все горитъ. Но вся эта боль ничто передъ тѣмъ, что совершается передъ ней и о чемъ такъ плачетъ, скорбитъ ея сердце... Нѣтъ, это не тѣ образы — чудные, блестящіе, что толпились передъ ней тамъ, въ блестящихъ залахъ.

Тутъ жизнь только-что начинается, только-что выпустила изъ земли свой первый грязный ростокъ... и темные образы, какъ черви, ползутъ въ потьмахъ, безъ свѣта Божьяго. Только тамъ, въ уголкѣ, свѣтитъ маленькая свѣчечька, и широкія длинныя тѣни ходятъ подъ навѣсомъ крыши, по балкамъ и перекладинамъ..

Вонь, духота — разуваются работнички. Отъ сосѣдей Гризли такъ сильно пахнетъ и водкой, и лукомъ, и дегтемъ, и овчиной, и какъ разъ подлѣ нея улегся толстый парень и прикрылся новенькимъ нагольнымъ тулупомъ, храпитъ во всю ивановскую.

«Бѣжать-бы отсюда вонъ! вонъ! Но куда-же убѣжишь? Развѣ можно убѣжать отъ собственнаго сердца? Вѣдь оно тянетъ туда, куда-бы и не хотѣла!

«Мама, хворая мама! И этотъ Гриша, такой добрый и ласковый. Да и весь этотъ народъ—простой и добрый, вѣдь прикипѣло къ нему сердце, не оторвешь!

А Гриша положилъ головку къ ней на колѣна, свернулся клубочкомъ, лежитъ, дремлетъ...

И тяжело дышетъ, страшно дышетъ, хрипитъ, бѣдная мама!

— Камо пріиду и возопію Господи!—читаетъ мѣрно и кротко дядя Михей.—Ты мое прибѣжище, кого убоюся! Ты моя сила, и враги ада не одолѣютъ мя.

И кажется изъ глубины сердца идетъ его дребезжащій голосъ.

Слушаетъ, слушаетъ Гризли. И легче становится ея собственному сердцу. И слезы наплываютъ, застилаютъ глаза, катятся по смуглымъ, загорѣлымъ щечкамъ. .

— Господи! Праведенъ, еси и вѣрна тебѣ тварь твоя,—читаетъ Михей...—Милосердъ еси, и милостью сердца преклоняемся къ Тебѣ: Отче силы, Спаси и помилуй ны! Въ грѣхахъ рождены есьмы,—очисти ны! Горемъ спеленаны есьмы—укрѣпи ны! нуждою повиты есьмы—огради насъ.

И кажется Гризли, что кто-то другой сидитъ, наклонясь къ ея лицу, и слушаетъ святыя слова покорной молитвы.

Она обертывается; но нѣтъ никого въ темнотѣ темнаго угла. Храпитъ парень, что подлѣ лежитъ; храпятъ странники. И только среди спящихъ и дремлющихъ мирно и сердечно раздается голосъ Михея:

— Кровью грѣха братоубійства заражены есьмы—очисти насъ! Взгляни милостью, Богатый милостью! Призри на сокрушеніе сердца, на печаль души моея! Взалкала душа, возжаждала свѣта Господа моего!

И опять кажется Гризли, что кто-то сидитъ подлѣ нея и слушаетъ. Она оглядывается на лежащую маму. Храпѣнье прекратилось.

«Уснула!»—думаетъ Гризли и ощупываетъ ее руками.—О, какъ холодны старческія, окостенѣлыя руки мамы!

— Оставь, оставь!—говоритъ чей-то голосъ Гризли.—Оставь мертвымъ хоронить мертвыхъ!

Гризли оглядывается. Передъ ней стоитъ мама. Но не эта мама, лежащая тутъ, убогая старушка, а другая мама—чудная, молодая, блестящая мама.

— Оставь мертвымъ хоронить мертвыхъ!—говоритъ она,—и дѣлай дѣло живое, великое дѣло—возрожденія, развитія, просвѣтленія. На твоихъ колѣняхъ лежитъ чистая душа, невинный агнецъ, и да будетъ онъ братомъ твоимъ. Выведи его изъ тьмы простой, первобытной жизни въ высшія, свѣтлыя сферы мысли и чувства.

Исчезла мама. Осталась одна Гризли. Одна, среди спящаго народа.

Погасла свѣчка дяди Михея. Замолкло чтеніе; только храпятъ страннички и бормочутъ во снѣ.

Страшно и холодно Гризли. Подлѣ нея лежитъ холодный мертвецъ. Улетѣла отстрадавшая душа.

— Гриша!—говоритъ Гризли, поднимая его головку съ колѣнъ.

— Гриша! пойдемъ, милый!

— Куда?—говоритъ Гриша спросонья.—Я спать хочу.

— Пойдемъ,—милый, пойдемъ, братъ мой, и она цѣлуетъ его липнущіе отъ сна глазки.—Пойдемъ на свѣтъ, на чистый воздухъ. Здѣсь душно, темно...

Поднялся Гриша. Встали, идутъ.

Спотыкается сонный Гриша.

— Сюда! сюда!—говоритъ Гризли,—осторожно обходя спящихъ и доводя его до выхода.—Постой, я впередъ пойду. Обопрись объ меня!..—И они сходятъ. Идутъ черезъ горницы безъ шума и отворяютъ передъ ними дверь невидимыя руки.

Прояснѣло. Яркія звѣздочки мерцаютъ. Дремлетъ ясная зорька.

— Куда-же мы пойдемъ?—спрашиваетъ отрезвленный Гриша, протирая глаза.—А мама?

И Гризли обняла его.

— Ея нѣтъ, Гриша. Она отлетѣла,—шепчетъ она.

Совсѣмъ встрепенулся Гриша.

— Какъ отлетѣла?..

Гризли складываетъ его ручку, складываетъ вмѣстѣ три пальчика и креститъ его большимъ крестомъ.

— Пріими и упокой, Господи!—говоритъ она—новопреставленную рабу Анну!

Гриша посмотрѣлъ на нее своими ясными голубыми глазами, задрожалъ, затрясся и зарыдалъ.

— Мамонька моя!.. Родимая!

Гризли обняла его, прижала къ груди.

— Гриша!.. Я твоя мама.—Я твоя сестра, я не покину тебя.

— Пусти, пусти меня къ ней! Я проститься хочу.

— Не ходи, Гриша,—говоритъ Гризли, не пуская его,—не ходи, милый, родимый мой!—Оставь мертвымъ хоронить мертвыхъ. Тебя схватятъ, сиротинку.

Гризли увлекла его. Упираясь и плача, припавъ къ плечу ея, шелъ онъ по мокрому песку, по грязнымъ лужамъ.

И шли они долго, шли мимо спящихъ заведеній, мимо осокорей дупластыхъ.

Насторожив уши, смотрѣли на нихъ собаки, а въ вышинѣ небесной мерцали звѣздочки. Шли они дальше, дальше, въ поле пустынное, и пропали вдали.

А страннички мирно храпѣли, усталые отъ далекой путины. Стала заниматься утренняя зорька, и проснулись они, потянулись, стали вставать и креститься, стали толкать,

будить маму Гризли... И не добудились. Поднялась суматоха.

— Вишь нехристи оголтѣлые!—кричала оторопѣлая хозяйка, чуть не плача, грузно поднимаясь, спѣша по лѣсенкѣ,—каку бѣду надѣлали! Мертвое тѣло навязали! Господи, не попусти!

«Мертвое тѣло! мертвое тѣло!» гудитъ въ ушахъ у странничковъ, угрюмо обступившихъ холодный трупъ и молча кидавшихъ мѣдныя копѣйки на бѣдное рубище усопшей.

. . . . . .

IX.

Осиротѣлъ старый домъ. Угрюмо стоитъ онъ, погруженный въ глубокое горе.

Въ его парадной залѣ, въ серединѣ ея, на черномъ бархатномъ катафалкѣ, съ серебряными княжескими гербами, стоитъ серебряный глазетовый гробикъ, и лежитъ въ этомъ гробикѣ Гризли, въ бѣломъ кисейномъ платьѣ, вся усыпанная цвѣтами,—лежитъ хозяйка стараго дома и спитъ сномъ тяжелымъ. Не могли разбудить ея ни няня родимая, ни милая миссъ Батъ, ни тетка старуха, ни старый докторъ.

Завѣшены зеркала и картины, опущены портьеры и сторы. Мракъ и тишина царятъ въ старомъ домѣ. Только въ парадной залѣ раздается мѣрное чтеніе надъ гробомъ усопшей. Да тихо голоситъ, плачетъ-заливается старая няня, упавъ на ступени бархатнаго катафалка.

Въ сѣромъ туманѣ стоитъ, не шелохнется, и садъ, и паркъ—точно грустная дума томитъ ихъ, и мелкій дождь угрюмо каплетъ.

И точно плачутъ высокія ели и липы, старые вязы и дубы-хранители.

— Все мѣняется! все мѣняется!..—шепчутъ они:—временная жизнь—мгновеніе; вѣчная жизнь—безконечность.

Полегли, молчатъ рѣзвыя косули. Примолкли куры и сизыя гульки,—словно чуютъ горе стараго дома.

Со стономъ подымается няня, всходитъ на ступеньки катафалка и съ рыданіемъ падаетъ на гробикъ.

— Уснула звѣздочка моя ненаглядная!—плачетъ она.—Уснула, моя радостная. оставила меня сиротинкой на старости лѣтъ!.. Господи! сокрушилось сердце мое...—И плачетъ она, разливается.

И тихо идутъ часы за часами. Выше и выше поднимается солнышко.

Пересталъ дождь, осѣдаетъ сѣрый туманъ; встрепенулись веселыя птички; вскочили рѣзвыя косули; закричали, заахали голосистыя куры.

И прорѣзало солнышко густой туманъ своимъ яснымъ лучемъ, радостнымъ... И все улыбнулось. Засіяли цвѣты. Громче засвистѣли птички, заблестѣли кусты и деревья; всѣ засіяли слезинками, точно маленькій ребенокъ, что улыбнулся сквозь слезы.

Упали солнечные лучи въ парадную залу, ворвались въ окна,—и вся засіяла парадная зала; упали они на гробикъ Гризли,—и весь заблестѣлъ глазетовый гробикъ... Упали они на Гризли,—и жизнь теплымъ лучемъ пробѣжала по мертвому личику. Тяжело вздохнула Гризли, вздохнула и повернулась.

А нянька замерла, остолбенѣла; и вѣритъ, и не вѣритъ она глазамъ старымъ, и дрожитъ, и трясется и крестится. Повернулась Гризли, подняла ручки, ухватилась за края гробика, и всѣ цвѣты посыпались съ нея.

— Няня! — говоритъ Гризли. — Онъ здѣсь... Идемъ скорѣй!

— Кто, матушка? кто, родненькая?

— Онъ! братъ мой! Онъ тамъ ждетъ на балконѣ, онъ плачетъ.

И старая няня хочетъ вынуть ее изъ гробика и не можетъ; а Гризли сама встала, оперлась на ея плечи, спустилась, сошла со ступеней и пошла, шатаясь, по залѣ.

— Матушка родненькая!—лепечетъ няня и сама, шатаясь плетется за Гризли.—Куда ты, ангелъ мой? дай насмотрѣться на тебя!—А старые глаза отъ слезъ совсѣмъ не смотрятъ.

Ведетъ Гризли старуху-няню на балконъ. Тамъ, на широкихъ каменныхъ ступенькахъ сидитъ Гриша и тихо плачетъ.

— Гриша, Гриша!—говоритъ Гризли, бросаясь къ нему.

Гриша вскочилъ, остолбенѣлъ.

Передъ нимъ Гризли, но не та Гризли, что привела его въ старый домъ, привела издалека. Та Гризли была въ худенькомъ сарафанчикѣ, босоножка. А эта барышня въ кружевномъ платьѣ, въ цвѣтахъ.

— Гриша! что жь ты не узналъ меня?—Гриша!—И она обняла его крѣпко. — Вѣдь это я, сестра твоя... Пойдемъ, пойдемъ ко мнѣ!—И она ведетъ его мокраго, босоногаго.

— Матушка! — шепчетъ няня. — Родная моя, что это, ясочка моя?—и крестится, и не можетъ надивиться.

А Гризли привела своего брата прямо въ свою спальню, сажаетъ его, мокраго, грязнаго, на бархатный табуретъ; и Гриша совсѣмъ одурѣлъ, широко раскрылъ ротъ и руку въ него сунулъ, и не можетъ надивиться на все, что передъ его глазами совершается, точно въ сказкѣ волшебной.

— Родная ты моя, радостная, княжна моя ненаглядная! —Да откуда этотъ мальчишка взялся, простой деревенскій мальчишка? Чудо Господне!—Да не бѣсъ ли это, матушка?.. Да не обнимай ты его! Смотри, онъ всю тебя перепачкалъ.

— Ничего, няня, все это снаружи; только внутри было бы чисто.

— Да откуда же это?—Кто это? Звѣздочка моя!

— Братъ мой, няня, братъ мой отъ Бога! Няня, люби его, цѣлуй его!

— Куда его цѣловать,—его сперва вымыть надо... Что разсѣлся передъ барышней? — Вѣдь это княжна, дурень,— понимаешь ли ты?

— Ничего, няня, онъ не понимаетъ. — Не тронь его.— Онъ младенецъ невинный, добрый мой,—и Гризли гладитъ его, расправляетъ волосы, что копной торчатъ на головкѣ Гриши.

— Господи! Господи! Да ты сама то сядь! Вѣдь еле движешься, дрожишь вся. Сядь, родненькая!—И няня усаживаетъ Гризли на кроватку. — Господи! не вѣрится все мнѣ: изъ мертвыхъ возстала!

А Гриша на все смотритъ, дивуется—на рѣзной потолокъ, на бархатные ковры, на золоченые обои.

— Гриша, милый мой, — говоритъ Гризли. — Садись здѣсь, садись возлѣ меня.

— Куда его!—ужасается няня.—Куда, поганый, на княжескую постельку!.. Матушка родная, вѣдь его прежде всего вымыть надо. Такъ-таки просто въ корыто да мочалкой, да щелокомъ; вѣдь онъ ровно свинья: весь въ грязи.

— Нѣтъ, нѣтъ, няня; его прежде накормить надо: вѣдь онъ цѣлыя сутки ничего не ѣлъ. Давай намъ ѣсть скорѣе!

— Куда сутки!—ворчитъ няня.—Цѣлыхъ шесть сутокъ сама не ѣла, не пила. Охъ, Господи!

И идетъ няня, кричитъ сонныхъ дѣвушекъ, лакеевъ, буфетчиковъ.

А Гризли смотритъ на Гришу и не можетъ насмотрѣться. Встаютъ въ ея памяти, выходятъ одна за другой сцены изъ ихъ странствованія.

Тихое, холодное утро. Солнышко только что показалось. Идутъ они мимо длинной деревни. Подходятъ подъ каждое окошечко.

— Батюшки, матушки! Царствія Небеснаго радѣтели, сотворите милостыньку Христа-ради!

Но молчатъ окошечки, упорно закрытыя, не открываются; не подается милостыня Христа-ради.

— Давай пѣть!—говоритъ Гриша.—Мамонька покойная меня научила.

И встаютъ они подъ окошечко и жалобно раздаются въ утреннемъ воздухѣ ихъ дѣтскіе голоса:

Христе Сыне Божій
Христе Милосердый,
Сотвори благое,
Сотвори намъ милость!
Праведный Пречистый,
Преблагій, Пресвѣтлый
Избави отъ горя,
Отъ нужды великой!

И раскрылось окошечко, вывалилась краюшка. Жадно подхватилъ ее Гриша.

Перекрестились, пошли.

— На, кушай! — говоритъ Гриша, отламывая половину краюшки.

И идутъ, ѣдятъ птицы Божьи. Идутъ и день, и два, идутъ куда—сами не знаютъ. Но только они вѣрятъ, крѣпко вѣрятъ, что они придутъ къ старому дому, о которомъ Гризли разсказываетъ такія чудныя сказки.

На третьи сутки обезсилѣла Гризли; устали ноженьки, непривычныя къ лаптямъ деревенскимъ, непривычныя къ ходьбѣ многодневной.

Сѣли они около лѣсочка, подлѣ овражка, мѣста глухого. Вдругъ изъ овражка лѣзетъ, щетинится страшная морда. Глаза блестятъ, ротъ зубастый раскрытъ.

— Это волкъ,—шепчетъ Гризли въ ужасѣ.

— Ничего,—говоритъ Гриша:—ты только перекрестись, онъ ничего не сдѣлаетъ небоженькамъ.

И небоженьки перекрестились. Волкъ порычалъ, порычалъ, защелкалъ зубами, прижалъ уши и вдругъ быстро повернулъ назадъ и въ три прыжка исчезъ въ овражкѣ.

— Гриша,—говоритъ Гризли,—это твоя мама насъ спасаетъ. Она не даетъ насъ никому въ обиду.

— Можетъ быть, мама, — говоритъ Гриша, — а можетъ быть волкъ просто испугался, подумалъ, что его застрѣлятъ.

Посидѣли, отдохнули небоженьки и пошли. И цѣлыхъ пять сутокъ они шли такъ, побираясь Христа-ради; день идутъ, а ночь ночуютъ въ полѣ или въ гуменникахъ, а иногда и въ избѣ, коли пустятъ переночевать.

— Какъ же это вы одни идете, сиротливые?—спрашиваетъ какая-нибудь сердобольная бабенка.

— Идемъ, тетенька,—говоритъ Гризли,—съ Господомъ!

— Куда-жь, молъ, вы идете?

— Въ Архистратигино.

— Это въ княжое имѣніе?

— Да!

— Эко чудо! Одни, сиротиночки!

Черезъ двѣ недѣли показалось Архистратигино. Гризли оживилась; каждое деревцо, каждый кустикъ теперь ей знакомы.

— Вонъ видишь, Гриша, — говоритъ она, вся раскраснѣвшись:—вонъ, вонъ блеститъ церковь, а вонъ и паркъ, а за нимъ—за нимъ будетъ старый нашъ домъ.

И Гриша дивуется, широко раскрывъ глаза. Его сердчишко усиленно бьется.

Дружно, бойко идутъ они. Куда усталость дѣвалась.

Сѣрая мгла стелется кругомъ нихъ; сѣрые брызги дождя обдаютъ холодомъ. Ничего не замѣчаютъ они. Бойко идутъ,

шлепаютъ ноженками по грязи, по лужамъ и ближе, ближе подвигаются; идетъ навстрѣчу къ нимъ, съ открытыми объятіями, край обѣтованный.

А колоколъ заунывно, медленно, ударъ за ударомъ, перезваниваетъ, точно по покойникѣ.

X.

Собрался ареопагъ въ голубую гостиную. Все, что имѣло голосъ въ семейномъ совѣтѣ, все засѣло.

Сѣдые, дряхлые, въ старыхъ токахъ и фракахъ, съ свѣтлыми пуговицами, въ жабо и брызжахъ, а князь Иванъ Александровичъ пріѣхалъ даже въ парикѣ съ косой. Впрочемъ, не самъ онъ пріѣхалъ, а привезли его, и какъ засѣлъ онъ въ длинное кресло, обложившись подушками, такъ тотчасъ и погрузился въ сонъ праведный. И никто не будилъ его. Всѣ знали, что онъ проспитъ себѣ все совѣщаніе и снова отвезутъ его домой, какъ дорогую куклу.

Всѣ сидятъ тихо, говорятъ вполголоса. точно въ старомъ домѣ былъ тяжкій больной. Но не больной, а здоровый стоитъ за дверьми залы, ожидая рѣшенія ареопага. Стоитъ Гризли и крѣпко держитъ за руку своего названнаго брата, умытаго, расчесаннаго, разодѣтаго въ красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары. И такимъ красавцемъ смотритъ Гриша въ этомъ нарядномъ костюмѣ, въ этой роскошной пародіи на простой нарядъ деревенскаго парня, что невольно хочется на него любоваться.

А Гризли передъ нимъ такая худенькая, изжелта-блѣдная; только чудныя, черныя кудри красятъ ее миловидное личико, на которомъ теперь упрямство, рѣшимость и сила горятъ въ черныхъ большихъ глазахъ.

Тихо шушукаетъ, шумитъ, гуторитъ ареопагъ, шепчетъ, переговариваетъ.

Всѣ ждутъ старую тетку. Безъ нея никто ничего рѣшить не можетъ. И княгиня Ненила Дмитріевна, и княжна Мэри, и графъ Вадимъ, и графина Д'Ивличь, и князь Петръ Петровичъ, и генеральша Друсса-Любавская — всѣ ждутъ старую тетку.

— Чу!—говорятъ,—кажется, подъѣхала.

И, дѣйствительно, подъѣхала, въ громадной каретѣ, четверней, съ форейторомъ, двумя лакеями и тремя компаньонками. Другаго экипажа никогда не знала «старая тетка». И никто не представлялъ и не могъ представить ее иначе, какъ ѣдущую въ старой каретѣ съ форейторами и двумя лакеями на запяткахъ. Въ ней она ѣздила въ церковь и во дворецъ. И входила въ него во всякое время прямо, безъ доклада.

Никто не зналъ, сколько ей было лѣтъ и всякій, кто зналъ ее лѣтъ 20—30 жилъ, старѣлся и умиралъ, оставляя ее такою-же. «Старая тетка» не старѣлась. Вставала она въ пять часовъ, ложилась въ одиннадцать; цѣлый день деньской на ногахъ, творитъ судъ и расправу, шлетъ приказы и распоряженія во всѣ свои ближнія и дальнія земли. А земель этихъ было не мало,—въ одной Перми великой, на Сибирской сторонѣ, не одна сотня тысячь десятинъ и не одинъ заводъ плавилъ и ковалъ въ ея казну мѣдь, свинецъ и желѣзо.

Говорятъ, самъ Государь покойный не разъ бывалъ у старой тетки и называлъ ее «дѣлецъ-баба».

Всталъ, поднялся ареопагъ со своихъ мѣстъ. Всѣ встали для встрѣчи старой тетки. Одного только князя Ивана Александровича не могли добудиться въ его перинномъ креслѣ.

Вошла старая тетка, громко стуча своей палкой и на всѣхъ смотря строго и гордо изъ подъ своихъ черныхъ, какъ сибирскій соболь, бровей. Темносѣрые глаза ея бѣгали

и свѣтились острымъ, холоднымъ блескомъ. Громадныя сѣдыя букли обкладывали всю голову, и только на самой макушкѣ поднимался высокій шиньонъ, изъ желтыхъ брюссельскихъ кружевъ, что наплела еще въ прошломъ столѣтіи, извѣстная кружевница Фанни Фанъ-Вертъ.

Всѣ поклонились низко старой теткѣ. Всѣмъ она кивнула милостиво головой. Князю Петру Петровичу дала поцѣловать свою старую, выхоленную разными парижскими косметиками руку, въ черной ажурной митэнкѣ. При этомъ промолвила:

— Не бѣгай за бабами,—старый кобель!— и погрозила пальцемъ. — Слышу твои шашни — вся Москва говоритъ о нихъ.—А на князя Илью Сергѣича застучала палкой.

— Ты что это, старый грѣховодникъ,—закричала она,— на старости лѣтъ пустился въ кляузы, да ябѣды, крючкомъ крапивнымъ сдѣлался. Брось! брось! брось, сударь! Не княжеское это дѣло, — отбивать хлѣбъ-соль у сиротъ. Чтобы завтра-же, дѣло было покончено. Завтра-же, завтра-же!

И желтый, лысый князь еще больше пожелтѣлъ отъ этихъ словъ и молча низко поклонился. При чемъ длинное лицо его еще сильнѣе вытянулось.

Усѣлись всѣ около маленькаго круглаго стола, за который сѣла сама старая тетка,—сѣла въ то самое старое маленькое кресло покойнаго князя, на которомъ онъ работалъ. И кто-бы теперь взглянулъ на нее, сидящую на креслѣ покойнаго, на ея большой носъ, на ея оттопыренную нижнюю губу—не сказалъ-бы, что это сестра стараго князя.

Княжна Анна Тимоѳѣевна, которой было ввѣрено спеціально воспитаніе Гризли, встала, подошла къ столику, за которымъ сидѣла старая тетка, и обстоятельно доложила обо всей исторіи.

— Не знаю, какъ быть — добавила она. — Явился невѣдомо откуда, словно бѣсъ, прости, Господи, простой дере-

венскій мальчишка — и ухватилась за него, и знать ничего не хочетъ.

Но старая тетка прервала ее.

— Приведите ихъ сюда!—приказала она.

И Гризли съ Гришей вошли, держась за руки. Гризли вела, гордо поднявъ голову, своего названнаго брата. Она чувствовала и знала очень хорошо, что никакія силы не могутъ отнять отъ нея ея Гриши.

Подошли къ старой теткѣ. Милостиво дала она поцѣловать имъ свою руку. Потомъ взяла Гришу и поставила его прямо противъ себя. Она долго, прямо, улыбаясь все больше и больше, смотрѣла на его умное, открытое личико, въ его ясные, большіе глаза.

А Гриша думалъ, соображалъ въ это время. Думалъ: что за кудри большіе, ровно кудель, наверчены у старой тетки на головѣ и ровно полотенце кружевное собрано у нея на макушкѣ; а руки... но не зналъ Гриша, даже какъ придумать названіе тому, что было надѣто на рукахъ старой тетки. Нравилась ему большая золотая цѣпь, что висѣла у нея на шеѣ, и невольно посмотрѣлъ онъ на золотую пуговку его красной рубахи.

— У меня така-же запонка-то—сказалъ онъ, слегка дотрогиваясь до золотой цѣпи.

Многіе изъ ареопага всплеснули руками и покачали головой; многіе улыбнулись при этой ребячьей выходкѣ маленькаго дикаря.

Старая тетка также улыбнулась и потрепала по щекѣ Гришу.

Потомъ тихонько указательнымъ пальцемъ, на которомъ были надѣты дорогіе перстни, супиры и сувениры, — поманила къ себѣ Гризли.

— Онъ любъ тебѣ?—спросила она ее почти шепотомъ.

— Онъ братъ мой, тетя—сказала прямо и гордо Гризли.

— Ты хочешь, чтобы онъ жилъ здѣсь—въ домѣ князя Ивана Аполлоновича?

— Хочу,—сказала Гризли, также гордо и непреклонно.

И старая тетка быстрымъ движеніемъ руки поставила ее въ середину круга.

— Читай завѣщаніе князя Ивана Аполлоновича, — приказала она,—громко читай завѣщаніе!—повторила она.

— «Во имя Отца и Сына и Св. Духа»,—начала Гризли громко и отчетливо...

— Пропусти начало—поправила тетка.—Читай дальше.

— «Завѣщаю я мою вотчину, княжаго рода, въ родъ мой...

— Пропусти,—опять прервала старая тетка.— Читай съ этихъ поръ: «и да будетъ ея воля нерушима».

Гризли быстро подхватила:

— «И да будетъ воля ея нерушима, и все, что она пожелаетъ да будетъ исполнено по ея желанію—и никто вопреки онаго, ее ни къ чему приневолить не можетъ»...

— Остановись!—прервала старая тетка.—Хочешь-ли ты, княжна Гризельда Аполлоновна,—начала она громко и торжественно,—чтобы твой пріемышъ и названный братъ, Григорій Безтяглый, жилъ здѣсь, въ твоемъ родовомъ домѣ, вмѣстѣ съ тобою?

— Хочу!—сказала Гризли, такъ-же гордо и непреклонно, какъ прежде.

— «И все что ты пожелаешь,—прибавила старая тетка,—да будетъ исполнено по твоему желанію, и никто вопреки онаго ни къ чему тебя приневолить не можетъ».

— Слышали вы?—обратилась она ко всему ареопагу.

Всѣ молчали.

— Слышали вы,—повторила она вопросъ,— послѣднюю волю брата моего, князя Іоанна Аполлоновича?

— Слышали, матушка княгиня, — сказалъ старый князь

Левъ Спиридоновичъ и, вставъ съ своего бархатнаго кресла, поклонился старой теткѣ. А за нимъ и всѣ встали и поклонились ей, кто просто кивкомъ головы, какъ-бы въ подтвержденіе правды ея словъ, а кто отвѣсивъ низкій поклонъ, чуть не до земли въ поясъ. И всѣ подумали при этомъ: какъ-же намъ прежде это въ голову не пришло? а все это напутала княжна Анна Тимоѳѣевна. И что тутъ въ самомъ дѣлѣ важнаго такого, что дѣвочка хочетъ взять къ себѣ пріемыша холопа? Что-же тутъ особеннаго? и зачѣмъ надо было насъ всѣхъ собирать? безпокоить!

И всѣ они, при этомъ забыли свое прежнее распоряженіе: «ни подъ какимъ видомъ не пускать Гришу въ барскіе покои».

У всѣхъ точно гора съ плечъ свалилась. Всѣ начали разсуждать, говорить, о чемъ въ голову пришло и о чемъ не успѣли наговориться у себя, въ своихъ хоромахъ и княжескихъ палатахъ.

А Гризли, довольная, сіяющая съ пылающими щеками, съ сверкающими глазами, увлекла Гришу въ дальній уголъ комнаты, туда, гдѣ на пьедесталѣ изъ лапис-лазули стояла раззолоченная ваза, которой знатоки и цѣны не находили.

— Гриша!—говоритъ она полушепотомъ, крѣпко сжимая руку названнаго брата.—Гриша! теперь мы съ тобой не разстанемся. Тебя не прогонятъ отъ меня. Ты радъ!?

Гриша посмотрѣлъ на нее разсѣянно и ничего не отвѣтилъ. Его занимали всѣ эти бары — въ парикахъ и манжетахъ, — занимали звѣзды, которыя сіяли на груди князя Петра Алексѣевича, занимала старая моська княжны Мавры Степановны, и, въ особенности, ея арапка. Онъ съ изумленіемъ и страхомъ смотрѣлъ на ея черное лицо, толстыя губы, на сверкавшіе, ослѣпительной бѣлизной, бѣлки черныхъ, блестящихъ глазъ и на вышитое золотомъ красное платье...

XI.

Раннее утро. Радостное солнце играетъ въ старомъ домѣ. Оно играетъ на золотѣ и мраморѣ, на хрусталѣ и фарфорѣ. Оно сверкаетъ радужными огнями въ граняхъ стеклянныхъ подвѣсокъ, стелется мягкимъ блескомъ на штофныхъ обояхъ. Косой лучъ его упалъ въ голубую гостиную, и расцвѣла и заиграла вся голубая гостиная. Поползли теплые отсвѣты по голубому штофу и свѣтлые блики засверкали на золоченой мебели, на раззолоченыхъ вазахъ.

Радостный лучъ сверкаетъ и въ сердцѣ Гризли.

Все трепещетъ внутри ея и каждый нервъ ея дрожитъ и поетъ радостную пѣсню.

И вся она сіяетъ, какъ нарядная лютня, и не замѣчаетъ, какъ сильно натянуты всѣ ея струны, и чутко отзывается въ ней каждый лучъ радостно сверкающаго солнца. Она знакомитъ меленькаго дикаря со старымъ домомъ. Она все показываетъ и обо всѣмъ разсказываетъ Гришѣ. И такъ полно, переполнено ея сердце,—такъ много ей надо передать, съ самаго начала, другому отвѣтному сердцу,—что нѣтъ у нея словъ. Да и что значатъ слова, когда само сердце просится говорить и слиться съ другимъ,—милымъ, роднымъ сердцемъ?!

— Вотъ это наша зала,—показываетъ она Гришѣ.

— Эка большуща, ровно церковь,—замѣчаетъ Гриша.—А нѣшто мѣряно—сколько въ ней саженевъ?—И онъ мѣряетъ глазами, и на его дѣтскіе глаза зала кажется неизмѣримой.—А это что?—спрашиваетъ онъ указывая на статуи свѣта, несущія канделябры,—это анделы?

— Нѣтъ, это геніи свѣта,—объясняетъ Гризли.—Они всюду вносятъ жизнь и свѣтъ, всюду!

И не можетъ понять Гриша, какъ неподвижныя статуи могутъ вносить свѣтъ. Онъ подходитъ къ нимъ и проводитъ ручкой по ножкѣ статуи.

— Ишь—пылища-то,—говоритъ онъ, показывая запачканную руку.—Изъ лебастру, чай, сдѣланы?

— Нѣтъ, Гриша. Изъ мрамора. Есть такой камень, какъ известка, только твердый такой, знаешь, слегка прозрачный.....

— А тамъ это больши раззолочены палати?—спрашиваетъ Гриша, показывая на хоры.

А Гризли смѣется и объясняетъ ему, что тамъ на этихъ палатяхъ, играютъ музыканты, когда внизу, въ залѣ, танцуютъ.

Идутъ дальше, въ желтую гостиную.

Гризли подводитъ его къ молящемуся мальчику.

— Посмотри-ка, Гриша,—говоритъ Гризли:—онъ молится. Посмотри, какое у него доброе, прекрасное лицо.

— А зачѣмъ-же онъ голый?—недоумѣваетъ Гриша.—Ровно изъ бани!...

— Это ангельчикъ, Гриша!

— Андельчикъ!... а зачѣмъ-же вонъ въ томъ углу смѣется это то-же андельчикъ?—спрашиваетъ Гриша, указывая на амура.

— Нѣтъ, это амуръ.

— Ну, а если вонъ этотъ не будетъ молиться и засмѣется, такъ онъ тоже будетъ амуромъ?—спрашиваетъ онъ.

И Гризли вдругъ поражаетъ это сходство: «да, почему-же,—думаетъ она,—я называла одного ангельчикомъ, а другаго амуромъ, почему?»

— Видишь-ли, Гриша,—говоритъ она,—амуръ—это богъ любви, меленькій такой божокъ, которому покланялись древніе римляне, а ангельчикъ—это служитель Бога.

— Да чѣмъ-же они разнятся? — снова недоумѣваетъ Гриша.—Вѣдь энтотъ и вонъ тотъ все равно мальчики, оба голенькіе и съ крылышками. Развѣ андельчикъ не можетъ смѣяться?

— Можетъ, да не такъ, не такимъ смѣхомъ: вѣдь ты посмотри, Гриша,—и она схватываетъ его за руку и подводитъ къ статуѣ,—ты посмотри, милый, развѣ можетъ такъ смѣяться ангельчикъ? Вѣдь это плутъ-мальчишка. У него смѣхъ и грѣхъ на умѣ. Онъ смотритъ какъ-бы съозорничать. Развѣ-же это ангельчикъ?!

— Но Гриша не убѣждается этой разницей.

— Нѣтъ,—говоритъ онъ,—я чай, и тотъ мальчикъ можетъ тоже такъ смѣяться.

Но Гризли не слушаетъ его и увлекаетъ дальше, увлекаетъ въ голубую гостиную, со стѣнъ которой смотрятъ большія потемнѣвшія, старинныя картины. Она показываетъ ему «Жертвоприношеніе Исаака». Изъ почернѣлаго фона картины какъ-то странно, клочками, выдаются: часть тѣла Исаака, рука Авраама и половина лица ангела. Гриша ни чего не понимаетъ въ этой картинѣ, какъ ни толкуетъ ему Гризли.

— Да зачѣмъ-же Онъ велѣлъ зарѣзать,—спрашиваетъ онъ,—ему сына?

— Затѣмъ, чтобы узнать, послушаетъ онъ Его или нѣтъ!

— Да вѣдь Богъ все знаетъ!—Какъ-же Онъ не зналъ, послушаетъ-ли Авраамъ Его или нѣтъ?

— Ахъ, Гриша! Богъ даетъ намъ свободу дѣлать такъ, какъ мы хотимъ. Какъ-же Онъ могъ знать: послушаетъ Его Авраамъ или нѣтъ? Онъ хотѣлъ испытать, любитъ-ли онъ Его больше, чѣмъ своего сына?

Гриша ничего не отвѣтилъ. Онъ только отвернулся отъ картины и подумалъ: «какъ-же Богъ не зналъ, любитъ Авраамъ Его или нѣтъ?»

Гризли подвела его къ Юдиѳи, и глаза ея заблестѣли.

— Смотри, Гриша, смотри, какое чудное лицо у этой женщины! Знаешь-ли? Она пришла въ лагерь, въ станъ непріятеля. И полководецъ Олофернъ пригласилъ ее отужинать съ нимъ; она согласилась, а когда, послѣ ужина, онъ заснулъ, то она взяла его мечъ и отрубила ему голову. Потомъ отнесла эту голову въ лагерь, къ своимъ іудеямъ. Когда противники увидали эту голову, то на нихъ такой страхъ напалъ, что они сняли лагерь и убѣжали.

Гриша молча долго смотрѣлъ на вдохновенное лицо Юдифи, на темное лицо спящаго Олоферна съ оскаленными бѣлыми зубами.

— Какъ же!—удивлялся онъ,—приближенные-то полководца не остановили ее? Значитъ, они были глупые или измѣнщики.

— Гриша, да кто же зналъ это? Она пришла такая красивая, молодая... Кто же могъ подумать, что она рѣшится на такой поступокъ!

— Да какъ же онъ не закричалъ!—удивился Гриша.— Вѣдь ему, чай, больно стало, какъ она начала голову-то рубить?!.. Нѣтъ!.. Это просто такъ... все враки однѣ!..

И онъ отвернулся отъ картины, заложилъ руки за спину и бойко двинулся дальше. Гризли подвела его къ «Усѣкновенію главы».

— Вотъ, вотъ, Гриша, посмотри сюда. Видишь эту святую голову. Ее отрубили, потому что женщина—вотъ эта—Иродіада—попросила, чтобы ее отрубили. Видишь: палачъ кладетъ эту голову ей на блюдо. Онъ—св. Іоаннъ—былъ праведный, любилъ правду, а мать этой женщины была злая, лживая; онъ обличалъ ее, бранилъ, и когда дочь ея угодила царю своей пляской и царь сказалъ: «проси, чего хочешь, у меня, я все исполню», то она выпросила у него голову Іоанна Крестителя.

Гриша ничего не отвѣчалъ. Онъ только спросилъ:

— А это все іудеи были?

— Да, іудеи!

— Этакое чудо,—подумалъ онъ:—тамъ женщина отрубила голову, а здѣсь для женщины отрубили голову.

— Они вѣрно злые были?—сказалъ онъ, отвертываясь отъ картины.

— Кто?

— Да іудеи?

— Нѣтъ, они были великіе. Это былъ великій Божій народъ, Гриша, а злой былъ ихъ царь Иродъ и злая женщина Иродіада.

Гриша ничего не отвѣтилъ, а молча прошелъ въ другую залу, съ темно-малиновыми обоями, въ залу съ большимъ окномъ въ потолкѣ, и это окно, прежде всего его удивило.

— Ишь ты,—проговорилъ онъ вслухъ,—окно-то въ потолкѣ! Это зачѣмъ же такъ?

— А такъ лучше, Гриша, когда свѣтъ сверху падаетъ, а не съ боковъ свѣтитъ... Посмотри, какая прелестная группа этихъ юношей!—И она подвела его къ геніямъ смерти и жизни. — Посмотри на этого, что сидитъ. Видишь, какой онъ грустный, печальный и опустилъ свой факелъ къ землѣ. Это смерть; а другой—это жизнь; видишь, какъ бодро и гордо онъ поднялъ горящій факелъ къ небу! Какъ онъ радостенъ!

— А что это такое хакелъ?—любопытствуетъ Гриша.

— Факелъ,—поправляетъ Гризли.—это прежде въ древнія времена, у грековъ и римлянъ были этакіе свѣтильники, которыми все освѣщали.

— А какъ же вонъ у насъ въ церкви на стѣнѣ написана смерть, что къ монаху пришла, такъ тамъ шкилетъ и съ косой?.. А здѣсь вонъ въюноша? Это, стало быть другая смерть?

— Другая, Гриша, другая!—говоритъ восторженно Гризли.—Въ ней нѣтъ ничего уродливаго, пугающаго, отталкивающаго. Не правда ли, она не страшна? Въ ней много грусти, печали. Но она не страшна. Не такъ ли, Гриша? Вѣдь прежде лучше представляли смерть, чѣмъ теперь, не правда ли?

Но этотъ вопросъ не укладывается въ головѣ Гриши.

«Смерть—все равно смерть...—думаетъ онъ.—Вонъ мамка умерла, а кака смерть ее взяла: смерть ли съ косой или этотъ въюноша съ хакеломъ,—не все ли равно! Умерла—и нѣтъ ее».

Но Гризли увлекаетъ, уводитъ его въ уголъ, къ статуѣ Психеи.

— А за смертью вотъ что идетъ, Гриша,—вотъ смотри: другая, свѣтлая жизнь! Вотъ эта милая дѣвушка, что держитъ бабочку на рукѣ... это душа человѣка. Она, какъ бабочка изъ куколки, выйдетъ изъ тѣла человѣка и упорхнетъ въ небеса.

Но здѣсь представленія Гриши окончательно запутываются.

— И у мамки такая же душа?—спрашиваетъ онъ, указавъ на Психею.

— Н-нѣтъ Гриша! Это душа всѣхъ вообще людей. Мы только воображаемъ, думаемъ, что душа человѣка должна быть такой же красивой, такой же легкой, какъ эта прекрасная дѣвушка съ легкой бабочкой.

— А платье на ней како?

— Это платье носили древніе греки. Не правда ли это красивое платье?

— Зачѣмъ же дѣвушку въ платье одѣли, а мужчинъ вонъ—все голыхъ сдѣлали? У грековъ развѣ мужчины не носили ни платья, ни рубахи?

— Нѣтъ, носили, но не всегда. Тамъ тепло, въ Греціи, Гриша.

— И зимой тепло?

— Да, и зимой тепло!

— И не стыдно имъ безъ рубахъ ходить? — дивится Гриша.

Но Гризли увлекаетъ его дальше.

— Какъ же мнѣ это прежде не приходило въ голову? —думаетъ она.--Смотрѣла, любовалась на весь этотъ классическій міръ и видѣла въ немъ только одну красоту, мысль, правду и ничего больше. Нѣтъ, это просто — маленькій, грязный дикарь, который не можетъ еще видѣть внутренней, духовной красоты.

— Гриша,—говоритъ она, когда они вошли въ скромную, голландскую залу.—Гриша, люби красоту, какъ любили ее древніе греки. Они не думали, въ рубашкѣ или безъ рубашки ходитъ человѣкъ, а думали о томъ, красивъ онъ или нѣтъ? У нихъ во всемъ были строй и красота. И что можетъ быть лучше красоты, Гриша? Это лучшее, что далъ намъ Богъ Милосердый!

Но Гриша ничего этого не понялъ. Онъ осматривалъ штучный, мраморный полъ и скромное убранство сѣренькой голландской залы, и небольшія картинки въ черныхъ рамкахъ. Утреннее солнце, ярко свѣтило сквозь опущенныя сторы, и вся зала смотрѣла пріютно и покойно.

— А здѣсь нѣтъ статуй-то,—замѣтилъ онъ.

— Да! Но здѣсь есть чудныя картинки.—И она подвела его къ кабачку, передъ которымъ пировали и плясали веселые мужички и женщины.—Посмотри, какъ имъ весело, какъ всѣ они довольны! — сказала Гризли. — И на всѣхъ здѣсь картинкахъ ты увидишь довольство, радость, покой...

— А красоты нѣтъ здѣсь? — спросилъ рѣзко Гриша.— И рамы здѣсь все, значитъ, простыя, черныя, а тамъ, значитъ, все красота и золото? — и онъ кивнулъ головой на другія залы.

Гризли посмотрѣла на него удивленными глазами.

— Да, красоты здѣсь нѣтъ!—согласилась она задумчиво... —Но не тамъ красота, гдѣ золото, Гриша!

И въ первый разъ въ жизни ей стало грустно въ этой пріютной веселой залѣ. Она вдругъ почувствовала, сознала ту пропасть, которая раздѣляетъ взглядъ ея и ея названнаго брата. И ей стало тяжело, что она не можетъ много объяснить ему, что у нихъ даже самый языкъ разный. Машинально она подводила его къ картинамъ, машинально толковала ему, а сама думала:

— Что же такое красота и что такое эта некрасивая, но довольная, пріютная жизнь? Ниже или выше она красоты? Нѣтъ!—рѣшила она—красота—это выше жизни, это то, что является сверху, съ вышины небесной, и приходитъ къ намъ случайно, обрывками. Но отчего же не было красоты въ этихъ простыхъ, грубыхъ, великихъ, святыхъ пастыряхъ? Отчего?

И она задумчиво, машинально взявъ Гришу за руку, черезъ небольшую галлерейку вошла съ нимъ въ библіотечную залу. Здѣсь царствовалъ полумракъ. Темныя сторы были опущены, но сквозь открытыя окна чувствовались жизнь и тепло лѣтняго, солнечнаго утра. Тихо, таинственно тянулись ряды книгъ въ дубовыхъ шкафахъ. Таинственно смотрѣли бюсты съ ихъ вышины. Тихо, неслышно, по мягкому ковру вошли Гризли и Гриша—и остановились.

— Это что-жъ такò? — шепотомъ спросилъ Гриша. — Книги?.. Ровно аптека.

Гризли молча кивнула головой.

— Книги. Лучшіе друзья человѣка.... Онѣ будутъ твоими друзьями, Гриша. Ты будешь читать, много читать.

— А это что-же стоятъ на шкафахъ?—спросилъ Гриша, указывая на бюсты.—Тоже красота?

— Это красота ума, Гриша. Это высшая красота. Это

тѣ люди, которые много знали, а еще больше думали. Это тѣ вдохновенные, которые указывали другимъ, какъ и куда идти.

«Да!—подумала она.—Есть двѣ красоты: красота тѣла и красота ума. Нѣтъ, есть три красоты: есть красота сердца. И вотъ ее-то имѣли всѣ они—эти простые великіе, святые пастыри. О, она неизмѣримо выше всего, что есть на землѣ!»

— А это что-жь тако?—спросилъ Гриша, робко подходя къ шкафчику, въ которомъ сидѣла кукла-статуя женевскаго философа.

— Это память о томъ, въ которомъ были въ одно время красота ума и красота сердца,—сказала Гризли и растворила двери шкафчика.

Философъ всталъ. Гриша испуганно смотрѣлъ на его неподвижное, лакированное лицо, на его безжизненные стеклянные глаза. И въ самомъ движеніи этого мертваго подражанія живому человѣку чувствовалось что-то пугающее и уродливое.

— Закрой!—вскричалъ Гриша, покраснѣвъ.—Я не хочу смотрѣть на него.

Но когда Гризли послушно закрыла дверцы шкафа и статуя, тихо поскрипывая, снова опустилась и сѣла на стулъ,—Гриша взялъ руку Гризли и тихо прошепталъ:

— А ну-ка, открой еще!

Гризли снова открыла—и снова приподнялся философъ.

— Какъ же это такъ сдѣлано?—спросилъ Гриша, всматриваясь въ куклу, съ трепещущимъ сердцемъ и подходя сбоку къ шкафчику.

— Тамъ Гриша пружина—внутри. Когда дверцы отворятъ, то пружина эта поднимается и поднимаетъ всю куклу.

Но Гриша не повѣрилъ. «Какъ-же — подумалъ онъ, —

когда дверцы отворяютъ, то пружина должна опускаться, а она поднимается?»

Гризли снова тихо закрыла шкафчикъ. Гриша усердно, пристально вглядывался и ничего не могъ понять.

— Пойдемъ, Гриша, дальше,—сказала Гризли.

— Да ты мнѣ растолкуй, какъ она такъ сдѣлана? Дверцы растворяются—а онъ опускается?

— Не знаю, Гриша. Будешь читать книги и узнаешь, какъ это устроено.

«Отчего-же — подумала она — это до сихъ поръ меня не интересовало? Или оттого, что меня занимала одна красота, а это просто — механика? — Но, дальше, дальше, пойдемъ, Гриша!

И крѣпко ухвативъ ручку Гриши, она повела его въ угловую. Ей хотѣлось туда гдѣ были жизнь и свѣтъ, — хотѣлось вонъ изъ этого полумрака. Тамъ музыка. О! она непремѣнно подѣйствуетъ на него; для него все станетъ ясно, и онъ пойметъ сердцемъ то, что не можетъ понять умомъ.

Но до музыки еще долго не пришлось добраться. Гришу заняли и невиданныя растенія; и золотыя рыбки, и въ особенности фонтанъ, игравшій серебрянымъ шарикомъ. Онъ дивовался и разспрашивалъ, откуда взялась вода и отчего золотыя рыбки не водятся въ нашихъ прудахъ, и отчего большіе цвѣты не могутъ цвѣсти въ нашихъ лѣсахъ. И на всѣ эти вопросы Гризли принуждена была отвѣчать однимъ досаднымъ: «не знаю!»

Но вотъ она, наконецъ, за роялемъ. Она усадила Гришу подлѣ себя, на мягкомъ табуретѣ. Она выбрала, казалось ей, самую легкую, для дѣтскаго пониманія, пьесу.

— Слушай, Гриша, — говоритъ она, — представь себѣ ночь, лѣсъ... Вѣдь ты бывалъ ночью въ лѣсу?

— Одинъ не бывалъ,—говоритъ Гриша,—а съ мамонькой ходилъ. Разъ мы заплутались...

— Ну, хорошо, слушай! Представь себѣ: по лѣсу ѣдетъ ѣздокъ и на рукахъ везетъ мальчика-сына.

И она начала быстрые, мрачные, мѣрно стучащіе аккорды.

— Отецъ прижалъ мальчика къ груди.

«Обнявъ его, держитъ и грѣетъ старикъ»...

Толковала Гризли, стараясь, чтобы въ нѣжныхъ переливахъ, перебивающихъ мѣрно-стучащій лошадиный топотъ, Гриша услыхалъ любовную заботу отца объ его малюткѣ.

«Что сынъ мой такъ робко ко мнѣ ты прильнулъ?»—

спрашиваетъ отецъ, а сынъ, слушай, отвѣчаетъ ему:

«Родимый! лѣсной царь въ глаза мнѣ сверкнулъ».

— Видишь, онъ испугался. Слышишь, какой испугъ въ его словахъ? Слушай, слушай, Гриша,—теперь отецъ отвѣчаетъ ему:

— «О, нѣтъ! все спокойно въ ночной тишинѣ,
«То ветлы сѣдыя стоятъ въ сторонѣ».

— А что такое лѣсной царь? Это кто такой?—спрашиваетъ Гриша.—Это лѣшій, что-ли?

— Ахъ, нѣтъ, Гриша! — и она перестала играть и закрыла лицо руками. — Видишь, у насъ это лѣшій, а тамъ, въ Германіи, это лѣсной царь. У насъ это безобразный, мохнатый лѣсной человѣкъ, а тамъ — красивый старикъ, весь въ бѣломъ, съ большой сѣдой бородой и въ свѣтлой коронѣ. Это чудный царь лѣсовъ.... Но слушай, слушай дальше!

— А что значитъ; красивый старикъ?..

— Слушай, слушай!,. — говоритъ Гризли, прислушиваясь сама къ чудному говору лѣснаго царя. — Слышишь, какъ ласково говоритъ онъ съ мальчикомъ:

«Дитя! оглянися! младенецъ, ко мнѣ!
Веселаго много въ моей сторонѣ.

Цвѣты бирюзовы, жемчужны струи,
Изъ золота слиты чертоги мои».

А вотъ видишь, видишь, — заговорилъ опять сынъ. — Слышишь, какъ испуганно онъ говоритъ отцу:

— «Родимый! Лѣсной царь къ себѣ насъ манитъ.
Онъ золото, радость и перлы сулитъ!»

А вотъ-вотъ опять спокойно, тихо отвѣчаетъ отецъ:

— «О, нѣтъ, мой младенецъ, ослышался ты!»

Но Гриша не слушаетъ—ни что говоритъ сынъ и лѣсной царь, ни то, что отвѣчаетъ отецъ. Давно уже, съ первыхъ аккордовъ, онъ былъ поглощенъ однимъ вопросомъ: что и какъ играетъ въ этомъ громадномъ, кривомъ ящикѣ на трехъ пузатыхъ ногахъ?—Онъ тихо приподнялся, всталъ на колѣни и заглянулъ подъ крышку рояля.

Въ это время мальчикъ отчаянно всхлипывалъ. Звучали тонкія, жалостныя, дискантовыя нотки, — и вдругъ Гриша увидѣлъ, что подъ крышкой рояля прыгаютъ какія-то кукулки, съ маленькими сѣрыми головками.

— Гризли, Гризли!—заговорилъ онъ шопотомъ:—смотри! смотри туда! Это что тако прыгатъ тамъ? Каки-то куколки. Ма-а-ахонькія!

Гризли сняла руки съ рояли. Вся поэзія улетѣла; все радостное, восторженное, такъ высоко поднятое чувство довольства, наслажденія превратилось въ озлобленіе: грусть тоску, разочарованіе. Она закрыла лицо руками, опустила голову на рояль и отчаянно зарыдала.

Гриша соскочилъ со стула. Онъ нѣсколько мгновеній растерянно стоялъ передъ названной сестрой. Потомъ робко началъ теребить ее за рукавъ платья.

— Гризли! Гризли! — допрашивалъ онъ. — О чемъ ты, Гризли? Тебѣ чего, скажи мнѣ, родненькая моя! о чемъ?

И углы его носа начали подпрыгивать; ротъ искривился;

онъ быстро, часто замигалъ и громко заплакалъ, утирая кулакомъ слезы.

Гризли откинула, подняла голову, схватила обѣими руками руки Гриши и притянула его къ себѣ.

— Не плачь, глупый, не плачь! Это такъ, пройдетъ. Видишь, я не плачу, все пройдетъ.

И она крѣпко поцѣловала его.

— Пойдемъ, бѣжимъ скорѣе. Пойдемъ въ садъ, въ паркъ. Туда, дальше отъ красоты.

И они побѣжали въ садъ, въ паркъ. Солнечное утро, душное, жаркое стояло надъ вѣковыми дубами; песокъ накалился. Косули спали въ тѣни, и только птичникъ шумѣлъ и голосилъ нестерпимо...

Такъ голоситъ какой-нибудь кузнечикъ въ сухой травѣ и, среди жаркаго дня и общей томительной тишины, выводитъ свои безконечныя трескучія трели.....

X.

Тучи плывутъ, тучи несутся на черныхъ крыльяхъ жаркой іюльской ночи. Плывутъ онѣ съ сѣвера, плывутъ съ полудня, плывутъ, наплываютъ со всѣхъ четырехъ сторонъ свѣта.

Страшно, тяжело въ душномъ воздухѣ. Грозная тишина притаилась, молчитъ. Что то зрѣетъ въ ея таинственной мглѣ?

Только порой порывъ вѣтра проснется, набѣжитъ, взмоетъ цѣлое облако пыли и снова уляжется.

Только порой какой-то зловѣщій, подземный гулъ и глухой рокотъ, гдѣ-то тихо, угрюмо прокатится и заглохнетъ.

Темная, черная ночь въ старомъ домѣ.

Все мертво, застыло среди гробовой тишины.

Страшно, пустынно въ большой залѣ, все молчитъ среди страшной, черной ночи.

Неслышно, изъ дальнихъ комнатъ, изъ мышиныхъ норокъ собрались, какъ маленькія тѣни, по угламъ огромной залы, старыя мыши и крысы. Собрались, столпились и молча, чутко ждутъ, приложивъ уши: что будетъ, что свершится въ таинственной ночной тишинѣ, среди зловѣшаго страшнаго мрака!

А въ этомъ мракѣ, надъ самымъ паркетомъ, плывутъ, клубятся темныя тѣни. Какія-то неуловимые образы тихо носятся, поднимаются, какъ облака тонкаго дыма, встаютъ— уродливыя, безобразныя,—выше и выше, растутъ и расплываются, какъ тонкій сѣрый туманъ, какъ неопредѣленное стремленіе человѣка.

Изъ гостиной, такъ-же какъ тѣнь, является Гризли. Легкимъ облачкомъ пара, тихо плыветъ она, бѣлѣетъ среди мрака, и относятся отъ нея, уплываютъ, какъ отъ дуновенія летучаго вѣтерка, мрачныя, безобразныя тѣни.

Онѣ протягиваютъ къ ней длинныя, когтистыя руки, но эти руки безсильно клонятся долу, закругляются и разносятся какъ хлопья тумана.

— «Слушай, слушай и умѣй понимать!»—тихо шепчутъ мрачныя, высокія стѣны.

— «Слушай, слушай и умѣй понимать!» — чуть слышно шепчутъ мрачные призраки!

— «Слушай, слушай, слушай и умѣй понимать!» — не глазами, но всѣмъ своимъ чуднымъ движеніемъ, говорятъ прекрасные ангелы свѣта.

И тихо загораются огни надъ ихъ головами, загораются огни свѣточей, которые несутъ они.

И гризли кажется, что едва замѣтный свѣтъ разливается отъ этихъ огней.

И чѣмъ дальше смотритъ она, тѣмъ сильнѣе и сильнѣе становится этотъ свѣтъ. Вся зала проникается имъ. Онъ идетъ оттуда, сверху, съ потолка. Но этого потолка уже нѣтъ. Онъ весь покрытъ ровнымъ, блестящимъ свѣтомъ, а внизу еще чернѣе сумракъ, и въ этомъ сумракѣ борются темныя тѣни.

Онѣ силятся подняться къ свѣту, но ихъ когтистыя руки безсильно таютъ, расплываются въ этомъ свѣтѣ. Онъ спускается какимъ-то свѣтлымъ облакомъ, и въ этомъ облакѣ Гризли ясно видитъ другіе свѣтлые образы.

Вотъ является цѣлый сонмъ чудныхъ дѣвъ, въ длинныхъ пеплумахъ. Ихъ прекрасныя, блестящія лица дышатъ одушевленіемъ; ихъ одежды свѣтятся, сіяютъ. Онѣ идутъ въ толпѣ чудныхъ юношей съ пальмовыми вѣтвями; и въ серединѣ ихъ сіяющій Фебъ, окруженный музами, спускается въ лучезарной колесницѣ. О, какая красота! Непостижимая и неподражаемая красота.

Но еще блестящѣе нисходятъ сверху другіе образы. Они прозрачны, совершенно прозрачны, какъ блестящій, сіяющій воздухъ. Въ ихъ лицахъ любовь и безмятежность соединились въ чудной гармоніи. Они свѣтятся нестерпимымъ но удивительно-пріятнымъ, нѣжнымъ, ласкающимъ свѣтомъ, и меркнутъ передъ этимъ свѣтомъ, погружаются въ безобразную тьму, всѣ красивые дѣвы и юноши. О, это другая красота, высшая красота!

А тамъ, выше, нисходитъ еще болѣе свѣтлое, блестящее облако, нисходитъ что-то невѣдомое, но желанное, влекущее.

И вдругъ, среди темной тьмы, внизу, слабо засіялъ какой-то тусклый, красноватый свѣтъ.

Гризли смотритъ и не вѣритъ глазамъ. Нестерпимый ужасъ охватилъ ея сердце. Тамъ, внизу, среди безобразныхъ темныхъ чудищъ, стоитъ ея названный братъ—ея Гриша.

Онъ держитъ въ правой рукѣ чудовищный пылающій факелъ, и отъ этого факела быстро развѣваются, какъ летучія мыши, темные образы. Онъ еще выше поднялъ факелъ; свѣтъ его коснулся чудныхъ дѣвъ и нагихъ юношей. И задрожали, поблѣднѣли прекрасныя образы. Они слились въ одинъ густой, сѣрый клубящійся туманъ. Еще выше поднялъ факелъ Гриша, и все растаяло, исчезло. Исчезъ цѣлый міръ красоты, исчезъ вмѣстѣ съ блестящимъ, сіяющимъ Фебомъ.

У Гризли замерло сердце.

— Пусть исчезнетъ—прошептала она—эта красота тѣла, красота земная!—И жадно слѣдила она за факеломъ. Еще выше поднялъ страшный факель Гриша и потрясъ имъ въ воздухѣ. Свѣтъ его коснулся тѣхъ дивныхъ образовъ, которые стояли тамъ, вверху, казалось, въ недосягаемой вышинѣ.

Образы поднялись еще выше и засіяли нестерпимымъ блескомъ.

— Все должно очиститься въ огнѣ обновленія,—проговорилъ глухо Гриша, и звукъ его голоса сухо отдался, какъ деревянный, во всѣхъ углахъ громадной залы.

Онъ еще разъ потрясъ страшнымъ факеломъ.

— «Умри мертвое! воскресни живое!»—произнесъ онъ громко и бросилъ факелъ.

Съ страшнымъ громомъ упалъ онъ внизъ; пламя его разлетѣлось съ оглушительнымъ взрывомъ, разбросалось на тысячу огненныхъ языковъ, и все запылало.

Запылали стѣны, геніи свѣта, запылали темные образы и чудныя дѣвы.

Крикъ, гамъ пошелъ по всему старому дому. Огонь работалъ вездѣ.

Черныя облака удушливаго дыма заволакивали, душили темные призраки. Все валилось, падало. Стѣны, мебель, ко-

лонны, трупы, статуи.—Это былъ хаосъ смерти и разрушенія.

Гризли хотѣла двинуться, вскрикнуть и не могла, не могла пошевилить ни однимъ суставомъ.

Дымъ разсѣевался; исчезало все, что было разрушено, убито. Исчезли темные образы, исчезли свѣтлые дѣвы и юноши и только вездѣ, всюду разливался царящими волнами полновластный, непобѣдимый, торжествующій свѣтъ.

Она подняла глаза кверху. Тамъ, среди ослѣпительнаго свѣта, что-то спускалось торжественное, страшное его чистотой и святостью...

Сердце ея остановилось. Въ ужасѣ она вскрикнула и... проснулась!..

Она проснулась въ своей комнатѣ. Окна были завѣшаны большими зелеными сторами; подлѣ нея сидѣла тетка; сидѣли доктора и нянька; у ея постели тихо всхлипывалъ Гриша.

— Очнулась! Ожила!—прошептала старая няня и начала креститься.

Всѣ подошли. Доктора начали ощупывать ее и выслушивать.

Она ничего не замѣчала, не чувствовала. Она вся была полна однимъ страстнымъ желаніемъ. Она порывалась нѣсколько разъ схватить Гришу за руку, притянуть его къ себѣ, и, наконецъ, это ей удалось.

Они обнялись и оба зарыдали.

Онъ плакалъ, припавъ къ ея плечу, а она обнимала его голову... Она отводила его волосы, падавшіе ему на глаза... Она цѣловала эти глаза.

— Гриша! Гриша!—шептала она... Милый!... Чего не можетъ присниться въ дикомъ, нелѣпомъ снѣ?! Гриша!.. Да и что вся наша жизнь, какъ не сонъ, и все пройдетъ какъ сонъ, и все кончится яркимъ, ослѣпительнымъ свѣтомъ...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Въ полномъ разгарѣ весенній пиръ. Радуется небо, радуется воздухъ, радуются кусты и деревья, чуть-чуть прикрытые молодыми, лаковыми листочками.

Все благоухаетъ—все полно восторгомъ и птицы свистятъ, поютъ безъ умолка.

Всѣ ветлы покрылись зеленоватыми пушистыми цвѣтами, всѣ акаціи разцвѣли желтыми цвѣточками и пчелы, шмели суетятся, снуютъ вокругъ нихъ, гудятъ радостнымъ гуломъ.

Все полно трепетомъ жизни, вездѣ изъ всѣхъ поръ она брызжетъ свѣтлымъ радостнымъ родникомъ. Шумятъ воды, шумятъ ручьи, бѣгутъ и пѣнятся, шумной радостью, быстрыя рѣки.

Не радуется одинъ старый домъ. Онъ постарѣлъ на цѣлый десятокъ лѣтъ. Угрюмо смотритъ онъ на праздникъ жизни и хмурится.

Немного оконъ открыто въ немъ—остальныя стоятъ закупоренныя, закрытыя, точно глаза слѣпаго.

Старческіе трещины пошли по старому дому:—обвалилась

штукатурка, обнажились кирпичи и выглядываютъ то тамъ, то здѣсь, словно кости худаго дряхлаго старика.

Разсѣлась большая каменная терраса. Посохли на ней всѣ вьющіяся растенія. Посохли померанцевыя и лимонныя деревья. Разтаскали ихъ и распродали больше половины.

Куда дѣлся роскошный цвѣтникъ; куда исчезли розы? Замолкъ фонтанъ—и только старыя ели, по старому, качаютъ сѣдыми головами и тихо шепчутъ:

«Бренное проходитъ—вѣчное остается!»

Заросъ, запустѣлъ старый садъ. Аллея, по которой ходила Гризли къ косулямъ и на птичникъ, заросла травой. Статуи стоятъ почернѣлыя, съ отбитыми руками и носами. Птичникъ заглохъ. Перевелись куры и голуби. Перевелись и косули.

Мерзость запустѣнія царитъ въ старомъ саду и домѣ.

Тиной заросъ, зазеленѣлъ свѣтлый прудъ. Старые осокори попадали въ его заглохшія воды.

Умерла птичница, умеръ старый садовникъ, умерли старая няня и старая тетка.

И новая жизнь играетъ и тѣшится на обломкахъ старой, шумно пируетъ на праздникѣ весны.

Раскрылись двери стараго балкона, вышла на нихъ Гризли. Стройная, статная, вышла на весенній пиръ, остановилась. Смотритъ въ тѣнь старыхъ деревьевъ, на яркія луговины, по которымъ пестрѣютъ весенніе цвѣты.

Но весна не живитъ ее. Грустно ея лицо; строгія античныя черты его проникнуты легкой нѣжащей, задумчивой граціей. Это—головка Беатриче Ченчи, обрамленная цѣлымъ каскадомъ длинныхъ, черныхъ кудрей. Угрюмо смотритъ она на старыя ели, смотритъ на разросшіеся кусты бріоній, которые, какъ космы зеленыхъ волосъ, опутали эти старыя, старыя ели. Тяжело, мрачно въ ея сердцѣ. Тяготитъ на ней печаль стараго дома!..

— Господи!—думаетъ она.—Развѣ не Твоей великой волей двигаются волны жизни!.. Развѣ не законна была эта красота, которая проникала и вела эту жизнь впередъ, какъ свѣтлое, святое знамя—къ человѣчности и къ свѣту истины?..

Но отчего-же при этомъ вопросѣ тоска и смущеніе нападаютъ на ея сердцѣ?!.

Она посмотрѣла опять на разрушенный, заглохшій цвѣтникъ, на замолкшій фонтанъ, съ котораго сняли треснувшую, развалившуюся чашу. Она съ невыносимо тяжелымъ чувствомъ подумала о пышныхъ розахъ, которые цвѣли здѣсь передъ балкономъ въ дни ея милаго дѣтства, ея свѣтлой юности ..

«Бренное исчезаетъ; вѣчное остается!» — шепчутъ старыя ели, угрюмо качая вершинами.

— Что же это вѣчное!?—допытывается Гризли... и куда-же идетъ этотъ темный міръ, въ его слѣпомъ, дѣтскомъ, животномъ стремленіи?..

Она посмотрѣла вопросительно кругомъ — на веселый праздникъ весны...

Все суетилось, пѣло, летало—двигалось... Въ каждомъ золотистомъ молодомъ листкѣ, въ каждой свѣжей зеленой травинкѣ чувствовалось движеніе, стремленіе жить, рости—волноваться.

Все было дѣятельно... Одна Гризли ни къ чему не стремилась... Для нея была чужая эта ликующая жизнь природы.

Отлетѣло, увяло все, что красило эту жизнь, что волновало надеждами... Въ ея сердцѣ была осень, скучная осень угрюмаго, стараго дома.

Она вздохнула и вошла въ его парадныя залы.

Мракомъ, пылью, душнымъ тяжелымъ воздухомъ пахнуло на нее. Гдѣ же то, что живило, что наполняло эту жизнь стараго дома... Отчего такъ радостно, съ такимъ упованіемъ когда-то трепетало ея сердце?..

Непріютно, темно было въ парадной залѣ, точно въ саркофагѣ древней гробницы.

Никто уже, давнымъ-давно, нѣсколько лѣтъ не обтиралъ пыли съ ея стѣнъ и эти стѣны смотрѣли—черныя закоптѣлыя, точно покрытыя сѣдымъ мохомъ. Паутины застилали всѣ углы, свѣшивались съ потолка длинными черными нитями.

Вся лѣпная работа съ него давно уже свалилась, отвалилась мѣстами и штукатурка и темныя, грязныя пятна—разплылись, желтѣли то тамъ, то здѣсь. Позолота потемнѣла. Чехлы на люстрахъ окутались пылью. Несверкали уже сквозь нихъ брилліантовыя хрустальныя подвѣски и чѣмъ-то страшнымъ казались они въ темнотѣ высокаго потолка, точно висѣльники стараго, умершаго времени.

Паркетъ потрескался. Онъ скрипѣлъ и трещалъ даже подъ легкой походкой Гризли. Штучныя узоры на немъ какъ будто протестовали противъ каждаго ея шага; какъ будто говорили: «не тронь кости мертвыхъ, не ходи по насъ!»...

Она шла дальше... Шла къ тѣмъ картинамъ, которыя, наполняли когда-то ея восторгомъ и трепетомъ—молодую, восторженную душу.

Но теперь эти картины потрескались и почти вовсѣ почернѣли. Только кое-гдѣ выступали на нихъ блѣдными, грязными пятнами освѣщенныя мѣста.

Она остановилась передъ Юдифью. Она силилась отыскать тѣ черты ея лица, которыя когда-то ей такъ нравились и вливали въ сердцѣ энтузіазмъ и восторгъ. Гдѣ же эти черты!? Ихъ нѣтъ—а въ сердцѣ черство и сухо.

— Ты правъ былъ, правъ съ твоимъ грубымъ сужденіемъ дикаря—шепчетъ она.

И въ ея мозгу стоитъ его сентенція, его приговоръ надъ этой картиной, и какъ будто слышится его голосъ—сильный и звонкій.

— Это все сочинено и придумано. Развѣ могла мо-

литься женщина, передъ тѣмъ какъ отрубить голову. Тутъ нападетъ страхъ или злоба, а не молитва. Гораздо ужъ вѣрнѣе картина Гораса Верне. Тамъ дѣйствительно видишь озлобленную жидовскую фурію... и разнѣжившагося развратнаго ассурскаго сатрапа... а здѣсь... въ чемъ она одѣта— что за театральный балахонъ?!!.. Да и сама она точно вышла на сцену въ Comedie Française и произноситъ тираду изъ Корнеля или Расина....—Историческій художникъ долженъ быть строгъ болѣе, чѣмъ всякій другой. Отъ него всѣ вѣка прошлаго требуютъ исторической правды... а это... это просто героиня съ подмостковъ, съ фероньеркой на лбу... Все условно, придумано и все наврано... безъ стыда и совѣсти. Все ложь, а въ лжи нѣтъ красоты, она въ правдѣ.

И послѣ этого приговора картина опротивѣла для Гризли. Въ ней остались только одни воспоминанія привязанности къ прошлому, къ глупому, но дорогому, къ безобразному, но милому.

Она боялась смотрѣть и на другія картины. Вѣдь и надъ ними тяготѣло его осужденіе. Ей страшно было подойти къ жертвоприношенію Авраама—до того былъ тонокъ и ѣдокъ приговоръ надъ ней.. да притомъ она такъ почернѣла, что ничего нельзя было уже разобрать на сплошномъ темномъ полотнѣ.

Она прошла со вздохомъ и мимо Саломеи.

— Отчего же Буддѣ не отрубили голову—вспомнилось ей—и Христу не отрубили... а Іоанну отсѣкли?.. Отрубили и восхищаются и умиляются... Да отчего же нужна эта кровь!!?. Отчего!..

Но вопросъ остался безъ отвѣта.

Гризли порывисто подходитъ къ маленькой картинкѣ, къ сіяющей картинкѣ, въ которой, въ темныхъ ясляхъ, лежитъ Онъ и свѣтитъ, и блеститъ, и сіяетъ... Она смотритъ какъ много свѣта разлито во всей этой картинкѣ.

— «Да все это условно... вспоминается ей... Она сіяла... въ свое время... а теперь потемнѣла... И если ее поставить передъ новыми эффектами свѣта... то, она покажется просто чернымъ пятномъ... А гдѣ же здѣсь маги?... (допрашивалъ онъ). Небесная мудрдость поклоняется, а земная отсутствуетъ... Въ этой картинѣ мысль хороша (Да! Онъ похвалилъ ее и этимъ гордилась и дорожила Гризли)... Здѣсь «человѣчность» возведена въ Божество, окружена свѣтомъ и этотъ свѣтъ идетъ изъ нее и все освѣщаетъ... Да выше этого свѣта нѣтъ ничего въ цѣломъ свѣтѣ и все предъ нимъ должно преклониться...»

И она—утѣшенная этимъ отзывомъ—вошла въ слѣдующую залу... Тамъ онъ похвалилъ цвѣты, плоды... Но какъ онъ посмѣялся, какъ жестоко посмѣялся надъ всѣми статуями.

— «Чепуха! Сказалъ онъ, остановившись предъ Психеей... Чепуха!.. какъ и всякій идеалъ... Кто и когда видѣлъ душу человѣка?! Какая она такая?... Увидали что бабочка выходитъ изъ куколки и обрадовались символу... И этимъ восхищались и до сихъ поръ восхищаются...

— А это другая чепуха—идеалистика... — сказалъ онъ останавливаясь передъ геніями жизни и смерти... По мнѣ ужъ лучше «родосскій геній» Гумбольдта... Тамъ все таки ближе къ истиннѣ... а это вздутый мыльный пузырь, который будетъ висѣть въ воздухѣ... пока не лопнетъ...

— Тебѣ вотъ что нравится.—Сказала Гризли подводя его къ борцамъ.

— Ничуть не нравится!...—Я, скорѣе помирюсь съ Лаокономъ... Тамъ для анатома и антрополога больше матеріала... а здѣсь...

— Но ты смотри съ точки красоты, изящнаго... волнообразныхъ, красивыхъ линій...

— А что такое красота?... Спросилъ онъ рѣзко.

— То что намъ нравится...

— Ну это такъ широко... Что все сюда провалится...

— Такъ опредѣли же ты: что такое красота?...

— То что мѣняется съ вѣками, націями, развитіемъ человѣчества и чего мы еще далеко не знаемъ... Въ настоящее, бѣдное время, «красота» все то, что даетъ намъ полную жизнь, довольство ей... Наконецъ именно то, что даетъ ровное, постоянное наслажденье этой «жизнью»... А здѣсь! И онъ широкимъ взмахомъ руки окинулъ всю залу... здѣсь все ложь... все придумано, выдумано... Что намъ нравится?!.. Китаецъ такъ же можетъ находить красивымъ его картины и украшенія... Но развѣ для насъ—это красота!!...

И она опустивъ голову входитъ въ библіотеку...

— Господи!... Какъ все старо и мертво здѣсь!... Словно мертвецы глядятъ мраморные бюсты съ шкафовъ... Словно погребальныя урны стоятъ длинными рядами, книги—книги потемнѣвшія, пожелтѣвшія, покрытыя пылью. Никто не оботретъ, не стряхнетъ эту пыль. А тамъ, въ сѣверномъ углу, они покрылись темными, зелеными пятнами, обросли плѣсенью... И какой то тяжелый затхлый запахъ истлѣвшаго мертвеца!... И мертвая кукла великаго философа сидитъ неподвижно... Теперь Гризли знаетъ, какъ и почему она поднималась; онъ, — ея Гриша, — добрался до механизма, показалъ и объяснилъ ей какъ и почему. Только при этомъ пружину сломалъ и съ тѣхъ поръ кукла сидитъ неподвижно.

Гризли идетъ дальше отъ этихъ мертвецовъ, которые хранятъ живыя, вѣчно юные мысли и чувства... идетъ къ ея роялю... на который время уже наложило свою тяжелую, недумающую руку. Въ послѣдніе десять лѣтъ онъ уже сталъ не тотъ.—Его нотки начали издавать дребезжащіе, точно стонущіе звуки... И вся его музыка словно дрожащій голосъ, уже постарѣвшей пѣвицы—который звучитъ воспо-

минаніемъ, отголоскомъ когда-то свѣжей, давно минувшей, много обѣщавшей весны...

Она вынула старую пожелтѣлую ораторію объ вѣчномъ словѣ распятаго Бога-Слова... И рояль запѣлъ грустнымъ надтреснутымъ тономъ. Было что-то невыразимо тяжелое въ его хлябающихъ звукахъ. Было больше чѣмъ страданіе; была могильная, все схоронившая безнадежность... Каждый старый звукъ повторялъ одно и тоже, какъ старыя ели.

«Бренное проходитъ, вѣчное остается!»

Она взяла фальшивый аккордъ, вздрогнула и вдругъ остановилась. Этотъ аккордъ напомнилъ ей другой изъ Лѣснаго царя. Напомнилъ ей сцену дѣтства... когда она плакала надъ этой роялью, разочарованная непониманіемъ «его»—«его»—дикаря-ребенка...

Теперь другое горе, другое разочарованье, иная тоска... Тяжелымъ грузомъ налегла она на сердцѣ и опустила его въ могилу забвенья... Все, все въ этомъ залѣ, въ этомъ старомъ домѣ объято страшнымъ сномъ смерти. Все глохнетъ, разрушается тихо... незамѣтно и неотразимо. Старыя мысли, старыя чувства гибнутъ. И это яркое, весеннее солнце свѣтитъ безучастно на все. Оно одно неизмѣнно. Оно свѣтитъ на всю эту древнюю пыль: на растрескавшіеся потолки, полинялыя обои, потемнѣвшую позолоту и бронзу.

Страшна, страшна эта смерть стараго дома!

И одна она—Гризли живетъ среди его разрушающихся стѣнъ—словно нѣмой сторожъ времени. И нѣтъ въ сердцѣ силы выйти на встрѣчу новой жизни. На новыя стремленія, на новую дорогу.....

III.

Тихій лунный свѣтъ робко крадется по лѣсамъ и полямъ, по рощамъ и лугамъ. Кротко свѣтитъ полная, ясная луна, въ глубокой небесной чашѣ.

Затихъ весенній пиръ. Заснула природа и только ночной хищникъ беззвучно крадется въ ночной темнотѣ.

Луна свѣтитъ на старый домъ и подъ этимъ свѣтомъ бѣлѣетъ онъ, словно покрытый бѣлымъ саваномъ смерти.

Свѣтъ ея дробится и искрится на окнахъ стараго дома, на высокихъ окнахъ балкона и тихо беззвучно открывается средняя дверь. Гризли показалась на балконѣ-террасѣ.

Лунный свѣтъ обхватилъ ея бѣлое длинное платье и въ немъ она бѣлѣетъ, точно привидѣніе, среди сумрака ночи.

Лицо ея спокойно, глаза закрыты. Она тихо идетъ, шатаясь и колеблясь, какъ тростинка отъ дуновенія вѣтра.

Она вышла на террасу. Она спустилась съ ея широкихъ растрескавшихся ступеней. Заколебалась, остановилась.

Но какая-то неудержимая, неодолимая сила повелительно зоветъ и влечетъ ее впередъ. Она вытягиваетъ, простираетъ руки къ маленькой рощѣ, что стоитъ сбоку стараго дома. Тамъ живетъ онъ... Тотъ, кому съ дѣтства она отдала и свое сердце и свою душу—ея Гриша.

А онъ стоитъ уже на небольшомъ каменномъ крылечькѣ маленькаго домика. Онъ такъ же протягиваетъ къ ней руки и точно какая то невидимая сила выходитъ изъ этихъ рукъ и влечетъ неудержимо Гризли, тянетъ ее къ себѣ.

Его голова гордо закинута назадъ — красивая голова съ немного грубыми чертами чисто русскаго склада. На лбу— высокомъ, нависшемъ надъ глазами—время, труды и горе, вырѣзали глубокіе борозды. Длинные свѣтлорусые волосы

его точно вихремъ разметались во всѣ стороны. Глубокіе сѣро-голубые глаза, какъ два огня повелительно, непреклонно смотрятъ въ даль — полные могучей, несокрушимой воли.

Гризли вступила въ рощицу. Она подходитъ къ домику. Она вся дрожитъ и трепещетъ. Она колеблется, шатается, чуть не падаетъ, но неодолимая сила влечетъ ее къ тому, кто стоитъ на крыльцѣ маленькаго домика и повелѣваетъ всѣми силами ея души.

Она вступила на первую ступеньку крылечька. Онъ отступилъ къ дверямъ и скрылся за темной занавѣсью, которая отдѣляла его отъ рощи и сада.

Медленно поднялась она по немногимъ ступенямъ.

Она вошла въ небольшую, совершенно темную переднюю, вошла въ большую, также темную залу, въ которой все было разбросано въ какомъ то хаотическомъ безпорядкѣ. Приборы, инструменты, книги валялись на полу, въ углахъ комнаты. Громадный столъ, передъ большимъ венеціанскимъ окномъ, весь былъ заваленъ всякими мелочами. Лунный свѣтъ игралъ и искрился на цѣломъ строѣ какихъ то стеклянныхъ трубочекъ, на длинныхъ высокихъ подставкахъ, прямо торчащихъ кверху. Лучь свѣта упалъ на полотенцѣ, брошенное на мягкое кресло и среди таинственнаго мрака, проникнутаго слабымъ, фосфорическимъ луннымъ свѣтомъ, это полотенцѣ бѣлѣло, словно привидѣніе. Оно какъ будто расплывалось и двигалось, какимъ то прозрачнымъ туманомъ.

Онъ повелительно указалъ ей на это кресло и она покорно опустилась въ него; и глубоко вздохнула. Голова ея свѣсилась и поникла.

Онъ всталъ передъ ней и устремивъ свои руки,—направилъ всѣ пальцы ихъ прямо на ея темя.

— Можешь ли ты видѣть теперь? — спросилъ онъ въ полголоса—но твердо, повелительно.

— Могу...—тихо проговорила она.

— Можешь-ли видѣть то, что я желаю?...

Она молчала. Онъ еще сильнѣе, еще повелительнѣе устремилъ свою волю на все существо ея.

— Нѣтъ!.. Нѣтъ! Не могу!!.—И она откинула голову на спинку кресла.

Онъ нѣсколько мгновеній держалъ руки все въ томъ же утомительномъ напряженіи. На высокомъ лбу его выступилъ холодный потъ.

Она лежала и казалось спала покойно.

— Я вижу...—тихо проговорила она.

Онъ весь обратился въ слухъ.

— Я вижу.... гору... высокую гору... а надъ ней темно-синее, южное.... ясное небо...

— Мнѣ не нужно твоей горы и этого яснаго неба,—вскричалъ онъ раздраженно.—Мнѣ не этого нужно... Смотри!

И онъ снова устремилъ остатокъ всей энергіи, послѣднія свои силы на ея волю... Но силъ этихъ было уже не много. Руки его дрожали. Воля утомилась...

А она лежала неподвижно и казалось спала глубокимъ, мирнымъ сномъ.

— Я вижу,—тихо, чуть слышно проговорила она... И снова, точно отъ электрическаго удара, явились въ немъ и вниманіе, и силы.

— Я вижу,—говорила она и чѣмъ далѣе говорила, тѣмъ тверже и громче становилась ея отрывочная рѣчь... Я вижу вершину высокой горы... Она вся покрыта камнями... Голая вершина... Нѣтъ! На ней кусты, кое-гдѣ кусты—съ сучьями, съ искривленными сучьями... Они покрыты иглами... Кое-гдѣ травка... Пожелтѣлая... Она посохла... Кругомъ камни... Большіе камни!

Она остановилась, приподняла голову и усиленно вглядывалась плотно зажмуренными глазами...

— Ахъ!.. Идутъ!.. Два человѣка идутъ сюда... На вершину горы... Впереди идетъ старикъ... Съ длинной сѣдой бородой, въ большомъ тюрбанѣ, въ бѣлой абу... съ широкими темными полосами... Ему жарко!.. Онъ несетъ жаровню... Она полна углей... горячихъ углей... а дымъ отъ нея,— густой дымъ,—такъ и стелется по землѣ... За старикомъ идетъ красивый мальчикъ... юноша... съ такимъ яснымъ лицомъ... Онъ почти голый. Онъ несетъ на спинѣ вязанку дровъ и хворосту.

. . . . . .

Нѣсколько секундъ прошло въ молчаніи, среди котораго раздавался бой часовъ въ сосѣдней комнатѣ, да мѣрно тикалъ какой-то аппаратъ, стоявшій на столѣ.

«Опять она галлюцинируетъ...—думалъ Гриша.—Опять я не могу сладить съ ея представленіями... Она видитъ какую-то картину собственнаго изобрѣтенія!..»

Вдругъ она сказала такъ явственно и громко.

— Они взошли на гору!.. Старикъ что-то говоритъ юношѣ (и она, раскрывъ ротъ, начала прислушиваться). Нѣтъ! Ничего не слышно (и она откинулась на спинку кресла и тихо заговорила): вотъ юноша сбросилъ вязанку... Вмѣстѣ съ старикомъ они начали таскать тяжелые камни. Они складываютъ изъ этихъ камней низенькій, но широкій четыреугольный столбъ... Ахъ! это жертвенникъ... Старикъ кладетъ дрова и хворостъ на этотъ жертвенникъ... Юноша что-то говоритъ, чего то словно ищетъ, объ чемъ-то спрашиваетъ старика—и тотъ отвѣчаетъ ему. Ахъ!.. Опять ничего не слышно!.. Старикъ указываетъ ему на небо... И юноша смотритъ туда... въ самую глубь неба.. смотритъ восторженнымъ взглядомъ. Онъ складываетъ руки на груди, а старикъ поднимаетъ веревку, которой были связаны дрова и начинаетъ связывать ею руки юноши... Онъ связываетъ тщательно, заботливо... Затѣмъ связываетъ ему и ноги. Онъ

крѣпко обнимаетъ, цѣлуетъ его и вдругъ схватываетъ его сильными руками, поднимаетъ и кладетъ на дрова и хворостъ. Юноша поблѣднѣлъ, но глаза его горятъ и прямо смотрятъ въ глубину блестящаго неба. Ахъ! Старикъ торопливо вынимаетъ изъ-за пояса широкій, блестящій ножъ, жертвенный ножъ... Вотъ онъ схватываетъ лѣвой рукой юношу за волосы... гнетъ его голову назадъ...

Она замолкла и вся дрожала... Затѣмъ глубоко вздохнула и снова тихо начала:

— Старикъ смотритъ на небо, смотритъ любящимъ и вѣрующимъ взглядомъ... Какое-то облако наплываетъ на небо... Какой-то смутный шумъ летитъ изъ облака... Старикъ вдругъ рѣзко обертывается назадъ... Ахъ! Тамъ въ кустѣ терновника запутался рогами громадный бѣлый баранъ и рвется, не выдерется... Старикъ дрожитъ. Изъ глазъ его льются слезы. (И она тихо начала всхлипывать). Онъ торопливо развязываетъ юношу. Что-то говоритъ, нѣжно цѣлуетъ его и оба опускаются на колѣни, оба плачутъ, поднимаютъ дрожащія руки къ жаркому, блестящему небу...

Она замолчала.

Прошло нѣсколько мгновеній. Она застонала, вытянулась... И какимъ-то глухимъ, груднымъ голосомъ, вовсе не похожимъ на ея голосъ тихо, внятно проговорила:

— Любовь побѣдила любовь! Любовь къ небу побѣдила любовь къ единственному сыну... Великій прообразъ великаго Отца, не пожалѣвшаго, для спасенія людей, его единственнаго, единороднаго Сына.

И съ этими словами она дико, громко вскрикнула и быстро скатилась съ кресла на полъ. Голова ея тяжело стукнулась о плиты каменнаго пола.

Гриша нагнулся надъ ней и началъ обмахивать ее руками и энергично дуть ей въ глаза, въ лицо.

Она тяжело вздохнула и открыла глаза...

IV.

Широкое, необозримое, мрачное поле, перерѣзанное оврагами, тонетъ въ ночномъ сумракѣ.

Гризли летитъ надъ нимъ, легкой прозрачной тѣнью.

Она летитъ и вся душа ея трепещетъ и содрогается.

Все поле залито кровью... усѣяно убитыми и ранеными.

Злой вѣтеръ несется надъ полемъ и твердитъ постоянно одно и тоже:

«Десять тысячъ! Десятъ тысячъ!.. Десять тысячъ твоихъ родныхъ, единокровныхъ братій лежатъ здѣсь—лежатъ убитые, или изуродованные, умирающіе...»

И видитъ Гризли какъ легкія тѣни носятся надъ убитыми. Онѣ поднимаютъ руки къ небу. Хотятъ взлетѣть, подняться выше и не могутъ.

Ихъ руки опускаются, ихъ головы падаютъ безсильно на грудь; на ихъ одеждахъ тяжелые брызги братской крови...

И Гризли слышитъ, какъ раздаются жалобные, надрывающіе душу стоны, раненыхъ, но она ничѣмъ не можетъ помочь имъ. Страшная мука видѣть страданія брата, не зная чѣмъ помочь ему!

На громадномъ полѣ и въ глубокихъ оврагахъ мелькаютъ огоньки. Къ одному изъ нихъ подлетаетъ Гризли. Она думаетъ, что это спасительные огоньки санитаровъ, что люди помогутъ ихъ страждущему брату, который страдаетъ отъ ихъ-же братоубійственной руки.

Три человѣка наклонились надъ раненымъ. Онъ стонетъ такъ жалобно—и кажется сердце изъ камня тронется его стонами.

Люди наклонились надъ нимъ. Маленькій фонарикъ на

поясѣ одного усатаго человѣка прямо свѣтитъ въ лицо раненому—въ молодое, блѣдное лицо, полное страданія.

Люди торопятся. Они съ быстротою молніи стаскиваютъ съ раненаго дорогой гусарскій мундиръ, вытаскиваютъ изъ кармановъ кошелекъ, бумажникъ, часы.

Раненый открываетъ глаза.

— Лиза! Это ты?—тихо спрашиваетъ онъ вглядываясь въ безобразное лицо.

Но только что успѣлъ онъ выговорить эти слова, какъ длинный и острый кинжалъ, по самую рукоятку погрузился въ его сердце. Онъ дико вскрикнулъ и какъ бы подпрыгнулъ. Теплая кровь брызнула на убійцъ, на Гризли. И она съ ужасомъ отлетаетъ прочь. Она несется дальше, дальше отъ страшной картины—а вѣтеръ постоянно гудитъ и въ ея ушахъ раздается раздирающій душу крикъ,..... въ ея глаза смотрятъ добрые, любящіе глаза убитаго!.....

. . . . . .

Не помня себя она летитъ дальше. Запахъ крови уже не преслѣдуетъ ее. Воздухъ становится тише, свѣжѣе, чище.

Гдѣ-то въ сторонѣ лаетъ собака. Пахнуло дымкомъ.

Вотъ опять огоньки, много огоньковъ. Гризли вздрагиваетъ всѣмъ своимъ прозрачнымъ воздушнымъ тѣломъ. Но эти огоньки свѣтятъ такъ тихо и мирно.

Гризли вглядывается. Они свѣтятся въ окнахъ избушекъ—большихъ двухъ-этажныхъ и крохотныхъ, покачнувшихся. Дымъ несется изъ всѣхъ трубъ. Отрывочный людской говоръ слышится на улицахъ.

Вотъ у одной избы столпилась кучька людей. Они проходятъ на дворъ, входятъ въ избу. Гризли невидимкой идетъ за ними.

— Бабушка Лукерья, Матрена!—кричатъ люди...—чай не спите... Эстафета пріѣхала. Письмо привезли.

И вся кучька людей входитъ въ избу, тускло освѣщенную лучиной.

И всѣ крестятся, молятся на передній уголъ, уставленный образами. Посреди избы стоитъ вдова, солдатка Матрена, хозяйка избы. Съ полатей слезаетъ сынъ Митя, 20-лѣтній малый, съ добрымъ румянымъ лицомъ, съ ясными голубыми глазами. Съ печи лезетъ бабушка Лукерья, старая на старая, носъ крючкомъ, спина дугой, сѣдые космы торчатъ изъ-подъ высоко повязаннаго платка, черные блестящіе глаза глядятъ изъ-подъ сѣдыхъ бровей. Слезла, спустилась, стучитъ подошкомъ, ковыляетъ—идетъ—и всѣ передъ ней разступаются, и всѣ ей кланяются. Всѣ, въ цѣлой деревнѣ въ цѣломъ околоткѣ знаютъ и слушаютъ бабушку Лукерью.

Перекрестились, помолились. Нарочный подалъ эстафету, письмо...

— Отъ Микиты!—вскрикнула Матрена.—Сердце чуетъ отъ него и слезы въ два ручья побѣжали изъ ея глазъ.

Распечатали письмо, выступилъ впередъ Васька, паренекъ грамотный по двѣнадцатому годку и сталъ читать.

«Матушкѣ любезной, нижайше кланяюсь и слезно прошу родительскаго благословленія. Пишу изъ гошпиталя подъ Епаторіей. Сила на насъ поднялась великая. Хранцузъ и турокъ, и англичанинъ съ ими; берутъ силомъ русскую землю. Погибнетъ наша земля, въ полонъ возьмутъ ее бусурманы и нехристи. Матушка родимая посылай на мое мѣсто Митьку; ему дѣлать около тебя нечего, а я совсѣмъ негожусь; извели меня нехристи; обѣ ноги отрѣзали, руку повредили, изкалечили. Завтра, баютъ, помирать буду за царя, за вѣру православную, за землю родимую. Прости моя матушка родимая, не печалуйся, благослови!....

Страшный, раздирающій душу крикъ, вырвался изъ груди матери. Обмерла она, опрокинулась; подхватили ее положили на лавку.

Перекрестилась бабушка Лукерья; головой затрясла, выступила впередъ.

— Митя!—позвала она твердымъ, мужскимъ голосомъ.

Выступилъ къ ней блѣдный Митя.

— Слышалъ, что-ль?

— Слышалъ-ста!—прошепталъ Митя.

— За Руссь, за землю родимую, за вѣру православную хочешь ли умереть?

Краска медленно разлилась по лицу Мити, глаза загорѣлись и засверкали.

— Хочу!—вскричалъ онъ и ударилъ себя въ грудь кулакомъ.

— Благословляй бабушка Лукерья, завтра иду... за вѣру, за Русь родимую!

— Подайте образъ! — властно, повелительно сказала бабушка.

И тотчасъ нѣсколько рукъ бросаются и берутъ образъ Стратилата-воина и подаютъ бабушкѣ Лукерьѣ.

Бабушка Лукерья медленно истово креститъ, благословляетъ своего внука и благословивъ цѣлуетъ его троекратно, а слезы сами собой катятся, бѣгутъ изъ глазъ бабушки и внука.

И чувствуетъ Гризли, что у ней самой катятся слезы и не можетъ она понять чего ей больше жаль: бѣдной крестьянской семьи или той земли, той родной земли, на которой она сейчасъ видѣла столько крови раненыхъ и труповъ.

И чудится ей, что все это во снѣ, что вотъ, вотъ она сейчасъ проснется. Уже видитъ она кисейный пологъ, подъ которымъ она спитъ въ ея спальнѣ.—Но прямо въ окно свѣтитъ полный мѣсяцъ и по его лучамъ она поднимается летитъ, летитъ по заламъ стараго дома и прямо останавливается передъ, большой, потѣмнѣлой, картиной Юдифи. Мѣсяцъ прямо свѣтитъ на эту картину и она вся блеститъ и сіяетъ подъ его лучами.

И сквозь дымку этого фосфорическаго свѣта раздвигаются шире и шире рамки картины. Передъ Гризли опять

сѣрое, ночное поле. Много народу на этомъ поле передъ городскими стѣнами. Цѣлыя толпы снуютъ, шушукаютъ, чего-то ждутъ. Всѣ смотрятъ на городскіе ворота и вотъ показалась изъ нихъ процессія. Впереди всѣхъ она—молодая, вдохновенная, гордая, красивая, одѣтая въ лучшія блестящія свои одежды. За ней горничная съ шкатулкой, а подлѣ идетъ сѣдой жрецъ верховный, главный жрецъ храма Бога Израиля.

За городскими воротами они останавливаются—и говоритъ ей жрецъ.

— Иди! дочь моя! Иди на подвигъ Божій! Иди спасать народъ твой. Изъ любви къ нему, не страшись жертвы, ибо жертва пріятна Богу.

— Я не страшусь! И сердце и душу мою полагаю за народъ. Пусть принята будетъ Господомъ любовь моя.

И она склоняется и жрецъ благословляетъ ее и всѣ, весь народъ тихо, молча склоняется передъ этимъ благословеніемъ.

Но тускнѣетъ, расплывается картина — и сквозь сѣрый туманъ выплываетъ передъ Гризли другая картина, выясняются царскіе чертоги гордаго сатрапа Олоферна и идетъ широкій пиръ и сидятъ на царскомъ мѣстѣ Олофернъ и Юдифь. И много гостей поютъ и пируютъ, смѣются и ликуютъ за царскимъ столомъ.

И чувствуетъ Гризли какъ дрожитъ и бьется чуткое сердце въ груди Юдифи.—«Достойна ли!? Совершится ли ея грѣшными руками то, что она задумала?.. Будетъ ли она вторымъ Давидомъ, избавляющимъ отъ Голіафа своихъ единокровныхъ братій?!!.. Кругомъ ея враги! Много сильныхъ враговъ.»

Встаетъ Олофернъ, шатаясь и ведетъ его Юдифь въ опочивальню и смолкаетъ пиръ, и расходятся гости....

Туманъ заволакиваетъ глаза и голову Гризли, но и

сквозь этотъ туманъ она чувствуетъ, ту любовь которая горитъ и бьется въ сердце Юдифи — любовь къ ея землѣ, къ ея единоплеменнымъ братьямъ...

Туманъ разсѣдается, она въ потьмахъ—кругомъ ея мракъ и тусклый свѣтъ лампады. На коврѣ подъ ногами кровь, лужа крови. На широкой постели лежитъ что-то безобразное, кровавое, обезглавленное. О! какимъ ужасомъ томится ея сердце... Скорѣе, скорѣе! Прочь изъ этой комнаты на просторъ воздуха, на свободу чистаго, громаднаго поля.

И она несется, несется по этому полю. Впереди ея бойко, торопливо бредутъ двѣ фигурки, а впереди ихъ у городскихъ стѣнъ толпы народа. И вдругъ всѣ эти толпы, разомъ, какъ бы изъ одной могучей, широкой груди издаютъ крикъ торжества и побѣды.

Любовь побѣдила! Братья, земля родная спасены! Слезы радости бѣгутъ изъ глазъ Юдифи. Она шатается, но ее поддерживаютъ тысячи братій. Для нихъ она святая, они цѣлуютъ края ея одежды. Они съ торжествомъ несутъ окровавленный мѣшокъ, въ которомъ лежитъ голова ихъ общаго, сильнаго врага.

V.

Раннее, весеннее утро заглядываетъ въ окна богатой спальни стараго дома. Весеннее, нарядное, красное солнце будитъ Гризли такъ же какъ оно будило ее въ дѣтствѣ.

Она открываетъ глаза. Она думаетъ, что къ ея постели тихо, неслышно, подходитъ ея старая добрая, любимая и любящая няня. Но нѣтъ, давно нѣтъ ея няни.....

На мѣсто ея смотритъ изъ стѣны пуговка электрическаго звонка. Стоитъ подавить ее и тотчасъ вбѣжитъ рѣзвая, хорошенькая субретка Анни. И подастъ своей милой барышнѣ умыться и одѣнетъ ее.

Но не протягивается ея рука къ пуговкѣ электрическаго звонка. Страшна ей эта пуговка, какъ страшна вся новая жизнь, насильно врывающаяся и опрокидывающая старую. Она до сихъ поръ не привыкла еще къ ея постелѣ, на мягкомъ пружинномъ тюфякѣ, обтянутомъ замшей—къ желѣзной кровати, отдѣланной вычурно и фигурно.

Но онъ хочетъ этой жизни. Онъ — ея пріемный братъ, другъ ея дѣтства. Она смотритъ на все его глазами и при этомъ чувствуетъ невольно, что это не ея глаза.

Она хочетъ жить его чувствами и не можетъ. Она понимаетъ и сознаетъ, что это не ея чувства.

Она хочетъ проникнуться его мыслями, его сознаніемъ и не можетъ. Она чувствуетъ, что его мысль идетъ другими, невѣдомыми ей путями.

И между тѣмъ, всю ее невольно и безсознательно тянетъ къ нему. Объ немъ ея мечты, въ немъ ея желанія... Каждый день и цѣлый день она ждетъ когда, наконецъ, отворится сердце его для нее и не можетъ дождаться этой великой, блаженной минуты.

Что лучше, желаннѣе, — думаетъ она, — жить вдвойнѣ полной жизнью? Я въ немъ и онъ во мнѣ?.. Но этой жизни онъ не допускаетъ...

Постоянно суровый, почти мрачный, онъ живетъ затворникомъ въ его домикѣ.—Въ этомъ домикѣ стоятъ его препараты, приборы, машины. Тамъ его книги, много книгъ... Въ нихъ онъ весь, а ей—только скудныя минуты!..

Каждый вечеръ на нее нападаетъ глубокій сонъ и она чувствуетъ, что этотъ сонъ—его могучая воля. Она засыпаетъ и не знаетъ, что творится въ эти часы... но она чувствуетъ, что именно въ эти часы она всей своей душей принадлежитъ ему.

— Гриша, — говоритъ одинъ разъ она ему въ душный іюльскій вечеръ. — Я чувствую, что со мной что-то совер-

шается почти каждый вечеръ... Я засыпаю не по своей волѣ...

— Въ лунатизмѣ,—прерываетъ онъ ее.—Ты женщина-лунатикъ...

— Неужели ничѣмъ, ничѣмъ нельзя помочь мнѣ... Ты знающій такъ много... Неужели твоихъ знаній, силы и воли недостаточно, чтобы уничтожить во мнѣ эту болѣзнь...

— Не къ чему!.. — говоритъ онъ сурово. — Это не болѣзнь, а особенное патологическое состояніе твоей психики.

И ей становится страшно, невыносимо страшно этого таинственнаго, непонятнаго раздвоенія всего существа ея... Она точно въ плѣну, точно въ темницѣ, а онъ—ея тюремщикъ.

Сколько разъ въ душный, іюльскій вечеръ, она готова была отдаться ему, обнять его жарко, прижать къ своему любящему, горячему сердцу... Но довольно было одного его взгляда—холоднаго, суроваго, повелительнаго и вся горячка страсти и весь пылъ сердца падалъ, исчезалъ... Холодъ, туманъ спускался на душу. И умъ и сердце покорно засыпали...

Наконецъ, смутно она начала догадыватся, что ему не нужна ея страсть, ея сердце, ея чувства. Ему нужна была ея чистая, непорочная воля... Ея душа, которой онъ распоряжался по его усмотрѣнію.

А дни тянулись, какъ сонъ и на порогѣ уже стояла и стучалась въ умъ и въ сердце холодная, костлявая старость...

Куда же ушла вся жизнь ея?...

Страшна она—эта разбитая, старѣющаяся жизнь среди стѣнъ стараго, разрушающагося дома!..

VI.

Тихая, южная, ночь спитъ такъ торжественно. Таинственно, необъятно—глубокое темнофіолетовое небо... Тайна въ воздухѣ, тайна на небѣ, тайна на землѣ...

Тусклый красноватый мѣсяцъ стоитъ низко надъ пологой равниной и едва освѣщаетъ ее. Черная ночь властно царитъ надъ всѣмъ... И спятъ глубокимъ сномъ города и села, люди и звѣри, птицы и рыбы—спятъ въ глубокихъ, быстро бѣгущихъ, рѣчкахъ, въ широкихъ озерахъ, въ пѣнящемъ морѣ.

Вездѣ спящая, дремлющая жизнь... И вездѣ люди, города и села. Уже два часа летитъ Гризли и все передъ ней одно и то же... Все тотъ же нескончаемый муравейникъ, полный людской, копотливой жизни.

Всюду картонные, карточные домики, построенные точно изъ кулисъ или изъ ширмъ; убранные безвкусно и пестро, обклеенные, вмѣсто обой, почтовыми марками—вычурно и фигурно. Всюду вывѣски длинныя, развѣшенныя, точно полотенцы, вывѣски съ громадными хитрыми гіероглифами... Высокія фарфоровыя башни, съ концами крышъ, загнутыми кверху мирно спятъ въ ночномъ воздухѣ—и этотъ воздухъ тихо, робко шелеститъ одно и то же.

— Тихое, сонное царство!

И чуть слышно звенятъ въ этомъ воздухѣ серебрянные колокольчики на крышахъ высокихъ башень и пагодъ. Всюду маленькіе садики, разубранные какъ дѣтскія игрушки. Всюду кусты чайнаго дерева.

Спятъ люди божьи, непробуднымъ сномъ. И тѣсно имъ, жутко среди этой многолюдной жизни и только немногіе, болѣе даровитыя и болѣе дѣятельныя выползаютъ и переселяются въ другія, чуждыя страны.

Летитъ Гризли и поражаетъ ее эта страшная «тягота жизни» и не можетъ она понять къ чему эти люди живутъ въ ихъ пестрыхъ, картонныхъ домикахъ. «Не для того ли,— думаетъ она—чтобы растить кусты и деревца, собирать съ нихъ листья, гноить, сушить ихъ и разсылать по всему міру— чтобы эти листья поддерживали горячимъ отваромъ дѣятельную жизнь умнаго, образованнаго человѣка?!.

Летитъ Гризли и думаетъ:—нѣтъ полновластнѣе деспота—какъ жизнь. Она принуждаетъ жить...

И какъ бы въ подтвержденіе ея мысли изъ ночнаго мрака, среди многолюднаго города—выплываетъ передъ ней что-то безобразное, страшное, мертвенное въ его безчеловѣчіи.

За глухими стѣнами, въ узкомъ грязномъ пространствѣ, скучено десятка два человѣкъ. Они лежатъ, какъ свиньи, въ липкой грязи, на гнойной соломѣ. Страшный, невыносимый запахъ стоитъ надъ ними. Убійственный, тяжелый, зараженный воздухъ—кругомъ нихъ. Онъ пропитываетъ ихъ одежды. Среди живыхъ валяется гніющій трупъ...

Вотъ одинъ прислонился къ грязной, сырой стѣнѣ. Его бритая голова покрыта кровью и струпьями. Гризли ясно видитъ, при слабомъ свѣтѣ, который издаетъ ея собственное тѣло, видитъ какъ сочится кровь и матерія изъ этихъ струпьевъ, и какъ ползаютъ по всей грязной его одеждѣ отвратительные паразиты.

Несчастный человѣкъ стонетъ и хрипитъ... Болятъ его кости, ноютъ руки и ноги, забитыя въ колодки. Все сердце Гризли перевертывается отъ жалости... Но чѣмъ же она можетъ помочь ему!?.. И слезы и рыданія вырываются изъ груди ея.

Она говоритъ несчастному:

— Надѣйся и вѣрь! Ты спишь и скоро проснешься къ иной жизни!

Но онъ не слышитъ, не можетъ слышать ея словъ,—онъ не можетъ вѣрить...

Тихо, словно нѣжнымъ вѣтеркомъ, относитъ Гризли и выплываетъ она изъ душной тюрьмы—выплываетъ въ маленькій закоулочекъ, между двухъ высокихъ стѣнъ. Тамъ, въ темномъ углу, свалена какая-то безобразная масса, куча человѣческихъ членовъ.

Вчера это былъ человѣкъ.

Палачъ изрѣзалъ его на три тысячи кусковъ—изрѣзалъ множествомъ ножей и ножичьковъ, что висятъ у его пояса въ одномъ общемъ кожанномъ футлярѣ. На каждомъ ножичькѣ стоитъ надпись, гіероглифъ: «первый суставъ мизинца», «большой палецъ лѣвой ноги», «кисть правой руки», «лѣвый глазъ», «правое бедро».

Палачъ вынимаетъ одинъ за другимъ ножи и ножичьки, вынимаетъ на удачу, на судьбу... Можетъ быть рука вынетъ ножъ, которымъ онъ долженъ отрѣзать сразу голову или вырѣзать сердце... Но нѣтъ! Это ножи большіе... а надо начинать съ маленькихъ.

И льется кровь и раздаются стоны несчастнаго... рѣжутъ ножи... рѣжутъ часъ, два часа рѣжутъ.. одинъ суставъ за другимъ... отрѣзаютъ носъ и уши... вырѣзываютъ глаза...

Невыразимый ужасъ нападаетъ на душу Гризли. Она вся дрожитъ и страдаетъ мучительной болью.. Голова ея кружится... Сознанье покидаетъ ее...

Страшны казни и муки придуманныя безчеловѣчнымъ человѣкомъ!

Она силится улетѣть прочь отъ этихъ безумныхъ, страшныхъ сценъ, но чувствуетъ, что это выше силъ ея.

И она летитъ все тамъ же, надъ этимъ людскимъ муравейникомъ, надъ этими безчеловѣчными людьми. И жалобно звенятъ, серебрянымъ звономъ, подъ крышами высокихъ

башенъ маленькіе колокольчики... и близится разсвѣтъ. Уже заалѣлъ востокъ... Холоднѣе становится утренній вѣтерокъ.

И встаетъ солнце и встаетъ утро.

Какъ сквозь тяжелый сонъ видитъ Гризли этотъ свѣтъ...

Она видитъ большой городъ, все въ той же землѣ... Она видитъ дворцы... По улицамъ города проходитъ процессія, проѣзжаетъ повелитель всей земли, сынъ неба. И всѣ въ ужасѣ падаютъ ницъ. Всѣ на пути его припадаютъ къ землѣ, боясь взглянуть на великаго владыку.

И идутъ вокругъ богатыхъ раззолоченныхъ носилокъ важные и жирные мандарины—съ красными, синими, зелеными шариками на шляпахъ.

И еще страшнѣе становится Гризли... И не можетъ она понять: что это за жизнь передъ ней? Полная безчеловѣчія и глупости... Жизнь мертвая, неподвижная, во всемъ ея звѣриномъ безобразіи... а между тѣмъ люди живутъ и дорожатъ ею, повинуясь слѣпому животному инстинкту.

— Господи!—думаетъ она—когда же ты разбудишь ихъ.

И одного только незнаетъ она; не знаетъ что они давно, очень давно уже не спятъ... а творятъ великое тайное дѣло міровой судьбы.....

VII.

Душно, тяжело въ ночномъ воздухѣ. Удушливый жаръ давитъ, жметъ душу... Едва движется Гризли... Вѣтеръ жжетъ, а не освѣжаетъ ее... и страшно давитъ этотъ воздухъ и мозгъ и сердце.

Куда летитъ она?.. Что-то страшное ждетъ ее впереди!.. Вся душа ея какъ-бы сжата въ тяжелыхъ желѣзныхъ тискахъ...

Громадная туча или облако передъ ней впереди! Нѣтъ, это дымъ... и мечутся въ немъ молніи. Страшный гулъ гу-

дитъ, несется издали.... Гулъ, точно отъ громаднаго пожара...

Быстрѣе несется она, слышнѣе гулъ... Она подлетаетъ къ высокой горѣ и вся дрожитъ и колеблется гора отъ сильнаго, страшнаго грома... и прямо передъ ней столбъ клокочущаго пламени...

На мигъ остановилась, задержалась она и ужасная и величественная картина развернулась передъ ней...

Громадная котловина, полная растопленной огненной лавы. Всюду дымъ и удушливый сѣрный смрадъ. И сквозь этотъ дымъ свѣтятъ, горятъ огни... и льются, бѣгутъ, струятся огненные ручьи и рѣки. Повсюду прыгаютъ, мечутся синіе огоньки.

И чудится Гризли въ этомъ шумѣ и громѣ, въ этихъ оглушительныхъ выстрѣлахъ какой-то грубый, громкій голосъ поетъ одно и тоже, одно и тоже... Точно громадный дикій оркестръ играетъ нескончаемую фугу, поетъ адскую пѣсню...

«Грубое горитъ! Огонь работаетъ!.. Грубыя силы творятъ... Работаетъ земля. Работаетъ небо!

И думаетъ Гризли.

Это громадная печь, кузница земли... Наверху, въ далекомъ небѣ тихо работаетъ свѣтлое, горячее солнце... а здѣсь... работаютъ они, грубыя силы земли.

И не чувствуетъ Гризли, какъ она подлетаетъ къ ужасному жерлу, изъ котораго съ страшной, чудовищной силой,— съ силой, съ которой не могутъ сравняться никакія человѣческія силы, вылетаютъ огонь, дымъ, громадные, раскаленные камни, горячій пепелъ... и цѣлыми потоками течетъ, льется, клокочетъ огненнная жидкая лава... А кругомъ, съ оглушительнымъ громомъ, бьютъ и сверкаютъ ослѣпительныя молніи...

И чувствуетъ Гризли, что она спускается внизъ по кло-

кочущему пламени, въ самое жерло волкана, въ страшныя, огненныя залы, въ самыя нѣдра земли.

И кажется ей, что всѣ залы наполнены чудовищными образами. Они выростаютъ изъ клубовъ дыма... и горятъ и смердятъ въ огненныхъ, клокочущихъ озерахъ...

И кто-то темный и мрачный спускается вмѣстѣ съ Гризли... спускается по невидимой, огненнной лѣстницѣ и глухо говоритъ ей—громовымъ голосомъ, и жжетъ этотъ голосъ сердце Гризли.

«Все грубое сгораетъ въ огнѣ страстей... Все грубое сгораетъ,—говоритъ этотъ страшный голосъ,—въ огнѣ злобы и ненависти, въ страшномъ, смрадномъ огнѣ безсердечія и безчеловѣчія... Въ тѣхъ безднахъ, гдѣ плачь и стонъ, и скрежетъ зубовный... Ты сошла въ преисподнюю земли.

И тихій унылый вѣтеръ, отъ котораго замираетъ вся душа и леденится сердце, гудитъ печально.

«Идутъ годы, грядутъ вѣка!.. Идутъ годы, грядутъ вѣка!.. Работаетъ вѣчный огонь!.. Очищаетъ, воздвигаетъ...»

И стонъ, плачъ и адскій вопль окружили Гризли. Они сильнѣе всякаго грома разорвали всю душу... Она дико, неистово вскрикиваетъ и.... просыпается...

Каждая жилка дрожитъ въ ней, всѣ нѣдра души ея содрогаются... Она чувствуетъ всю свою слабость, слабость человѣческой природы и не можетъ сладить со своими жалкими бренными чувствами...

«Господи!—говоритъ она,—Господи!.. Ты единая надежда и единое упованіе... помози мнѣ!..»

VIII.

А въ двери стучатся, ломятся...

— Кто тамъ?

— Это я, я, барышня...

Гризли медленно, сонная, отпираетъ.

— Вѣдь, уже второй часъ... Вы стонете... кричите, и мы не можемъ разбудить васъ...

Входитъ, вся перепуганная, Анни. А за ней, въ отдаленіи, стоитъ онъ.

Портьера тихо приподнимается и выставляется голова его, Гриши.

— Можно войдти?—спрашиваетъ онъ.

И все сердце Гризли переполнилось радостью.

Онъ подходитъ къ постели и беретъ ее за руку. Онъ смотритъ ея пульсъ...

— Гриша! Говоритъ она.—Я видѣла какой-то страшный сонъ... Я видѣла много огня... Постой, дай мнѣ вспомнить, что я видѣла...

Но ничего не можетъ она припомнить. А онъ смотритъ на нее выжидающимъ, нетерпѣливымъ взглядомъ...

О! Еслибы этотъ взглядъ измѣнился на любящій, еслибы въ немъ промелькнула хотя одна, слабая искра чувства!

— Гриша,—говоритъ она...—ты говорилъ, что всѣ мы живемъ чувствомъ. Оно ведетъ и руководитъ насъ...

Онъ молча кивнулъ головой.

— А ты Гриша?! Ты живешь одной головой... Въ тебѣ нѣтъ никакой привязанности и ни къ кому...

И въ голосѣ ея задрожали слезы. Онъ нахмурился.

— Ты ошибаешься. Во мнѣ сильна привязанность къ знанію, къ истинѣ и этой привязанностью я живу и каждый человѣкъ, живущій умомъ, а не влеченіемъ сердца и плоти долженъ идти этой дорогой. И еслибъ люди всѣ шли этой дорогой, то они давно бы уже пришли къ иной, разумной жизни, въ которой всѣ страсти были бы подчинены разсудку.

— Гриша!.. — Говоритъ она съ дрожью въ сердцѣ...— странна, непонятна мнѣ эта жизнь!..

— Живи, думай и ты поймешь ее...—Говоритъ онъ и останавливаетъ свой пристальный взглядъ на ея глазахъ и она чувствуетъ на себѣ силу его ужасныхъ глазъ... Туманъ закрываетъ ея голову и сердце. На мигъ, на мгновенье все смѣшивается въ какомъ то хаосѣ въ ея головѣ... И когда она очнулась; то его уже не было въ ея спальнѣ... Передъ ней стояла Анни.

Молча умывается и одѣвается Гризли. и идетъ въ садъ. Яркій, солнечный день горитъ надъ ней. Все живетъ жизнью плоти. «Почему же человѣкъ долженъ жить не этой жизнью, а его умомъ, связаннымъ и подверженнымъ всякимъ заблужденьямъ и ошибкамъ?!.. Неужели не въ глубинѣ сердца скрытъ тотъ руководитель, который неодолимо влечетъ насъ къ тому или другому дѣлу, къ свѣту и къ небу?!»

И теперь ее ведетъ этотъ руководитель. Она быстро проходитъ тѣнистый запущенный садъ, проходитъ мимо прудовъ позеленѣлыхъ, заросшихъ осокой и камышемъ. И жизнь играетъ въ ихъ водахъ и надъ ними. Тысячи стрѣлокъ, коромыслъ летаютъ, гоняются другъ за другомъ, летаютъ парами... Гусеницы всѣхъ породъ ползаютъ въ водахъ ихъ, гусеницы въ трубочкахъ изъ обгрызковъ водяныхъ травъ, изъ песку, изъ маленькихъ улитокъ.

Идетъ Гризли къ дальней, меленькой калиткѣ. Спитъ около нее сторожъ, въ старой караулкѣ. Сторожъ древній который помнитъ Гризли еще маленькою и помнитъ дѣда, стараго князя.

Гризли вышла на чистую, яркую луговину. Она идетъ по сжатымъ прошлымъ лѣтомъ полямъ. Просторъ и свобода идутъ подлѣ нее и обхватываютъ ее со всѣхъ сторонъ...

«Отчего же думаетъ она здѣсь, въ этихъ поляхъ и лугахъ та же природа выглядитъ иначе?!.. Отчего здѣсь

чувствуешь ея просторъ и силу!.. А тамъ въ большомъ тѣнистомъ саду видишь и слышишь, что все это искуственно... Здѣсь нѣтъ красоты, но нѣтъ и безобразія, какъ въ этомъ заброшенномъ саду... Отчего?...

И думаетъ Гризли спросить объ этомъ ея умнаго и знающаго Гришу... Только незнаетъ она, что Гриша только думаетъ: что онъ это знаетъ...

Идетъ Гризли, несетъ помощь бѣдной старушкѣ, которая отказалась отъ ея богадѣльни; сколько ни уговаривала ее Гризли.

Несетъ ей Гризли помощь и мерещится ей страшный сонъ который она видѣла на дняхъ. Она силится припомнить этотъ сонъ... и не можетъ. Она чувствуетъ что вся душа ея замираетъ отъ этого сна... Она видѣла... да она ясно видѣла неволю жизни... Жизнь ради жизни...

Она видѣла жизнь въ страданіяхъ, въ грязи, среди кровавыхъ мученій, жизнь подъ страшнымъ гнетомъ и люди все таки живутъ и рады этой жизни—только одной жизни... Отчего же не рада ей эта старушка бабушка Минодора, къ которой она идетъ теперь, съ ея посильной помощью... Отчего же бабушка усиленно отказывается отъ этой да и отъ всякой помощи?

Она вошла въ деревню...

Деревня спитъ—точно вымерла.

Сонныя овцы мирно дремлютъ на солнцѣ — въ тѣни избъ. — Грязныя свиньи спятъ въ лужѣ посреди улицы и грязь блеститъ на солнцѣ, на ихъ щетинахъ.

Опустѣла деревня. Всѣ уѣхали на весеннюю работу. Только въ одной, дальней избѣ, жалобно голоситъ покинутый, дѣтскій голосъ...

Идетъ Гризли, къ маленькой покачнувшейся избушкѣ, что стоитъ на краю села.—Одинокая избушка, безъ двора, грустно наклонилась къ землѣ.

Входитъ она въ крохотныя сѣнцы, входитъ въ избу.

— Не умерла ли?—думаетъ она.—Не поздно ли пришла моя помощь?

Но нѣтъ — жива бабушка Минодора, жива еще въ ея девяносто два года. Она помнитъ еще прошлый блестящій вѣкъ, гдѣ все было разнуздано. Она сама была эсаулша въ одной далекой, оренбургской деревнѣ. Господская воля перевела ее въ Архистратигино и здѣсь спускалась она все ниже и ниже и дошла до одинокой жизни, въ гнилой, курной избушкѣ.

Но не поддается и не падаетъ въ битвѣ жизни бабушка Минодора. Она вся протестъ, не смотря на ея девяносто два года...

Лежитъ она на ея жесткой постели... Немощная и больная... Но строго и ярко горятъ глаза ея изъ подъ широкихъ, совершенно черныхъ бровей.—Сѣдыя космы выбились изъ подъ головнаго платка. — И всякій, кто взглянетъ на эти глаза, на твердо торчащій, заострившійся носъ, на плотно сжатыя губы, подумаетъ,—съ какой страшной силой воли долженъ быть характеръ у этой старухи?!

— Бабушка!—говоритъ Гризли—я принесла тебѣ лекарство, о которомъ говорила тебѣ вчера...

— Спасибо!—говоритъ нехотя бабушка...—Свою господскую душеньку потѣшила...

— Не объ ней я думала и думаю бабушка, а о твоей несчастной и неладной душѣ.

— А что объ ней думать?.. Есть хорошо... а нѣтъ и то ладно.

— Страшно бабушка, что въ твоей душѣ нѣтъ мира и кротости.

— А на кой лядъ она потребна... твой миръ и кротость?.. Вотъ ты живешь въ мирѣ и кротости, а спокойно ли жить то тебѣ?

— Страшно бабушка,— твердитъ упорно Гризли,— что нѣтъ въ тебѣ жизнерадости...

— Какой радости?.. Когда была молода была и радостна... А теперь куда я пойду?.. Кто мнѣ радъ и кому я радостна?.. Земля есть и въ землю пойду...

— Бабушка къ Господу ты пойдешь, къ Господу милостивому, на судъ Его страшный.

Бабушка ничего не отвѣтила, только махнула дрожащей рукой, старческой и костлявой.

— Бабушка! Страшна жизнь безъ любви, безъ вѣры...

Бабушка вдругъ приподнялась на постелѣ и пристально посмотрѣла на Гризли...

— А твоя жизнь развѣ не страшна?!. Живешь ты съ любовью и съ вѣрой... Жалостная да болѣзная... Чѣмъ бы дѣтко не тѣшилось—все ладно... Жила и я такъ то... Какъ ты живешь... Уйду бывало въ боры дремучіе... Въ нашей заволжской сторонѣ есть страшенные боры... Уйду къ медвѣдямъ лютымъ... Съѣдятъ молъ, такъ съѣдятъ... Уйду молиться Господу... Вѣрила я что если помолиться Ему, Отцу нашему милостивому, такъ всѣ бѣды и напасти прочь... А было мнѣ тогда годковъ 12, не болѣ... Былъ у насъ тогда моръ... Батюшка померъ... Матушка разнемоглась этой черной немочью... Думала я: какъ молъ не сжалится Отецъ небесный и не оставитъ въ живыхъ мать мнѣ... Вѣдь сирота я буду... Ни дядей, ни тетокъ... Никого!..

Бабушка замолкла, вся сморщилась, стиснула зубы... и начала корчится, но ни одинъ стонъ не вырвался изъ груди ея.

— Пить! Попить дай—проговорила она съ трудомъ.

И Гризли зачерпнула воды въ ковшичекъ и дала ей пить.

— Вотъ этакъ то безъ тебя... — начала бабушка ослабѣвшимъ голосомъ... — Лежу, лежу... Загоритъ сердце... Душно... а встать то не могу, не осилю... Напоить то и некому...

— Бабушка! Вѣдь я уговаривала тебя лечь въ больницу.

Но бабушка опять махнула рукой.

— Не надоѣдай ты мнѣ—проговорила она—съ больницей твоей—и замолкла.

— Бабушка! — заговорила Гризли нѣсколько минутъ спустя.—Что же ты не досказала... Какъ ты Богу въ лѣсу молилась?..

— Ну! такъ и молилась... Душеньку свою всю выплакала... Пришла въ деревню... а мать то уже лежитъ мертвая...—(Бабушка помолчала опять).—Думаю: чай обрядить ее надо... А чѣмъ обрядишь?.. Ничего въ избѣ нѣтъ... Стянула это я ее съ постели на полъ... Обмыла... Одѣла опять въ то же... Обрядила... На другое утро пришли... взяли... увезли ее... И осталась я сиротой... въ чужихъ людяхъ мыкаться... Такъ и росла... Гдѣ пинокъ, гдѣ блинокъ... У людей семья... достатокъ, у меня ничего нѣтъ... Одни лохмотья грязныя... И сколько я ни жила... всѣ меня моимъ сиротскимъ дѣломъ попрекаютъ... Точно я согрѣшила, что осталась сиротой горькой... Спала я чуть не въ свиномъ хлѣву... Дядя Карпъ былъ злющій—да пьяный... Колотилъ меня, чуть не каждый день... А росла я дѣвка красивая... Брови соболиныя... Румянецъ во всю щеку... Съ чего бы думала я?.. И полюбилъ меня что ни на есть лучшій парень въ селѣ... Тихій, красивый, да ласковый — сынъ старосты... Митріемъ звали... Давно это было..

И бабушка на мгновеніе замолкла. Точно какой то теплый свѣтъ заглянулъ въ ея озлобленную душу...

— Ну! слюбилась я съ нимъ... И устроилъ онъ все такъ, что повѣнчались мы увозомъ... Не въ нашемъ селѣ, а въ дальнемъ, Овсянковѣ... Попы то знаешь въ враждѣ были... Ну! Отецъ то Яковъ и радъ былъ отбить сватьбу отъ отца Андрея... Повѣнчались мы на голытьбу... Хоть волкомъ вой... Свекоръ то шибко осерчалъ... Ничего намъ

не далъ и со двора протурилъ.. Не сынъ мой ты говоритъ... Ну! Что же? Кому жалится, гдѣ судъ искать?.. Не горюй, говорю, Митя... Сила у насъ есть... выберемся... А надо сказать что была я перва работница на селѣ... Куды за мной другимъ дѣвкамъ... Люта была въ работѣ-то... Отошла я отъ сродниковъ... Наплевала... Всюду меня зовутъ... вездѣ дорожатъ... Ну, да съ тяжестью то подъ сердцемъ немного наработаешь... А тутъ еше горе накрыло... Митю въ солдаты взяли... Не ему былъ чередъ, да такъ подвели анаѳемы, змѣи ехидные, что ему лобъ забрили... Самъ отецъ хлопоталъ... Все злобу на немъ вымѣщалъ—что женился не по его указу... Какъ разъ къ его уходу я дочьку родила... Такуже ладную какъ онъ самъ... Хорошеньку дочьку...

Бабушка опять помолчала...

— Прожила она пять годковъ... Сколько я съ ней маяты и тяготы приняла... И не разсказать... Но осилила... А Митю въ тотъ же годъ... Въ перву войну убили... Остались мы теперь двѣ сироты: я, да дочька.. И была она мнѣ радостью... На Митю походила личикомъ... хорошая моя...

Бабушка опять замолкла и тяжело дышала...

— Бабушка!—вскричала Гризли, ты не говори теперь...— Тяжело тебѣ...

— Для че не говорить?.. Нѣтъ ты разбери твоимъ княжескимъ умомъ... Разбери: ладно ли я думаю?.. Слушай: захворала моя Нютка... въ успеньевъ постъ... И пошла я опять въ лѣсъ молиться.. Дура была... Молюсь слезно... Объ землю колочусь... Не отнимай молъ Ты Господи отъ меня мое сокровище!.. Одно у меня, Нютку мою... Вернулась въ избу то... а она посреди избы, на полу... Мертвенькая лежигъ...

— Бабушка!.. — вскричала Гризли...— Не сокрушай ты себя... Не ропщи на Господа!.. Вѣдь народъ говоритъ— на Бога уповай, а самъ не плошай... Ты бы къ доктору ее

свезла.., Чѣмъ Господь виноватъ!.. Вспомни Іова многострадальнаго, который остался вѣренъ Господу...

Бабушка приподнялась и снова опустилась на постель... Лицо ея горѣло, глаза сверкали... Слова съ какимъ то глухимъ клокотаньемъ, съ трудомъ вылетали изъ горла.

— Все вздоръ!.. Доктора твои—вздоръ... и Іовъ—вздоръ... Все ложь... Живемъ, маемся, помремъ... упокоимся... А ты слушай!.. Я вѣдь еще не все досказала... Привязался тогда ко мнѣ управляющій твоего дѣда... Поставилъ онъ намъ управляющаго... Ѳарапонта Андреича... Изъ отставныхъ... Такой сахаръ что страсть... Увидалъ онъ разъ меня. Кто это?—пытаетъ... Что это раньше я не примѣтилъ... Солдатка молъ говорятъ Минодора Лаврентьевна... Приходитъ ко мнѣ вечеромъ сотскій... «Ступай молъ, тебя къ себѣ управляющій требуетъ»... «На что это?...» «Не могу знать...»—«Не пойду я... говорю ему...» Не пойдешь, говоритъ, такъ велѣлъ завтра отодрать тебя...»—«Какъ такъ!.. Говорю... И вскипѣло сердце мое... Меня!? За что, про что?.. И такъ вся я распалилась .. Какъ молъ говорю онъ смѣетъ».—Сейчасъ накинула шубенку... бѣгу прямо къ нему... Не помолилась, не поклонилась такъ-таки прямо и говорю ему... «Ты зачѣмъ молъ меня честную вдову тревожишь?.. Чего тебѣ молъ псу поганому отъ меня надоти?... Мало ты у насъ дѣвокъ перепортилъ... Тебя князь править нами поставилъ а ты безобразничаешь... Усатая морда...»—такъ ему прямо и отхлеснула. Ну и онъ осерчалъ... Затопалъ, заоралъ... «Ахъ ты говоритъ бунтовщица!! Розогъ!!!»...—Ну и стегалъ онъ меня тутъ всласть... Насытилъ свою душеньку... Не помню я какъ меня и снесли въ избенку... И лежала я больная почитай съ мѣсяцъ... Чуть не померла... А сердце мое такъ и кипитъ, такъ и кипитъ... Нѣтъ, думаю, не помру!.. Ужъ я его доѣду!... Я ему усатому псу... Отсыплю... И только что я опомнилась, какъ пришла радостная вѣсточка. Идетъ, баютъ къ намъ заправ-

дашный царь... волю несетъ... Одни баютъ, что онъ незаправдашный, другіе, что заправдашный, да мнѣ наплевать... Сейчасъ накинула шубенку побѣжала въ сусѣднее сѣло... Хоботище... Тамъ молъ сила вся... Прибѣжала ночью... И всю-то ночь... напролетъ пропировала... Самого царя видѣла... И сдѣлалъ онъ меня эсаулшей своей... Ну! тутъ я свѣтъ засвѣтила... Собрала молодцевъ и нагрянула... Накрыли мы управляющаго... «Пожалуй молъ другъ сердечный на расправу!..» и натѣшила я надъ нимъ свою душеньку... Онъ оретъ, стонетъ... а молодцы село жгутъ... Ни кола ни двора не оставили... Лихо!...

Гризли въ ужасѣ всплеснула руками, а бабушка опять приподнялась съ постели—и дико, хрипло захохотала...

— До сихъ поръ! — проговорила она — до сихъ поръ сердце радуется вспоминаючи эту радостную ноченьку!..

И она снова опрокинулась на постель—и лицо ея быстро измѣнилось: кровь отхлынула отъ него... хриплый смѣхъ ея перешелъ въ хриплое дыханіе... глаза остолбенѣли...

— Бабушка! бабушка Минодора!—вскричала Гризли,— перекрестись!.. помолись Богу!

Но бабушка ничего ужъ не слышитъ. Она умираетъ.

Вся дрожа отъ страха—Гризли выбѣжала вонъ изъ избушки....

IX.

Весенняя холодная ночь спустилась на землю,—тихая ночь, какъ тихій покойникъ. Всѣ цвѣты въ страхѣ поникли къ землѣ... Вѣтерокъ замолкъ и заснулъ. Всѣ птицы въ ужасѣ завернули головки подъ крылышки. Вся природа чувствуетъ, что спустилась необъятная великая сила Великаго... и трепетъ объялъ ее.

Тихо летитъ Гризли... летитъ противъ ея воли. Вся душа ея ноетъ, трепещетъ отъ ужаса... Съ нею летятъ громадныя тѣни... Великія творческія силы.. Уныніе и ужасъ царятъ въ ночномъ воздухѣ.

Выше и выше поднимаются они въ пустынномъ мертвомъ воздухѣ... Летятъ они надъ громадной степной равниной и конца нѣтъ этой равнинѣ.

Угрюмые камни, обожженые солнцемъ, разсыпаны повсюду и торчатъ разбитые и брошенные великими силами природы.

Летятъ они на сѣверъ, въ ледяныя, полярныя страны... Необозримое холодное, мерзлое, мертвое море. Громадныя ледяныя горы, какъ прозрачныя чудовища, носятся по немъ.

Летятъ они часъ, два и конца нѣтъ этимъ мертвымъ ледянымъ равнинамъ—этому безконечному ледяному морю.

Ужасъ давитъ Гризли. Хочетъ она спросить своихъ страшныхъ спутниковъ:—для чего летятъ они?—и не можетъ, ужасъ сковалъ ей языкъ и сердце...

Страшные сполохи—огненные столбы играютъ въ темномъ небѣ... То разбѣгутся лучами во всѣ стороны, то свернутся вѣеромъ, то опустятся на землю яркимъ сіяющимъ вѣнцомъ.

Страшна полуночная ночь, освѣщенная таинственнымъ свѣтомъ.

И кажется Гризли, что и воздухъ, и льды, и волны морскія—шепчутъ одно и тоже. Прислушивается она къ ихъ таинственному говору и слышитъ—твердятъ они:

— Мертвое спитъ сномъ смерти, вѣчнымъ, тяжелымъ сномъ! Пробудись духъ жизни! Обнови твои силы!

И хочется Гризли, чтобы скорѣе, скорѣе проснулся этотъ духъ жизни. И желаніе ея превращается въ страстное, непреодолимое томленіе. Съ мольбой и съ теплой вѣрой обращается она къ Господу:

— Помоги имъ!.. Вседержитель! Воскреси мертвое! Разбуди дремлющее..

И видитъ Гризли, что начинается сила другаго свѣта... Занимается заря. Всходитъ грѣющее солнце... И все стремится къ нему. Только зачѣмъ-же оно грѣетъ такъ сильно, грубо!..

И заговорили, зашептались льдины...

— Созидая, разрушаетъ!..—шепчутъ они въ ужасѣ.—И таютъ, текутъ, плачутъ они горькими слезами... Выше, выше поднимается Гризли и видитъ... меньше и меньше становится точька, которая казалась ей неизмѣримой полночной пустыней.. А кругомъ нея уже играетъ жизнь... И вдругъ, на эту жизнь двинулись страшныя сѣверныя воды,—всѣ слезы ледяныхъ горъ... Все небо закрылось тучами, въ три-четыре ряда... И разверзлось оно страшными потоками. Надъ всѣмъ живымъ разверзлись хляби небесныя... Льются, заливаютъ равнины и долины, заливаютъ бугры и холмы, заливаютъ высокія горы...

Въ ужасѣ люди, какъ муравьи бѣгутъ, карабкаются на крутые скользкіе утесы... Въ ужасѣ Гризли хочетъ помочь имъ... И не можетъ.

Вотъ дряхлый старикъ лезетъ, цѣпляется старческими, безкровными руками за острые выступы скалъ... Скользитъ и падаетъ на острые камни... Голова его стукается, кровь и мозгъ текутъ по нимъ...

Въ ужасѣ отвертывается Гризли и летитъ дальше отъ береговъ, отъ этихъ скалъ, на которыхъ люди бьются за каждый клочекъ земли и сталкиваютъ и давятъ и губятъ другъ друга.

Внизу, подъ ней, широкій океанъ и плыветъ въ ея волнахъ красивая молодая женщина... Она протягиваетъ къ небу руки и держитъ въ этихъ рукахъ маленькаго мальчика... Можетъ быть, это единственный, горячо любимый сынъ?!..

Она не помнитъ о себѣ и думаетъ только объ одномъ: какъ бы спасти жизнь ему, ея дорогому мальчику...

«Боже! Неужели Ты не сжалишься надъ ней, и бѣдный, безгрѣшный, ни въ чемъ неповинный младенецъ долженъ погибнуть?!.»

А волны бѣгутъ, захлестываютъ несчастную мать... И глухо бормочутъ:

«У насъ нѣтъ сердца! Мы не знаемъ жалости!..»

А тяжелыя, низко плывущія тучи сѣютъ, льютъ дождемъ и этотъ дождь шумитъ постоянно одно и тоже:

«Земное погибаетъ!.. Небесное остается!.. Бренна плоть... Вѣченъ духъ Божій!..»

И Гризли точно невидимой силой относитъ на большую равнину... На ней нѣтъ воды, нѣтъ братоубійственной борьбы... Но страшна, отвратительна эта равнина... Это мертвая равнина смерти...

Тысячи труповъ звѣрей и людей, труповъ изуродованныхъ, окровавленныхъ, лежатъ въ страшномъ хаосѣ и медленно гніютъ. Вотъ лежитъ громадный слонъ, а на немъ лежатъ застывшіе, изуродованные трупы маленькихъ людей... Вотъ камелеопардъ,—а его шею крѣпко ухватилъ рученками ребенокъ и такъ и замеръ на ней... Вотъ красивая антилопа лежитъ рядомъ, обнявшись, съ огромнымъ, массивнымъ тигромъ... И все это гніетъ, разлагается... Нестерпимо удушливый воздухъ виситъ надъ равниной...

Гризли хочетъ отлетѣть и не можетъ. Унылый заразительный вѣтеръ гудитъ въ ея ушахъ и твердитъ одно и тоже:

«Бренное исчезаетъ! Вѣчное остается!»

— О гдѣ-же думаетъ она этотъ вѣчный духъ Божій! Или нѣтъ въ немъ милости и жалости!?.

. . . . . .

X.

Тихое раннее утро. Солнце чуть-чуть выглянуло изъ-за земли, а дворъ стараго дома полонъ уже наѣхавшими и пришедшими съ разныхъ сторонъ людьми.

Тихо гуторитъ на широкомъ княжомъ дворѣ бѣдный людъ. Сюда пришли немощные и нуждающіеся. Сюда собрались горе-горькіе скитальцы по землѣ русской. Всѣ они ждутъ пробужденія ихъ благодѣтельницы, доброй барышни, княжны Гризельды Іоановны, что живетъ однимъ-одна въ старомъ заброшенномъ имѣніи.

Пришли сюда немощные и печальные. Пришли дряхлые старики, принесли старухи своихъ внуковъ. Сегодня великъ день, сегодня день рожденія Гризли — и каждый годъ собирается въ этотъ день народъ со всего околодка, собирается съ твердой надеждой, что добрая княжна не оставитъ ихъ своей помощью.

Проходятъ часы, солнце тихо всплываетъ на свѣтлое небо. Яркій весенній день играетъ въ воздухѣ... А барышня-благодѣтельница спитъ крѣпко, тяжелымъ нехорошимъ сномъ.

Давно уже шепчется старый, сѣдой, дряхлый камердинеръ Лукичъ, съ молоденькой свѣженькой Анни. Давно уже коровница принесла парного молока. Давно старая пекарка Акулина принесла горячаго печенья... Нѣсколько разъ Анни входила въ спальню къ княжнѣ и принималась будить ее, но спитъ милая княжна или лежитъ недвижимо... какъ мертвая.

Приготовила Анни вмѣстѣ съ старой прачкой бѣлое кружевное платье—любимое платье Гризли. Давно они стараются разбудить ее и не могутъ...

Наконецъ идетъ Лукичъ къ барину, нареченному брату княжны и со страхомъ стучитъ въ запертыя двери, нарушаетъ его властный приказъ: не мѣшать ему ни подъ какимъ видомъ!..

Угрюмый, разсерженный выглядываетъ баринъ.

— Что надо?..

— Не можемъ добудиться... барышни... княжны... Гринезильды... Іоанновны... А сегодня рожденый день ихъ...

И, наскоро одѣвшись, идетъ баринъ въ старый домъ, прямо въ спальню Гризли, а спальня полна народу. Плачь и стонъ въ ней. Лежитъ Гризли словно мертвая..

— Подите всѣ вонъ!—топаетъ баринъ.—Вонъ!..—И всѣ плачущіе въ ужасѣ разбѣгаются... Гриша запираетъ за ними двери. Онъ прямо подходитъ къ спящей и устремляетъ на нее пристальный, повелительный взглядъ, съ твердымъ желаніемъ пробудить ее.

Но не движется ни одинъ мускулъ безкровнаго лица, не дрогнутъ красивыя, черныя, приподнятыя кверху, брови. Спящая спитъ сномъ непробуднымъ.

Гриша приподымаетъ руки и устремляетъ ихъ на Гризли. Онъ дѣлаетъ ими плавныя движенія. Онъ старается снять съ нея тяжелый сонъ. Всѣ мускулы его напрягаются, какъ въ статуѣ Лаокона. Холодный потъ выступилъ на его высокомъ лбу.

Но лежитъ и не движется его названная сестра, лежитъ точно прекрасная мраморная статуя.

— Проснись!—приказываетъ онъ.—Проснись!..—И всѣ волосы на головѣ его поднимаются дыбомъ. Его глаза мечутъ цѣлые потоки таинственной силы.

Но ничего не могутъ сдѣлать эти потоки. Неподвижна его спящая названная сестра. Безсильна вся его сила разбудить ее.

Съ ужасомъ, весь дрожа, опускаетъ онъ руки. Мед-

ленно повертывается, выходитъ изъ спальни, запираетъ дрожащими руками двери и приказываетъ строго-на-строго: не будить ее до вечера!..

И идетъ онъ, опустивъ голову, и думаетъ тяжелую думу.

Вотъ уже въ четвертый разъ она упорно противится его волѣ. Въ четвертый разъ онъ не можетъ вернуть къ ней животворящаго духа жизни... И страшно, и досадно его самолюбію...

И ужасная мысль, какъ грозное привидѣніе, заходитъ въ его душу.

— «А что если этотъ духъ жизни никогда уже не вернется къ ней!..»

И замираетъ его сердце въ нестерпимомъ ужасѣ.

Но одно не можетъ рѣшить онъ: что сильнѣе въ этомъ сердцѣ; страхъ ли потерять въ ней существо, которое его такъ крѣпко, сильно, беззавѣтно любитъ... которому онъ такъ много обязанъ, или страхъ потерять въ ней дорогой субъектъ для его опытовъ... для его открытій...

Давно уже, еще въ тѣ годы, когда молодая жизнь беретъ полновластно дань со всѣхъ, въ которыхъ кипитъ и бьетъ она молодымъ горячимъ ключемъ, онъ всталъ на перекоръ ей, на перекоръ природѣ. Въ уединенной тихой жизни онъ избѣжалъ приманокъ плоти, раздраженій крови и нервовъ и сказалъ себѣ твердо.

— Все это вздоръ и суета!.. Есть глубокое и важное... Есть истина и ея мощный голосъ не долженъ быть заглушенъ суэтными приманками плотской жизни.

Въ 18, 20 лѣтъ онъ былъ уже аскетомъ и стоикомъ.

И этого мало. Онъ вырвалъ изъ когтей суетной жизни и свою названную сестру, богатства которой служили и служатъ ему для его научныхъ опытовъ и работъ.

Съ жаждой знаній, съ глубокой вѣрой въ то, что это знаніе единственное благо жизни, онъ странствовалъ въ

чужихъ краяхъ. И всюду сопровождала его неизмѣнная, вѣрная Гризли.

Онъ изучалъ философію и медицину, исторію и математику. Онъ прослушалъ курсы всѣхъ европейскихъ знаменитостей и пришелъ къ одному страшному выводу...

— Вздоръ и ничтожество всѣ человѣческія науки!... Есть одна наука—великая, глубокая—таинственная. Люди нанесли въ нее всякаго вздора и грязи собственныхъ личныхъ мнѣній и тщеславія. Надо очистить ее и глубже, глубже проникнуть въ ея тайники. Эта наука великая, наука *всего*. Наука механизма́ природы, наука тайниковъ человѣческой души, познанія чего-то, что, говорятъ, не постижимо для человѣка и виситъ въ воздухѣ вѣчной, недосягаемой тайной...

И онъ проникнетъ въ эту тайну. Онъ чувствуетъ въ себѣ достаточно силы, гордости его ума, чтобы снизойти съ высоты его въ глубокія тайники этой науки...

Онъ видѣлъ явленія этой природной силы въ его Гризли. Эти явленія въ первой разъ открыли ему таинственный міръ и онъ съ тѣхъ поръ стремится въ него всей душой и отдаетъ ему всѣ свои силы.

Онъ чувствуетъ, что такого существа, какъ его Гризли онъ не найдетъ вторично. Онъ бережетъ ее, какъ святыню. Онъ дорожитъ ея жизнью больше собственной жизни. Онъ удаляетъ отъ нее все что можетъ вліять на чистоту и полное спокойствіе, безмятежіе ея души. И все это дѣлается не ради любви къ ней, не изъ глубокаго братскаго чувства, а только какъ потребность его, гордаго, независимаго ума.

Онъ дорожитъ ею, какъ дорожатъ научнымъ инструментомъ, какъ докторъ дорожитъ интереснымъ больнымъ, надъ которымъ онъ можетъ производить свои изслѣдованія. И онъ не скрываетъ отъ нее этихъ отношеній... А она... она—любитъ его такъ глубоко и беззавѣтно.

Порой въ рѣдкія минуты душевнаго просвѣтленія она спрашиваетъ себя.

— Да что же она любитъ въ немъ? Какая невѣдомая сила влечетъ ее къ нему?... И ничего неможетъ объяснить, какъ ни старается.

Передъ ней проходили длинныя вереницы блестящихъ молодыхъ людей и талантовъ.

Она вспоминала поэтовъ, ученыхъ, художниковъ, съ которыми встрѣчалась въ чужихъ земляхъ... Она увлекалась силой ихъ таланта, поклонялась глубинѣ ихъ мысли, любовалась ихъ произведеніями, заслушивалась ихъ вдохновенной музыки... Но достаточно было кому нибудь изъ нихъ бросить на нее нескромный взглядъ страсти, почувствовать къ ней влеченіе въ глубинѣ сердца... И тотчасъ же непріязненное чувство отвращенія являлось въ ея сердце...

Она сравнивала его чуть не съ каждымъ изъ этихъ талантливыхъ людей... Но при этомъ сравненіи тотчасъ же неодолимый страхъ сжималъ ея сердце. Ей было тяжело поднимать ножъ холоднаго анализа, разсудочнаго сравненія, надъ тѣмъ, къ уму котораго она относилась съ такой беззавѣтной вѣрой, съ такимъ твердымъ упованьемъ... Она съ ужасомъ отворачивалась отъ своей мысли и старалась заглушить ее...

XI.

Проснулась Гризли. Вернулась къ тяжелой, земной жизни... и вернулъ ее не Гриша, а малый ребенокъ.

Ушелъ Гриша и мало-по-малу спальня Гризли опять наполнилась.

Вошли въ нее убогіе и немощные старики и старухи. Внесли и ввели бабушки своихъ внуковъ и внучекъ. Всѣ они молятся, крестятся.

— Создай Боже милость!.. Верни къ жизни нашу барышню, княжну благодѣтельницу!..

Тихій, сдержанный стонъ и рыданія носятся въ роскошной княжеской спальнѣ.

Старухи глядятъ и дивуются невиданной роскоши.

— Господи! Господи! —думаютъ они.—Всюду золото! Бархатъ и шелкъ... Всюду кружева, да зеркала!!

Не дивуется одна дѣвочка. Грустно стоитъ она у самой постели Гризли и неподвижно, съ ужасомъ смотритъ на мертвенное лицо доброй барышни. И ей жаль эту барышню, эту княжну, добрую и милую... Она держитъ въ рукахъ богатую нарядную куклу... Эту куклу подарила ей Гризли. И все сердце ея теперь сжато отъ ужаса... «Спитъ она!— думаетъ она,—спитъ милая добрая княжна... И что такое смерть?..»

А бабушка стоитъ передъ ней на колѣняхъ и молится, и плачетъ.

Встала она съ колѣнъ. Встала, подняла она дѣвочку на руки.

— Поди! Машуточька!—шепчетъ она сквозь слезы.— Поди простись съ ней... Съ нашей княженькой благостной...

И подноситъ она ее къ Гризли.

— Поди!—шепчетъ она,—поцѣлуй ея ручьки...

Въ ужасѣ замерли всѣ, стоявшіе въ спальнѣ. Думаютъ: «какая старуха дерзостная!».

А Машутка горько плачетъ. Вдругъ прихлынули къ ея сердцу эти слезы жалости... И рыдаетъ она, и цѣлуетъ похолодѣлыя руки Гризли. Тянется поцѣловать личико доброй, любимой барышни.

Съ рыданіемъ припадаетъ она къ груди Гризли и подъ ея поцѣлуями вернулась къ ней жизнь.

Вздрогнула Гризли, вздрогнула какъ отъ электрическаго удара и открыла глаза; смотритъ, припоминаетъ, что съ ней,

гдѣ она?.. А передъ ней маленькая дѣвочка и вся она въ слезахъ радости лепечетъ, протягивая къ ней ручьки.

— Княжинька наша!.. Милая!.. Проснулась!..

И душевнымъ, свѣтлымъ, любовнымъ движеніемъ обхватила ее Гризли, прижала къ груди и поцѣловала крѣпкимъ поцѣлуемъ. Слезы брызнули у ней изъ глазъ. Однимъ мощнымъ порывомъ поднялась она съ постели и перекрестилась большимъ крестомъ.

— Господи! Слава Тебѣ!

А передъ ней на колѣняхъ стоятъ и старцы, и дѣти, и убогія старушки, и всѣ плачутъ, и всѣ молятся, крестятся.

— Господи! Слава Тебѣ!

XII.

Сіяетъ жаркій, лѣтній день въ ясномъ голубомъ небѣ и ярко трепещетъ жизнь кругомъ, въ благодатной странѣ, подъ жаркимъ солнцемъ красиваго юга.

И Гризли, невидимая, вся одѣтая этимъ голубымъ, ласковымъ воздухомъ, летитъ, несется надъ голубымъ, спокойнымъ моремъ... Она любуется чудной картиной гармоніи, которая развернулась передъ ней, какъ радужный спектръ, въ чудномъ, согласномъ сочетаніи красивыхъ, нѣжащихъ глазъ красокъ.

Она любуется и незнаетъ, что вся эта картина уже не существуетъ въ настоящемъ, что она вызвана изъ далекаго древняго міра.

Летитъ Гризли и чудныя горы, погруженныя въ голубой, прозрачный туманъ, встаютъ передъ ней. Онѣ и теперь стоятъ, неизмѣнныя, спустя десять столѣтій. Темнѣютъ кипарисовыя и миртовыя рощи, сѣрѣютъ сѣрой зеленью оливковые сады. Всюду сила красоты и люди дополняютъ

эту красоту своимъ творчествомъ. Всюду высятся бѣлыя, мраморныя, многоколонныя общественныя зданія и храмы. Всюду бросается въ глаза невиданная красота нагого человѣческаго тѣла, въ бѣлыхъ мраморныхъ статуяхъ. Гордыя пальмы качаютъ свои роскошныя, ажурныя, страусовыя вершины надъ бѣлыми портиками и храмами, а голубое море, тихо, съ ласковымъ шумомъ, плещетъ въ красивый берегъ.

Подлетаетъ Гризли къ длинному величественному зданію, передъ которымъ высится большая статуя змѣя, изъ чернаго мрамора; этотъ змѣй всползъ на дерево, а красивая молодая женщина стоитъ на колѣняхъ и поитъ этого змѣя изъ большой мраморной чаши.

Изъ этой чаши подается благодатное исцѣленіе всѣмъ страждущимъ немощами и тяжелыми недугами.

Гризли входитъ въ длинное зданіе, перистиль котораго поддерживаютъ красивыя, солидныя, величавыя мраморныя колонны. И надъ самымъ входомъ высится бюстъ старика, съ умнымъ, думающимъ лицомъ, бюстъ обвитый также змѣями. Гризли знаетъ чей это бюстъ и что все зданіе посвящено излѣченію больныхъ, что въ немъ царствуетъ благодѣтельная врачующая сила.

Она тихо, невидимкой, влетаетъ въ высокія просторныя залы, потолокъ которыхъ поддерживаютъ красивыя колонны. Въ этихъ залахъ не слышно стенаній, не слышно криковъ больныхъ. Все совершается молча, таинственно. Молча ходятъ врачи и прислужники. Молча подходятъ они къ больному. Врачъ простираетъ надъ нимъ руки, изъ которыхъ выходитъ врачующая сила и больной засыпаетъ благодатнымъ цѣлительнымъ сномъ.

Гризли хорошо знакомъ этотъ сонъ. Она и теперь объята имъ и спитъ тамъ, далеко въ ея старомъ княжескомъ домѣ. Она вполнѣ понимаетъ и сознаетъ, что этого сильнаго и вѣрнаго лѣченія недостаетъ теперь людямъ, что

оно давно заброшено, какъ сумазбродное, заброшено вмѣстѣ съ красивымъ мраморнымъ античнымъ міромъ. Люди оставили отъ этого міра только эту красоту и пренебрегли всѣмъ полезнымъ.

Тихо вылетаетъ она изъ мраморныхъ залъ, наполненныхъ больными. Голубой воздухъ, яркій солнечный свѣтъ и темная зелень окружаетъ ее. Какъ хороши далекія дали и эти бѣломраморные домики среди оливъ, олеандровъ и лавровъ. Вся эта страна, какъ красивая сказка, какъ музыка моря и неба ласкаетъ человѣка...

Летитъ Гризли надъ дорогой и видитъ, какъ цѣлая толпа людей веветъ прекрасную, колоссальную мраморную статую. Они впряглись вмѣстѣ съ волами, буйволами и ослами въ длинныя крѣпкія дроги на толстыхъ колесахъ-кругахъ. Всѣ эти люди оборванные, грязные, почти голые нацѣпили на себя веревки и лямки и тянутъ громадную тяжесть въ нѣсколько сотенъ пудовъ, тянутъ въ гору, подъ жаркимъ южнымъ солнцемъ, на его немилосердномъ припекѣ; а суровые распорядители погоняютъ ихъ, бьютъ длинными ремнями изъ крѣпкой буйволовой кожи и громко щелкаютъ бичи по голымъ, окровавленнымъ, облитымъ потомъ спинамъ. И каждый ударъ ихъ съ болью отзывается въ сердцѣ Гризли.

— Не бейте ихъ, — силится она сказать. — Вѣдь это люди! братья ваши! Зачѣмъ же вы ихъ употребляете на непосильную, скотскую работу!

Но не слышатъ люди этого голоса сердца и тянется медленно въ гору вся эта процессія. Мотаютъ головами волы и буйволы, гремятъ, звенятъ тяжелыя мѣдныя цѣпи, которыми скрѣплены дроги.

Кучка людей стоитъ въ сторонѣ отъ дороги.

— Это везутъ,—говоритъ одинъ,—новую статую Афродиты къ патрицію Галикарху... въ его новую виллу.

— Вотъ тамъ, на этой виллѣ,—говоритъ молодой курчавый парень,—собраны дива разныя... Тамъ статуи и бронза невиданныя, и занавѣси изъ пурпура, и вездѣ блеститъ акалійскій, блѣднорозовый мраморъ, и золото—много золота.

— Да!—говоритъ старикъ:—у сатрапа Галикарха много золота и много рабовъ...

— Мама! — говоритъ маленькій ребенокъ матери: — зачѣмъ же ихъ такъ бьютъ... Посмотри! У этого кровь течетъ по спинѣ... Вѣдь имъ больно...

— Такъ надо!—говоритъ мать.—Еслибы хорошо работали, то не били бы ихъ...

И тускнѣетъ передъ Гризли весь этотъ чудный міръ красоты и гармоніи.

— Тамъ, гдѣ сердце безчеловѣчно, тамъ нѣтъ гармоніи!—шепчетъ она и летитъ дальше, дальше отъ этихъ голубыхъ горъ, отъ этого синяго моря, отъ чудныхъ бѣлыхъ мраморовъ, розъ, олеандровъ и азалій...

Ей представляются всѣ эти несчастные илоты-рабы, которые устраиваютъ этотъ дивный міръ гармоніи.—Онъ купленъ ихъ слезами и кровью,..

И видитъ она, какъ всѣ эти забитые и задавленные молятся Богу-освободителю, молятся, въ темныхъ тайникахъ, въ катакомбахъ, въ подземныхъ разщелинахъ и пещерахъ... Они молятся всѣмъ жаромъ души, всѣмъ пыломъ сердца...

И тихо невѣдомый голосъ повелительно и властно шепчетъ надъ ухомъ Гризли, шепчетъ, твердитъ одно и тоже.

— Тяжелы страданья!.. Сладостно освобожденіе!.. Не вкусишь горькаго, не узнаешь сладкаго!

И тихо, но повелительно въ вышинахъ надзвѣздныхъ звучитъ призывный, любящій голосъ:

«Придите ко мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные и Азъ упокою вы!»...

И незамѣтно влетаетъ она въ другія широты, далекія отъ красиваго жаркаго юга... Вездѣ кишатъ люди... ползаютъ, копошатся...

Подлетаетъ она къ многолюдному городу. Какъ громадный муравейникъ разлегся онъ, на многія версты и весь онъ окутанъ сизымъ дымомъ и черной копотью. Валитъ дымъ клубами изъ высокихъ трубъ. Небольшіе, но высокіе домики стоятъ, какъ кирпичные ящики и всюду трубы, трубы, миріады трубъ... Черныя закопченыя проволоки тянутся во всѣ стороны, длинныя, черныя хлопья копоти висятъ съ нихъ. И солнце не свѣтитъ сквозь облака чернаго дыма...

«Здѣсь нѣтъ красоты!»—думаетъ Гризли.—«Здѣсь жизнь упорнаго труда»... И летитъ она по главной широкой улицѣ города.—Ярко освѣщена улица электрическимъ свѣтомъ. Ярко горятъ его лампы въ роскошныхъ салонахъ и магазинахъ... И блестятъ въ нихъ бриліантовыми огнями граненый хрусталь, бронза и золото, серебро и аллюминій—дорогія, нарядныя ткани такихъ нѣжныхъ, пріятныхъ цвѣтовъ.

Но отчего же сквозь грохотъ экипажей звучитъ какая-то жалобная нота, откуда долетаютъ эти крики страданія?...

Гризли поворачиваетъ въ сторону, за нѣсколько домовъ отъ этой нарядной роскоши и блеска и сразу, рѣзко измѣняется картина. Въ высокихъ домахъ и грязь и вонь и бѣдная тяжелая жизнь въ непосильномъ трудѣ... И дѣти,—бѣдныя дѣти! — худыя, оборванныя, грязныя... обвернутыя въ лохмотья...

— Господи!—думаетъ Гризли — вѣдь для нихъ только начинается жизнь!..

И летитъ она дальше, прочь отъ этого грязнаго золота, отъ этого фальшиваго свѣта большаго города... Туда на просторъ загородной жизни... Но и тамъ, за городомъ, дымятъ, коптятъ длинныя трубы и въ длинныхъ, длинныхъ

многоэтажныхъ зданіяхъ стонутъ и надрываются дѣти отъ непосильнаго труда... Они выходятъ изъ этихъ зданій: грязныя, закопченыя, худыя .. ихъ выпустили отдохнуть погулять, поиграть. Но ни отдыхъ, ни игры, не соблазняютъ душу измученныхъ тяжелымъ трудомъ... Молча стоятъ они, опустивъ головы...

Дальще! Прочь отъ этой тяжелой картины. Дальше летитъ Гризли, на просторъ сельской жизни, нетронутой природы... Вотъ прекрасные коттеджи, красивые загородные дома и дворцы, чудные парки, блестящіе экипажи... Но рядомъ съ этими дворцами и парками, убогія, полуразвалившіяся лачуги и въ этихъ лачугахъ живутъ всѣ тѣ же—бѣдные, убогіе, неимѣющіе ни угла, ни куска хлѣба,—надъ ростомъ котораго они такъ трудятся усердно... Стоны раздаются изъ этихъ убогихъ лачугъ... И не доходятъ эти стоны до раззолоченныхъ дворцовъ, до прекрасныхъ, красивыхъ коттеджей.....

Дальше, дальше отъ этой тяжелой, несправедливой жизни летитъ Гризли... Туда въ горы... «На горахъ свобода!..» сказалъ онъ,—великій поэтъ Германіи.

Но и въ этихъ горахъ, работаетъ человѣкъ, стучатъ кирки, звѣнятъ лопаты... Громадная труба поднимается кверьху, огромное колесо вертится и опускаетъ бадью глубоко, глубоко въ подземную шахту. И вся ладья полна бѣдными, исхудалыми, блѣдными дѣтьми...

При взглядѣ на нихъ, на ихъ осунувшіяся, испитыя лица—на ихъ почти голое тѣло—худое, какъ у скелета—все сердце Гризли перевертывается отъ жалости... и слезы сами собою бѣгутъ изъ ея большихъ черныхъ глазъ.

— Господи!—всплескиваетъ она руками... Для чего же! —Почему Ты, милосердый, осуждаешь на непосильный грязный трудъ этихъ малыхъ, тѣхъ которыхъ Ты такъ любишь?!!

И невольно, незамѣтно опускается она вмѣстѣ съ

бадьей, спускается въ глубь каменной горы, въ нѣдра земли, спускается на нѣсколько десятковъ сажень... Чѣмъ ниже спускается бадья, тѣмъ душнѣе становится воздухъ... Его мало, его не хватаетъ ни для дѣтей, ни для лампъ, которыя горятъ у ихъ поясовъ...

Спустилась бадья...

И выползаютъ изъ темныхъ узенькихъ норъ другія, дѣти, на смѣну тѣмъ, которыхъ спустила бадья. Вылезаютъ они, какъ длинноногіе, исхудалые, черные пауки... Нѣтъ въ нихъ ни образа, ни подобія человѣка... Идутъ, шатаются...

А на мѣсто ихъ въ темныя, грязныя, вонючія и сырыя норы полезли другія дѣти... Вотъ одинъ мальчикъ совсѣмъ худенькій, тщедушный, маленькій—взлѣзъ онъ въ подземный душный корридорчикъ, всползъ на четверинкахъ, обернулся, легъ на спинку и принялся колотить сводъ киркой. Однообразно, монотонно стучитъ кирка... И кажется Гризли, что говоритъ она одно и тоже... Одно и тоже...

«Трудись чтобы жить,
«Живи чтобы трудиться».

Что то тяжелое, страшное, налегаетъ на душу и сердце... Ей кажется, что живой мертвецъ лежитъ въ гробу и выстукиваетъ ужасную пѣсню:

«Живи чтобы трудиться,
«Трудись чтобы жить».

...Воздуху! Свѣту!.. — вскрикиваетъ она всѣми силами души...—И.... просыпается.

Просыпается въ ея роскошной, княжеской спальнѣ... Гдѣ повсюду золото и мраморъ, шелкъ и бархатъ...

Просыпается она вся въ слезахъ и плачетъ и рыдаетъ и одного не можетъ припомнить: отчего сжималось во снѣ ея сердце, такой страшной надрывающей жалостью?!.

. . . . . .

XIII.

Тихо, уныло спускаются сумерки... И на бѣдное измученное сердце Гризли ложатся вечернія тѣни. Розовымъ свѣтомъ окрашивается далекій горизонтъ, поля и лѣса и тихій воздухъ шепчетъ Гризли.

— Земное страдаетъ!.. Небесное вкушаетъ покой и радость!..

Спитъ она или не спитъ?!—Она сама не знаетъ. Она видитъ себя... Вотъ лежитъ она, въ бѣломъ платьѣ, на широкомъ диванѣ... И въ тоже время она чувствуетъ, что она здѣсь, высоко надъ диваномъ стоитъ на воздухѣ.. И незнаетъ, какъ и чѣмъ она держится. Она стоитъ въ томъ же бѣломъ платьѣ и также заплаканы ея глаза... и такъ же смутно ея сердце... Ей хочется разсмотрѣть вторую себя... ту которая, блѣдная, лежитъ на диванѣ. Но какой то повелительный голосъ, внутри ея сердца говоритъ ей...

— Иди!..

И она, послушная ему, поднимается выше летитъ, летитъ въ мягкомъ вечернемъ воздухѣ и видитъ, какъ отъ всей земли поднимается легкій паръ... Онъ тихо стелется надъ водами, надъ прудами, озерами и болотами... И видитъ Гризли, какъ въ этомъ легкомъ туманѣ, носятся, снуютъ, маленькія прозрачныя существа... Ими пропитанъ, ими кишитъ весь воздухъ и воды и вся грязь земная... Безобразныя злыя существа... Что они дѣлаютъ? думаетъ Гризли... И какая масса ихъ!!.

И смутно чувствуетъ Гризли, что эти существа не добрые геніи, а разрушители жизни всего земнаго... И человѣкъ борется съ ними всѣми силами его ума...

И слышитъ Гризли особенный тяжелый запахъ, запахъ земли, сырости, запахъ болотъ и всего гніющаго... убійственный запахъ!..

«Это работаютъ они—злыя существа», думаетъ Гризли...

И видитъ она, какъ люди гибнутъ, милліонами, отъ этихъ злыхъ существъ, гибнутъ по всей землѣ и немогутъ побѣдить ихъ разрушающую силу... Они трудятся насколько могутъ и умѣютъ, а всѣ эти крохотныя микроскопическія существа—эти злые атомы—смѣются надъ ихъ усиліями и поютъ одно и тоже, одно и тоже...

Живи, чтобы трудиться
Трудись, чтобы жить...

Тяжелый, заразный воздухъ окружаетъ Гризли... Дышать нечѣмъ. Вездѣ, куда ни обернись, невыносимый запахъ... Это гніютъ, разлагаются тысячи, труповъ... разбросанные въ мельчайшихъ атомахъ земли. Смерть всюду борется съ жизнью и побѣждаетъ ее, несмотря на всѣ ее услилія...

Но и самая жизнь, каждая ея работа издаетъ тяжелый, убійственный запахъ. . Пахнутъ рыбы, пахнутъ птицы, пахнутъ звѣри... Каждая плоть и каждое дыханіе увеличиваютъ смрадъ тяжелаго воздуха земли и болотъ...

Гризли летитъ на просторъ цвѣтущихъ луговъ, въ рощи, полныя сладкимъ, чарующимъ запахомъ липъ... на холмы, покрытые розами... Но во всѣхъ этихъ запахахъ она чуетъ тлѣнное и преходящее... Всѣ эти ароматы усиливаются, принимаютъ острый ароматическій запахъ и переходятъ въ тяжелый смрадъ разлагающагося трупа...

— Бренное проходитъ!.. Вѣчное остается!.. Шепчутъ всѣ цвѣты липъ и розъ.

«Все обманъ! Обманъ! думаетъ Гризли. Тяжелый обманъ?!»

И кажется ей, что всѣ эти запахи превращаются во что-то липкое, тягучее, что пристаетъ къ ней, обволакиваетъ слизью все ея тѣло... И вся земля въ рощахъ и на лугахъ, на горахъ и долинахъ становится липкой, скользкой трясиной...

тинами, травить... Совсѣмъ нѣтъ, милостивый государь... Мы его будемъ, такъ сказать, выуживать... Деликатно, по-дворянски... M-lle Effrontée пойдетъ на медвѣдя... тьфу... на пустынника и увлечетъ его на путь истинный!

— Charmant! charmant! Je t'embrasse! (Прекрасно! Прекрасно! Я цѣлую тебя)—вспыхнула «Шарава», вскочила, легче пуху, бросилась, обняла и поцѣловала Поддубнаго.

— Ѣдемъ, ѣдемъ, господа!—зазывалъ Поддубный.—Этакой охоты мы еще отродясь не видывали.

— Въ самомъ дѣлѣ, поѣдемте! Хоть поглядимъ на его берлогу. Вѣдь это дѣйствительно любопытно!—сказалъ Новатищевъ.

И тотчасъ же всѣ съ жаромъ занялись новой partie de plaisir. Разспросили все какъ слѣдуетъ. Заказали, чтобы завтра въ десять часовъ были тройки у крыльца, что «поѣдемъ, дескать, на медвѣжью охоту».

Только въ девять часовъ, какъ было предположено, не поѣхали. Отвлеклись ѣдой блиновъ и неожиданно представившейся новой потѣхой. Одинъ оффиціантъ сообщилъ, что Васька Котъ (такъ звали одного казачка) можетъ съѣсть какое-то неимовѣрное количество блиновъ, и всѣ тотчасъ же кликнули Кота.

Пришелъ небольшой, но толстый паренекъ, уже возрастный, голова точно глобусъ, и на ней громадные сѣрые глазища на выкатѣ. Кулаки въ родѣ кегельныхъ шаровъ, коренастый, сутуловатый, а уши торчатъ врозь и кверху, точно у настоящаго кота.

Допрашиваетъ его Никита Васильевичъ.

— Можешь ты, такой-сякой, съѣсть тридцать паръ гречишныхъ блиновъ?

— Могу-съ, говоритъ, ваше сіятельство.

— Ладно! Тащите, говоритъ, блиновъ...

И тотчасъ же составилось пари. Поддубный споритъ,

что не съѣстъ, князь споритъ, что уплететъ. Кто за, кто противъ. Поставили ставку въ тысячу рублей. Поставили небольшой столикъ въ сторонѣ и усадили Кота.

— Ѣшь! с... Котъ,—приказываетъ князь,—а не съѣшь, то запорю подлеца!..

Всѣ гости ѣдятъ за большимъ столомъ, а Коту тащатъ по шести блиновъ за-разъ. Какъ притащатъ тарелку, онъ возьметъ разомъ три блина, свернетъ, обмакнетъ ихъ въ масло, въ сметану, разинетъ пасть въ добрую лохань и туда, а вслѣдъ за ними еще три блина—и готово! Тащи еще! Такимъ образомъ десять тарелокъ принесли ему и онъ всѣ шестьдесятъ блиновъ уплелъ, такъ что всѣ диву дались; уплелъ, да и говоритъ:

— Пожалуй, можно еще десятокъ, ваше сіятельство.

Князь и говоритъ:

— Пари я выигралъ... А тебя, подлеца, все-таки надо выпороть за обжорство... А не то на моей душѣ грѣхъ будетъ, что плохо тебя воспитывалъ... Возьми-ка, говоритъ, Гриша, и сведи его на конюшню. Пусть ему паръ десятокъ легонькихъ, пшеничныхъ всыплютъ. Это въ порядкѣ будетъ.

Всѣ было запротестовали противъ такого рѣшенія, но князь Никита Васильевичъ уперся.

— Будьте покойны, говоритъ, будьте покойны! Это ему будетъ полезно для пищеваренія... Кровь полируетъ... Да!

И несчастнаго увели.

Хотя, собственно говоря, по справедливости, слѣдовало бы всю честную компанію наказать за обжорство, а не его. Такъ всѣ наугощались и совсѣмъ осовѣли.

Во второмъ часу начали лѣниво собираться. Всю дворню подняли на ноги. Приготовили всю сбрую, ружья, рогатины. Выпустили меделянскихъ собакъ и мордашекъ, и вышли всѣ на широкое крыльцо. Внизу цѣлый караванъ стоитъ: пять

троекъ, человѣкъ пятнадцать верховыхъ. Вышла и m-lle Effrontée.

Передъ отъѣздомъ, цѣлый битый часъ она собиралась и сошла внизъ бутонъ-бутономъ: накрасилась, намазалась и надушилась такими забористыми духами, что всѣ залы превратились въ парфюмерныя лавки. Вышла она декольте, вся въ газахъ закутана и обернута въ длинный розовый, шелковый шарфъ, а коротенькая пышная юбка подоткнута такъ, что всѣ прелестныя ножки до колѣнъ видны. Однимъ словомъ—сильфида.

Увидавъ ее, Поддубный закричалъ:

— Смотрите! Смотрите! M-lle Effrontée тоже во всеоружіи.

— На медвѣдя собралась,—сказалъ Балышевъ.

— Да вѣдь ты замерзнешь!—прикрикнулъ на нее князь по-французски.

— Нишавò! Ça s'echaufferra vite! (Это согрѣется быстро) —и она захохотала.

Впрочемъ, она и противъ холода вооружилась: закуталась въ какой-то толстѣйшій капотъ, затѣмъ въ шаль, въ шубу, и когда усадили ее въ сани, то еще прикрыли медвѣжьимъ одѣяломъ, но прикрыли насильно, и противъ этого она громко протестовала.

— Ни мнить! ни мнить мене!—кричала она и барахталась. Но ее все-таки укутали.

— Кто тебя будетъ мять!—говорилъ князь.—И такъ вся измята!..

Усѣлись всѣ, тронулись. Колокольцы, бубенчики зазвенѣли, собаки залаяли. Крикъ, визгъ, хохотъ. Покатила компанія!

IV.

Погода была мокрая, легонькій вѣтерокъ подувалъ.

До мѣста было слишкомъ семьдесятъ верстъ. Тройки были отличныя, но дорога изъ рукъ вонъ плоха. Зажорки, рытвины, ухабы, и притомъ дорога такая узкая, что сани поминутно стукались о деревья.

На полдорогѣ, въ одномъ сельцѣ дали передохнуть лошадямъ. Немножко закусили и сильно выпили. И опять маршъ, маршъ—покатили. Погода стала еще хуже. Пошелъ не то снѣгъ, не то дождь, и сильный вѣтеръ началъ налетать порывами.

Недоѣзжая двухъ или трехъ верстъ, дорога стала еще уже, наконецъ перешла въ тропинку и эта тропинка потонула въ сугробахъ. Надо было выходить изъ саней. Всѣ, измученные ѣздой, изломанные, избитые, рады были пройтись. На всѣхъ были длинные сапоги. Вожатые пошли впередъ и всѣ за ними. Двое доѣзжачихъ подняли Lucie и понесли ее на рукахъ.

— Adieu, mes pigeons!—кричала она.—Nous debarquons!!

Вся компанія пошла гуськомъ, проваливаясь поминутно въ снѣгъ и ругаясь немилосердно.

Чѣмъ дальше входили въ лѣсъ, тѣмъ темнѣе и темнѣе становилось въ его густой чащѣ. Собаки тихо выли и визжали. То тамъ, то здѣсь побрякивали разныя колечки, цѣпочки и бляхи.

Сначала, сгоряча, всѣ пошли бойко, но, пройдя версту, умаялись, начали спотыкаться, а задніе отставать. Наконецъ такъ стало темно, что всѣ двигались чуть не ощупью. Князь велѣлъ зажечь фонари и факелы и лѣсъ освѣтился. Вездѣ на еляхъ и мерзлыхъ сучьяхъ заиграли разноцвѣтныя блестки.

Вѣтеръ становился сильнѣе, крѣпче и обдавалъ всѣхъ мерзлымъ дождемъ, и какой-то холодной, насквозь пронизывающей сыростью.

Наконецъ показалась кучка крестьянъ. Это были караульные и съ ними Васька Башукъ, который съ вечера былъ посланъ на мѣсто.

— Что? здѣсь?—спросилъ князь.

Но Башукъ не вдругъ отвѣтилъ.

— Здѣсь!—проговорилъ онъ неторопливо.

— Такъ ты что же, каналья, молчишь!—вскричалъ князь, и ударомъ въ ухо сбилъ съ него шапку.—Иди впередъ! Показывай дорогу!

И Башукъ медленно пошелъ.

Крестьяне молча стояли безъ шапокъ, понуря головы. Одинъ сѣдой старикъ тихо проговорилъ:

— Може, какой угодникъ Божій, а они на него съ ружьями, да съ рогатинами, да съ собаками!..

— Не разсуждать! не разсуждать!—внушительно проговорилъ Поддубный.

А князь съ Башукомъ были ужъ далеко впереди, и въ сумракѣ вечера чуть-чуть обозначился бугорокъ.

— Вотъ! Вотъ тутъ и есть!—говорилъ кто-то шопотомъ, показывая на него.

Подошли къ бугорку; видятъ: въ немъ дѣйствительно дверка. Остановились всѣ шагахъ въ пяти. И вдругъ раздался визгливый голосъ «Шаравы»:

— En avant, en avant, mes enfants!..

И она буквально выпрыгнула изъ шубы, капота и шалей, и въ одномъ бальномъ платьѣ, въ родѣ балерины, очутилась въ снѣгу на тропинкѣ, которая вела къ дверцѣ.

— Allons, courage, mes enfants!

И въ то же время она бѣгомъ подбѣжала къ дверкѣ и застучала въ нее обоими кулаками.

— Ohé! m-r Saint-Antoine!.. C'est le diable, qui vous fait les avances!..

Ouvre moi ta porte
Pour le dieu d'amour!..

Послѣднія слова шансонетки она пропѣла очень громко.

И въ то же мгновеніе дверка отворилась.

Всѣ увидали слабо освѣщенную коморку, большой деревянный крестъ и передъ нимъ теплющуюся тоненькую восковую свѣчечку.

— Adieu, messieurs!—проговорила Люси.—Desirez des bonnes chances!

И она сдѣлала ручкой и погрузилась въ коморку. Дверка захлопнулась за ней.

V.

Все замолкло, притихло кругомъ. И въ этой тишинѣ былъ слышенъ только шумъ вѣтра и дождя, который капалъ съ деревьевъ. Такъ прошли секунды двѣ, три и вдругъ дверка снова распахнулась и Люси вылетѣла изъ нея. Она прямо упала въ снѣгъ. Она рыдала и тихо хохотала.

Князь бросился къ ней. Она тотчасъ же вскочила, кинулась въ сторону, съ неимовѣрной быстротой побѣжала по сугробамъ, лужамъ и скрылась въ лѣсу. Князь также было кинулся за ней, но въ это самое время дверца въ коморкѣ пустынника снова тихо растворилась и на порогѣ появился онъ самъ.

Это былъ маленькій, сѣденькій, тщедушный старичекъ, въ черномъ длинномъ балахонѣ, испещренномъ адамовыми головами. Но это не была схима.

Старичекъ стоялъ прямо противъ всей толпы. Свѣтъ факеловъ и фонарей освѣщалъ всю его фигуру, но, помимо этого свѣта, какой-то, казалось, особенный бѣловатый свѣтъ разливался и сіялъ во всей коморкѣ и тихо окружалъ всю фигуру пустынника.

Онъ медленно, высоко поднялъ правую руку, съ сложенными двуперстнымъ крестомъ пальцами и, перекрестивъ всѣхъ большимъ крестомъ, сказалъ дребезжащимъ голосомъ, тихо, но явственно, торжественно и кротко:

— Миръ вамъ!

И вслѣдъ затѣмъ тотчасъ же скрылся и дверца захлопнулась за нимъ.

И не успѣли всѣ придти въ себя отъ изумленія, какъ налетѣлъ страшный порывъ вѣтра, что-то въ родѣ урагана. Фонари и факелы мгновенно погасли. Раздались крики, кого-то опрокинуло, кого-то отнесло на нѣсколько шаговъ; собаки завыли. Словомъ, произошло нѣчто необычайное.

Всѣ, не помня себя, бросились бѣжать въ разныя стороны, куда глаза глядятъ. И всѣ цѣлую ночь плутали въ лѣсу, не находя другъ друга.

На утро Поддубный набрелъ на посинѣлый трупъ толстяка Балышева. Его, очевидно, хватилъ ударъ.

Князя нашли за десять верстъ, въ сугробѣ, полуживого, съ отмороженными руками и ногами. А Люси такъ и пропала, не смотря на всѣ поиски. Только въ началѣ уже лѣта, въ послѣднихъ числахъ мая, одинъ мужичекъ, охотникъ, въ глухомъ оврагѣ набрелъ на обглоданный женскій костякъ. Возлѣ костяка, на кустахъ и деревьяхъ зацѣпились лоскутки легкаго розоваго шарфа. Только по этимъ лоскуткамъ можно было догадаться, что костякъ принадлежалъ несчастной «Шаравѣ».

Этотъ случай совершенно перевернулъ князя Никиту Васильевича, и вполнѣ «остепенилъ» его. Ему принуждены

были ампутировать правую ногу. Онъ долго хворалъ и желтый, худой, совершенно посѣдѣвшій въ тридцать пять лѣтъ, отправился за-границу, гдѣ умеръ въ Ниццѣ, на рукахъ стараго слуги.

Таинственный пустынникъ исчезъ такъ же загадочно, какъ и явился. Откуда пришелъ онъ и куда отправился— никто не узналъ.

Когда на мѣсто происшествія, черезъ недѣлю, явилась полиція, то коморка оказалась пустой, безъ дверцы и до половины заваленною хворостомъ и камнями, а на слѣдующую зиму въ ней былъ убитъ громадный медвѣдь.

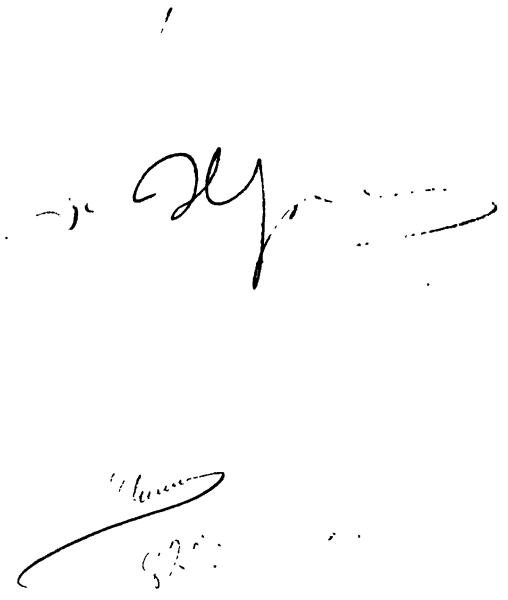
Объ этомъ происшествіи поговорили немного и главное потому, что газетныхъ корреспондентовъ тогда еще не существовало. Но въ окрестныхъ деревняхъ слухъ объ этомъ событіи сохранился до сихъ поръ и превратился въ легенду. Крестьяне деревушки Хворотиной, которая стоитъ въ пяти верстахъ отъ мѣста происшествія, и теперь, при случаѣ, разскажутъ вамъ о томъ, какъ Богъ разметалъ вихремъ нечестивыхъ, покушавшихся надсмѣяться надъ святымъ Его угодникомъ.

1888 г.

СОДЕРЖАНІЕ

ТРЕТЬЯГО ТОМА.

		СТРАН.
1.	Два вѣка (сказка)	1
2.	Фіори (флорентійская легенда)	5
3.	За счастьемъ (повѣсть въ письмахъ)	55
4.	Базиль Гранжо (сказка)	92
5.	Ольдъ-Диксъ (разсказъ)	167
6.	Дѣтскій театръ (сказка)	251
7.	Искра (разсказъ ласточки)	276
8.	На масляницѣ (быль)	295



PG3470
V2
v.3

Stanford University Libraries
3 6105 001 725 881

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

28D MAR 1997
MAR 07 1997